

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 6 (2 3) / 2 0 1 8



АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВ
Москва

4



НАТАЛЬЯ
УВАРОВА
Дзержинск

32



ОЛЕГ
ГРИГОРАШ
Архангельск

49



МАКСИМ
ЗАМШЕВ
Москва

55



ИРИНА
ДЕМУТЦЕВА
Нижний Новгород

60



НАТАЛЬЯ
ЕМЕЛЬЯНОВА
Нижний Новгород

63



ДМИТРИЙ
БИРМАН
Нижний Новгород

66



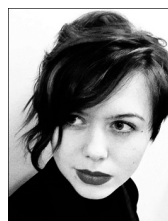
АНАСТАСИЯ
РОГОВА
Москва

93



Эд
ПОБУЖАНСКИЙ
Москва

115



ТАТЬЯНА
СТОЯНОВА
Москва

119



ВЯЧЕСЛАВ
КАРТАШОВ
Нижний Новгород

127



ВЛАДИМИР
КУТЫРЁВ
Нижний Новгород

174



АЛЕКСАНДР
РЯБОВ
Нижний Новгород

194



АНДРЕЙ
РУДАЛЁВ
Северодвинск

207



ЗАХАР
ПРИЛЕПИН
Нижний Новгород

215

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Александр ГРИГОРЬЕВ	
КИЛЛЕР ПЕТРОВ, КИЛЛЕР СИДОРОВ	4
Михаил ПЕСИН	
И В МОЛОДЫЕ НАШИ ЛЕТЫ...	11
Наталья УВАРОВА	
ДУРНАЯ КРОВЬ	32
Лев ГРИГОРЯН	
МИНУТНАЯ ВСТРЕЧА	42

Поэзия

Олег ГРИГОРАШ	
НЫНЕШНИЙ МИР СОСТОИТ ИЗ НУЛЕЙ...	49
Максим ЗАМШЕВ	
ПРОШЛОГО ПЕЧАТЬ МНЕ СРЫВАТЬ НЕ СТРАШНО	55
Ирина ДЕМЕНТЬЕВА	
...И ПАМЯТЬ СВЕТЛА, КАК МЕТАЛЛА ИЗЛОМ	60
Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА	
НА ТОЙ СТОРОНЕ ЛЮДИ ХОДЯТ, КАК ОБЛАЦЫ В НЕБЕ...	63

Проза

Дмитрий БИРМАН	
ПИСЬМА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ	66
Анастасия ЖИРНЯКОВА	
КАПУСТНЫЙ ВАНЮША	84
Анастасия РОГОВА	
ЧЕПЫЖСКИЙ ПЁС	93
Николай КРАЕВ	
МОЛОДО-ЗЕЛЕНО	97
Сергей КУПРИЯНОВ	
НАГАРТАВ	110

Поэзия

Эд ПОБУЖАНСКИЙ	
И ЗАХОЧЕТСЯ ВДРУГ ВОЗВРАТИТЬСЯ НАЗАД....	115
Татьяна СТОЯНОВА	
Из сборника «МАТРЁШКА»	119
Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН	
НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО...	124
Вячеслав КАРТАШОВ	
СЛОВНО ВЕЧНОСТЬ ГЛЯДИТ ИСПОДЛОБЬЯ....	127

Фестивали

ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН-2018

Александра ШАЛАШОВА	
ЗВОНЧЕ ЖАВОРОНКА ПЕНЬЕ...	130
Ирина МИХАЙЛОВА	
ПОДВИГ	143
Анастасия РАСПОПИНА, стихи	147
Дарина ЛЫСАКОВА, стихи	150
Владислав АСЕЕВ, стихи	151
Павел ВЕЛИКЖАНИН, стихи	153
Сергей КОРОСТЕЛЕВ, стихи	154

Возвращенные имена

Евгений ЧИРИКОВ

ЛЕСАЧИХА	155
----------	-----

Публицистика

Владимир КУТЫРЁВ

ТРАДИЦИОННЫЙ ЧЕЛОВЕК: МНОГАЯ ЛЕТА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ	174
---	-----

Александр РЯБОВ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА	
Один из способов восприятия «Архипелага ГУЛАГа» сегодня	194

Андрей РУДАЛЁВ

ПРОПОВЕДЬ О НАСТОЯЩЕМ МУЖИКЕ	207
------------------------------	-----

Захар ПРИЛЕПИН:

ЛЕРМОНТОВ – ЭТО ЯВСТВЕННЫЙ КАМЕРТОН...	215
--	-----

Михаил ЧИЖОВ

«ЗЕМЛЯ ЗА РОЖДЕНИЕ ТАЛАНТА ТРЕБУЕТ ОТВЕТНУЮ ПЛАТУ»	
К десятилетию со дня смерти писателя Валентина Николаева	226

Стихи по кругу

Михаил ПОТАЧЕВ	235
Евгений ШАТАЛИН	236
Карина ВАРТАНОВА	236
Анна ЗВЁЗДКИНА	238
Борис АНДРИАНОВ	238

Александр ГРИГОРЬЕВ

Родился в 1973 году в Горьком. Окончил Нижегородский областной колледж культуры. Работал журналистом в Нижнем Новгороде, на Сахалине, в Сибири, в Перми, в С.-Петербурге и в Москве.

Сейчас работает редактором в «Известиях». Живет в Москве.

КИЛЛЕР ПЕТРОВ, КИЛЛЕР СИДОРОВ

Я меняю работу так часто, что иногда с похмелья забываю про все на свете и умудряюсь войти в двери того бара, откуда уволился месяц назад. Они у меня в голове все перепутались, эти бары, эти шмары. По чесноку и луку, я, конечно, не бармен вашей мечты. Пьющий я человек, как мой новый друг Хэм, хозяин «Мутного глаза», да и нагругить могу. Но не всем, берега я еще пока вижу.

Не надо объяснять, что в Москве много алкашей с набитыми кошельками, что таким, как я, гарантирует прибежище в любое время года. Они же постоянно что-то открывают! Прогорают, влезают в кредитное рабство, пропиваются до нитки, потом кодируются на год и опять запускают какой-нибудь паб «Без баб» и трактир «Рок-пунктир». Набирают прошаренный (я делаю в воздухе пальцами кавычки) менеджмент, те нанимают нас, старых заплатанных придурков с опытом и без совести. Конечно, много валит в столицу провинциального чистенького и честенького персонала. Но прошаренный менеджер всегда отдаст предпочтение такому, как я.

Я самый, что ни на есть московский олд скул. Со мной можно иметь дело, дела и делишки. Мне ничего не страшно, у меня нет семьи, я могу хоть завтра вписаться в любую сомнительную схему. Ну дадут мне треху, дальше что? Я как тот чувак из книжки, который мечтал на зиму в тюрьгу сесть, потому что просрал пальто и не было денег снять угол, а его никак не забривали. Он уж и витрины бил, и дрался в кабаках, воровал в магазинах. В итоге все закончилось хорошо! Когда пацан просто стоял и любовался Луной, к нему подошел мусор и повинтил его.

ПОТОМУ ЧТО ТЫ СЦУКО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ!

А я не подозрительный? У меня нет левого глаза, у меня всего восемнадцать зубов и те гнилые, у меня алименты и, возможно, я воевал наемником на Кавказе, причем не могу гарантировать, с какой именно стороны. Но об этом лучше помалкивать в моем случае. Тихо, блин!

Я работаю только в закрытых от посторонних рыл барах. Никакого гламура, только подвалы и заводские лофты, только байкеры, шмайкеры, бандосы и пападосы. Я даже работал в таком звездном месте, где что ни ночь так бои без правил – то собаки, то бабы, то вообще непонятные существа. Реально, то ли гоблины, то ли гуманоиды. Жесть! В центре белокаменной, ага. Сорян, адресок не могу назвать, это будет палево и залет.

Но я уже год держусь в «Мутном глазе» и вроде прижился. Я всегда живу в барах, если у меня нет постоянной телки. А ее нет. Сплю я плохо и мало, часа четыре в сутки. И дело не в графике, хотя наш бардак работает до последнего чокнутого клиента. Просто сон алкоголика, как говорил мой батя, краток и тревожен. Сплю я на широкой лавке. В «Мутном глазе» все под ирландский паб сделано, кругом дерево, сети рыбацкие, мешки, набитые опилками. Очень люблю их под голову класть.

Хозяин бара нормальный мужик, он все по Донбассу угораает, постоянно мотается туда. У него там могилки святые, младший брат и лучший друг лежат. Поэтому в нашем баре «Слава Украине» лучше не кричать. Да я и сам первый дам вгрызло.

– Айсман, меня не будет две недели, – обычно говорит мне Хэм, – контролируй ситуацию у стойки, не позволяй никому говнить в нашем баре.

Вообще-то у меня простая русская фамилия, но вы же смотрели «Семнадцать мгновений весны» и помните артиста Куравлева с одним глазом? Айсмана он играл. Теперь я Айсман. Хэм пошутил при первой встрече, да так и прилипло. Не вопрос, я не в обиде. В «Швейке» меня называли Глазожопом, а в «Кувалде» Жопоглазом. Считают себя оригиналами, твари. Паршивые там люди были. Не посещайте эти вонючие клоповники с разбавленной ссаниной пивом.

А здесь хорошо. Ем, пью, общаюсь с интересными типами, встречаются интеллигенты, художники, писатели. Старик Лимонов приходил как-то, душевно пообщались. Моюсь у нас же, гладить мне не надо, я всегда в джинсах, а зачем их гладить? Майки и так сойдут, мы же рок-н-ролл лабаем.

Я играю на гитаре, да. У меня была когда-то группа, но все сторчались, падлы. Иногда я играю, когда в баре остается два-три пассажира. Мне хлопают, иногда просят повторить песенку. У меня даже есть жирный хит.

Я лежу на дне окопа
И имею бледный вид
У меня промокла жопа
Потому что моросит

Ну и там потом пам-пам-тадада-пам-пам. Про войну, йопта.

И вот, как-то раз в понедельник, когда в зале кроме меня и уборщицы Лизаветы никого не было, заходит один кент понтовый. Красивый мужчина, в казаках, штаны кожаные, болты и гайки, кожаная жилетка поверх коричневой рубашки в клетку. Сентябрь теплый, думаю, можно

и в жилетке. С другой стороны, думаю, может, он из тачки вылез, а в тачке хоть в минус 30 в одних труселях ездил.

Садится за стол, кладет мобилу дорогу, я ему подношу меню, говорю, бонжур, шалом и все такое. Все вежливо. Кент заказал бургер, начос и 150 текилы. И тут я улыбнулся. Ну смешно же, рязанская харя, а строит из себя Бандераса. Тот хоть похож на мексиканца, а этот! Смотрю, он сощурил зенки. Я как-то дружелюбно вполне отшутился и отвалил на кухню. Наш повар приходит не раньше пяти вечера, он наркоман, по-моему, но готовит очень вкусно. Хэм его терпит много лет. Так как наркотики ему заменили маму и папу, он плохо ориентируется в пространстве и времени. Вовремя прийти на работу это для него проблема. Обычно я с трех дня начинаю ему эсэмэс кидать, чтоб он приходил в себя.

Бургер сделал, начос навалил, текилы плеснул. Положил на поднос пепельницу, чтоб не дырявил стол придурок, выхожу в зал.

— Еще раз, пожалуйста, гражданин Засосов, покажите, откуда вы вышли, где лежало тело, все по порядку.

Я вышел из кухни во второй раз, когда сделал сырную тарелку. Он попросил еще 150 текилы и сырную тарелку. Текилу я подал сразу, а с сыром возился минут пятнадцать, может, больше. Я не повар, ешкин кот, и не официант. Лизавета куда-то во двор, что ли, вышла. И ни наркомана, ни этой рыжей официантки с ожирением предсмертной стадии все еще не было.

Выношу тарелку. Смотрю, лежит, сам башкой в начос, спиртное пролито. Снял на мобилу видос на всякий случай. Сейчас хорошо алиби и улики стряпать, развитые технологии позволяют. В баре Хэм нигде не ставит камеры принципиально, у меня, говорит, остров Свободы.

Набрал полицию, конечно. Сообщаю, что по адресу такому-то по ходу дела трупак-шакур, приезжайте, забирайте.

И тут мне посрать приспичило. У меня так бывает, дня три-четыре тишина в кишках, зато потом в неподходящее время так вломит! Я в сортире три Новых года подряд как-то пропустил из-за большого желудка. Сел, сижу, но как бы и тороплюсь, входную дверь-то я забыл закрыть, еще спустится какой-нибудь мудака и от вида покойника набздит со страху. Или хуже того, обшмонает тело, пропадет что-нибудь, а мне пришьют кражу.

Выхожу. Нет, мать его, трупака. Как ветром сдуло гребаного шакура.

— Как же он мог уйти, гражданин Засосов? На видео с вашего телефона он выглядит убитым.

Пропал. Менты повозились, почесали репы и оставили меня в покое. Нет состава преступления, ни крови на полу, ни гильзы от пистолета, и самого мертвеца нет. Свалил мертвец по своим делам. Я заяву писать отказался, мало ли какие странные человеки отираются в столице нашей Родины.

Проходит несколько недель, и снова в такой же понедельник в баре появляется этот кент. Только теперь уже в плаще и шляпе. Весь в черном. Правда, явился вечером, уже и наркоман гоношил на кухне, и жирная девка обслуживала зал. У меня хотя и один глаз видит, но видит так, что сокол с ястребом позавидуют. Усек я сразу, что у кента пушка в правом кармане, он руку оттуда не вынимает, одной левой листает меню.

Заказал литр текилы. Ни хрена себе, думаю, вот это на душе у человека дерьма накопилось, раз решил в мясо себя уделать. Но я ошибся. Вскоре к нему подкатил чувачок в красном спортивном костю-

ме. Накрыли им на двоих. Мяса заказали, зелени всякой, соусы, все по-человечьи.

Есть у нас один постоянный посетитель, дура дурой, но красивая баба, имени ее никто не знает. Одну неделю она Оля, другую Вика, иногда Каролиной себя может назвать или Лаурой. Но не шлюха, нет. Был у нее парень, байкер по кличке Дрон, так после того, как он разбился под Коломной, она вроде как сошла с ума. Не сильно, не так, чтобы вилки глотать или говном стены мазать, нет. Но тронулась умишком, мне лично это было очевидно.

В тот день она звалась Татьяна.

– Эй, – говорю ей, – ты раньше тех двоих видела у нас?

– Нет, – отвечает. – Хотя красный похож на кого-то, не могу только вспомнить, на кого конкретно. О! Дак на Овечкина!

– Мне кажется, что у черного ствол в кармане. Не начал бы стрелять.

Она взяла сигарету и, не торопясь, прошла от барной стойки к дальнему столу, где сидела ее собутыльница со смешной фамилией Занозова. Потрепалась там с минуту и обратно ко мне мимо стола тех двух кексов.

– У красного тоже ствол топорщится. Обратил внимание, что он морщится периодически?

– Обратил. Нервничает дядя.

Красный все больше слушал, черный в основном говорил. Но говорил тихо, до нас ничего не доносилось.

Татьяна (или как там эту сучку на самом деле) накидывалась водкой, даже лимона не спросила, но я ей нарезал лимон, чтоб не напоролась слишком быстро. Когда она напивается, то может заблевать ползала. А Лизавета взяла больничный лист, как она любит это делать в последнее время. Мне, что ли убирать за этой алкоголичкой? Закусывай, говорю, пользуйся добротой моей.

Выпив почти половину, мужики стали говорить громче, слух при опьянении, как известно, ослабевает. Черный рассказывал какую-то историю. Видимо, он увлекся сильно, потому что на столе держал обе руки, иногда жестикулируя ими. Красный делал вид, что внимательно слушает.

Татьяна с подружкой спьянились, стали петь под музыку в Танькином мобильнике. Причем пели такой попсовый шлак, такую дрянь бабскую, что выбесили меня. Я вышел из-за бара и отобрал чертов мобильник. Они заорали на меня, но женские крики никогда не влияли на мои политические убеждения и музыкальные пристрастия. Говорю, отдам, если поклянетесь больше не блять в культурном заведении. Поклялись, слабохарактерные.

– Дружище, – вдруг говорит мне черный. – Сегодня ночью умрет один несчастный человек.

– Я слушаю вас внимательно, – отвечаю, ну а что я должен был сказать.

– Проблема в том, что это хороший человек, ему жить бы да жить. Но он должен умереть. Must die.

– Мазай? Это с Профсоюзной который? Погорел на крафтовом пиве, весь в долгах, жена с детьми бросила и забрала у него «харлей» в счет алиментов.

– Нет, не он.

– Извиняйте тогда. Так в чем же дело? Чем я помочь могу?

Красный перекинул ногу на ногу. У него так и топорщились штаны. Думаю, это же психи, самые настоящие, никакому Тарантино наши

русские психи не снились, а если бы приснились пару раз, так он бы заикался потом до самой могилы.

– Ты присядь, – говорит мне черный. Я сел. Бабы снова завыли пугачевщину. Зашла компания из трех молодых парней, взяли меню.

– Однажды я уже был в твоём баре.

– Он не мой.

– Не перебивай. Я продолжу. Однажды я уже был в твоём баре, ты принес мне бургер, начос и текилы. Помнишь?

Отпираться было глупо. Помню, говорю, но не очень четко, так как болели зубы и вся та смена прошла, как в тумане.

– Меня отравили. Я вырубился, а когда пришел в сознание, то важной вещи, которая была при мне, не оказалось.

– Вы кого-то, пардон, подозреваете? Не меня ли часом?

– Больше в баре я никого не помню.

– Не помню и не было – это же разные вещи, правильно?

– Кто еще был в тот день?

– Да много всяких тут шныряет.

– Возможно. Но хавчик и алкашку принес ты, я тебя отлично запомнил.

– Я никогда не слышал, чтобы от начос отшибало память.

– Но в текилу легко подмешать психотропы, дружище. Нет?

– Да раз плюнуть. Были бы психотропы, как говорится, а уж с ними и море по колено.

Красный погладил ствол через спортивные штаны. Я вздохнул, семи смертям не бывать, да вообще мне скоро сорок два, возраст Высоцкого и Джо Дассена.

– Мотивация нужна для такого поступка, а у меня нет на вас обид или еще чего.

– За деньги маму отравишь.

– Нет у меня мамы.

– Мы теряем время. Говори, беззубый, как на духу – где записка из моего кармана?

– Не знаю, в натуре, не знаю. В глаза не видел. В глаз.

Они засмеялись.

– Что хоть в ней было?

– Адрес.

– Все равно не видел. Я вынес сыр, а вас, мужчина, уже и след простыл. Может, когда поднимались вверх по лестнице, обронили?

– Значит, не хочешь признаваться.

– Хочу. Но не знаю в чем.

Красный разлил алкоголь. Настроение было испорчено, я показал пальцем короле нашей, чтобы принесла мне стакан.

– Текила за счет заведения. Плесните и мне уж.

Наступила или даже повисла, йопта, пауза. Говорить никто не хотел почему-то. Почему я не хотел понятно, а эти двое просто закусывали, курили, пялились на Танюху и ее каркалыгу пьяную.

– У нас по четвергам и пятницам блюзы лабают и рокабилли.

Черный затушил окуроч.

– Но сегодня понедельник. Итак, бармен. Где моя записка?

– Не брал.

– А кто брал?

– Не видел. Выходил на кухню.

– Но кто-то меня отравил и стащил записку с нужным мне адресом.

- Давайте попробуем восстановить по памяти адрес?
- Как? Я ее даже не раскрывал, она была сложена вчетверо.
- Тогда можно спросить того, кто вам ее передал.
- Думаешь, без тебя не догадались бы?

Красный наклонился ко мне, почесывая ствол.

- Тот, кто передал записку, случайно застрелился в субботу.
- В пятницу, – уточнил черный.
- Теперь вы хотите убить меня? – спросил я, кажется, покрываясь каплями пота. – Невинную кровь проливать где будем?

– Здесь.

– Так тут люди. Бабы заорут, на кухне тоже народ. А эти вон трое сидят, морды сальные. Нет, тут не надо. Зацепим посторонних, не по-христиански это.

– Ты набожный, что ли?

– Есть такое.

Выпили еще. Я расхрабрился, чего мне было уже терять.

– Я думаю так. Вам передали адрес человека, которого нужно было убрать. Физически, йопта, устранить. Заказчика вы не знаете, весточку притаранил шестерка, лох ушастый. У него были свои терки с кем-то, и ему организовали самострел. Теперь вам надо исполнить заказ, потому что заказчик заподозрил вас в убийстве его человека. Но у вас нет записки с адресом, ее кто-то украл или, тысячу прощений, кто-то ее банально просрал. Что в оконцовке? Или вы убьете чувака, чьего адреса и имени не знаете, или вас укокошат.

Кенты переглянулись. Я понял, что угадал, попал в десяточку.

– Моя смерть вам точно ничем не поможет. Но я готов, конечно, пострадать за какого-то упыря. Который, кстати, никогда и не узнает, что я, Иван Засосов, погиб вместо него.

Мы опять замолчали. На душе совсем у меня стало душно и тошно. Я крикнул наркоману, чтобы сделал по два шампура шашлыка.

– Пожрать хоть напоследок. Не возражаете?

– Ты виноват, бармен. Но пожрать не возражаем.

Зал опустел, все столы были свободны. Я не заметил, куда делась Танька с носатой дурочкой. Наркоман, пока я отсутствовал за барной стойкой по уважительной причине, зарядил в ноутбук свой плейлист. Он меня всегда удивлял, у него был настолько разнообразный музыкальный вкус.

Don't stop, don't stop the dance. Была у меня такая кассета когда-то.

Тарантино или Гай Ричи? Черный или красный? Жалко, Хэм в командировке, так бы он живо навел марафет, у него жесткая братва в корешах. Но все умотали на Донбасс.

– Пойдем, – сказал черный красному.

Я остался за столом, мягко говоря, в недоумении. Оба моих предполагаемых палача ушли. Мне не шестнадцать лет, я не питаю иллюзий относительно моральных качеств профессиональных убийц. Наверняка они бы вернулись за мной, хотя я не устану повторять: не видел я никаких записок. Но они не вернулись и уже никогда не вернутся.

Наркоман дня через три тычет мне в рожу смартфоном. На, говорит, глянь, твои дружбань, с которыми ты текилу хлестал. Беру мобилу, читаю новость: «В Москве-реке обнаружены тела двух известных в криминальных кругах киллеров». Смотрю на фотки, точно мои кенты.

– Засосов, – говорит мне наркоман. – Знаешь, как их звали?

– Ну, откуда, йопта.

– Киллер Петров и киллер Сидоров.

Я даже расстроился немного, потому что у каждого своя работа, свои косяки. В «Серой лошади» меня так отмудохали однажды за то, что я водку разбавлял слегонца. Думал, помру.

Лизавета позвонила и сказала, что больше работать не будет, что увольняется, что все ее достало, что она беременная и не знает, от кого из нас, ну и все в таком духе. Вернулся Хэм.

– Чего так грязно, Айсман?

– Лизавета нарулила, вот и грязно.

– Бери халат ее и подмети быстренько. Сегодня важный человек придет к нам, мы с ним познакомились в Донецке.

Я отправился в подсобку, включил свет, напялил на себя Лизаветин халат. В левом кармане лежала зажигалка. Достал. Не работает. В правом кармане я нащупал какую-то бумажку. Развернул.

Это был адрес и код домофона. Фамилии жертвы или инициалов, как это бывает в кино, на записке не было. Только одно слово.

ВСЕХ.

Михаил ПЕСИН

Родился в 1949 году в Горьком. Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. Работал в Ленском речном пароходстве инженером. С 1971 года – профессиональный журналист, работал в разных должностях, от корреспондента до главного редактора. Автор поэтических сборников, ряда публикаций (стихи и проза) в литературных журналах и альманахах.

Лауреат многих фестивалей и конкурсов авторской песни. Живет в Нижнем Новгороде.

И В МОЛОДЫЕ НАШИ ЛЕТЫ...

– Просто ума не приложу, что с вами делать... – Николай Александрович Уртминцев, декан факультета судовождения и эксплуатации водного транспорта ГИИВТа – высокий, поджарый, с несколько вытянутым лицом и доброжелательным взглядом светло-серых глаз под квадратными стёклами очков, – бросил авторучку на пачку лежащих перед ним на большом полированном столе листов и грустно посмотрел на меня.

Вот уже полчаса я, тоскливо переминаясь с ноги на ногу, стою перед ним, слушая сетования по поводу того, в какую сложную ситуацию я поставил и его, и всё руководство факультета. Проблема же, на мой взгляд, не стоит выеденного яйца. По утверждённому учебному плану я вместе с однокурсниками по окончании семестра должен бы отправиться на месячную ознакомительную практику на борту какого-нибудь волжского сухогруза, где будущие судоводители, пошупав, что называется, своими руками его устройство – от машинного отделения до рубки – приобрели бы полное право претендовать (естественно, при успешной сдаче сессии) на статус второкурсников. Однако, в отличие от других, я, в школьные годы получивший начальное профильное образование в Детском речном пароходстве, уже имею диплом рулевого-моториста, что даёт мне право наравне с третьекурсниками проходить полновесную практику в данной должности. Казалось бы, чего проще? Пошлите меня «руль-мотором», и дело с концом! (Я, кстати, именно на это и рассчитывал, наивно мечтая, подзаработав за месяц практики, оставшееся каникулярное время провести в горах Кавказа, где год назад вместе с друзьями детства уже восходил на Эльбрус к «Приюту одиннадцати» и даже карабкался по леднику «Куриная грудка», переходя через перевал Бечо).

Увы. Из рассуждений Николая Александровича выходило, что на должность меня направить невозможно. (Трудиться, так всю навигацию. А на дворе – конец мая, весь флот уже в работе. А у меня – впереди сессия. Да и вообще, о чём говорить: мне нет ещё восемнадцати, а по закону раньше этого возраста зачислить в штат не имеют права. С другой стороны, посылать дипломированного специалиста на ознакомительную – нелепость!)

В общем, получался замкнутый круг, из которого декан выхода не видел.

– А может, вы меня формально включите в список...

– Давайте не будем начинать профессию со лжи! А потом, если с вами что-то за этот месяц случится... ну, не приведи, под машину попадёте... мне отвечать?

– Николай Александрович! – пробурчала в приоткрытую дверь секретарша декана. – Тут мужчина какой-то уже полчаса к вам рвётся. Говорю – занят, а он – времени нет ждать.

– Ну что у него там за пожар?

– Не пожар, но времени вправду в обрез. – Чуть не оттолкнув секретаршу, в кабинет ворвался здоровенный бородатый мужик. – Пламенный привет от Мурманска! – делая ударение на «а», гаркнул он. – Выручайте, братцы! Тралфлоту до зарезу нужны матросы. Путина, ёшкин кот, а экипажи не укомплектованы. Вот послали с миру по нитке насобирать. Я – сперва по профильным. Может, подсобите кем, хоть на рейс?

– Нет, знаете ли, ничем помочь не сможем. У нас все студенты на производственных практиках, согласно учебным планам. Впрочем... – декан оглядел меня с ног до головы, – кажется, это выход... А что? Как говорится, и волки, и овцы. Готов, Михаил, испытать себя в водах Ледовитого?

«Эх ты! – неожиданный поворот событий ворвался в сознание вихрем противоречивых (от детского восторга до животного страха) чувств. – Ледовитый – это не Кавказ. Это настоящая мужская работа среди непредсказуемой стихии. Ребята лопнут от зависти!».

– Сог-гласен, конечно! – поперхнувшись подкатившей к горлу нервной слюной, выдохнул я. – Только... сессия ведь...

– Месяца хватит? – перехватив вопросительный взгляд декана, ещё не веря в удачу, выпалил «наниматель». – Самый жор с конца июля начнётся.

– Если без завалов – с лихвой, – саркастически хмыкнул Уртминцев. – Справишься ли?

– Да я... да мне...

– Ладно, ладно... Вишь как глаза загорелись! Это мне нравится. Не струсил. Давайте, забирайте его. Но только чтоб по всем правилам был оформлен и, главное, обязательно технику безопасности прошёл!

В момент встречи Мурманск показался небольшим, серовато-невызрачным и, несмотря на середину августа, хмуро-холодным, пронизываемым непрекращающимися ветрами, со стандартными, притулившимися к склонам сопки пятиэтажками. С правой стороны они спускались ярусами к главному, традиционно носящему имя Ленина проспекту, длинной дугой выходящему по берегу Кольского залива. Слева – вытянулись вдоль разномастных заборов, за коими причудливым ажуром высились, переплетаясь, конструкции портовых и судоремонтных кра-

нов, за которыми, покачиваясь, мелькали кресты судовых мачт. Вглядываясь сквозь окна забравшего нас в аэропорту тралфлотовского автобуса в кварталы города, мы – девять «наёмников» из Горького (кроме меня «покупателю» удалось сблатовать восьмерых инязовцев) – лениво перекидывались комментариями.

– Да, се не бьютифул!

– И даже не комильфо!

– Зато – романтика! «В Кейптаунском порту с пробоиной в борту...» – шарахнув по струнам неизменной своей спутницы – старенькой ширпотребовской гитары, – внёс я свою лепту в разговор.

– Тебе-то, Михаил как будущему мариману понятно, и пробоина – в кайф. А нам бы как-нибудь без романтики.

– Да бы уж... – положив мне на плечо руку, мечтательно произнёс сидевший рядом на сидении низкорослый крепыш Крош. – Нам бы чтоб где-нибудь недалеко от берега да без качки, – но... за приличные мани!

– То есть и рыбку съесть, и на хрен сесть?

– Будут вам, салаги, и рыбка, и деньжищи, не чета институтским стипендиям, – буркнул сквозь всеобщий хохот встретивший нас портовский кадровик. – А нарвётесь, так и на хрен сядете. Рыбаки – народ жёсткий, в академиях не обученный. Скоро сами увидите.

– Ну, мерси, батенька, благодетельствовал! – парировал долговязый и оттого выглядевший худым Володя, ещё при встрече в горьковском аэропорту поразивший меня утончёнными чертами лица и, не свойственным остальным изяществом речи. Я тогда подумал: «Ему бы на скрипочке пикивать, а в море – сдохнет!»

– Баста, кончай баланду травить! Приехали, – прервал наш трёп кадровик.

– Куда это?

– Пару дней проведёте в ДМО...

– ?!

– В Доме междурейсового отдыха рыбаков. За это время оформим вас, ТБ читаем и – море пахнуть!

ДМО оказался шестиэтажной довольно невзрачной гостиницей с двумя пристроями по бокам, в которых размещались ресторан-столовая, несколько магазинов и служба быта. После недолгих препирательств (кому с кем рядом спать), наша освободившаяся от багажа полужнакомая компания, вывалила на улицу: город посмотреть, а главное – как следует затариться на предстоящий «вечер знакомств».

Три дня, состоявшие до обеда из организационной суеты в отделе кадров, с двадцатиминутным (на закуску) экскурсом в область техники безопасности и обильными, изъясными из наших карманов весь невеликий запас наличности, вечерне-ночными возлияниями, пролетели моментально.

– Ну, так... – не отрывая взгляда от заполняемых моими биографическими данными бланков, на утро четвёртого дня холодно произнёс коренастый кадровик в допотопных роговых очках, почти посередине пересекающих огромное багровокожее пространство переходящего в лысину лица. – Вас, товарищ Пёсин, мы пошлём на... – он пробежал кончиком карандаша по листку с длиннющим списком, – на «Сириус».

– Пёсин я...

– Один хрен – на «Сириус»!

Через полчаса, попрощавшись наскоро, но сердечно как с близкими (успевшими стать таковыми за минувшие беспробудные дни) друзьями, я, навьюченный рюкзаком и гитарой, с авоськой прикупленной на остатки средств провизии – кто его знает, когда покормят? – шёл по исшарканным доскам пирса, вдоль которого теснились столь же невзрачные, со следами ржавчины на непонятного цвета бортах, пришвартованные рыболовецкие суда. В тайне, уповая на романтичность имени, я надеялся, что уж моему-то «Сириусу» эти доходяги не чета. Оттого, видимо, и пролетел мимо своего траулера, уйдя чуть ли не в самый конец длиннющего причала. Пришлось возвращаться, чтобы наконец упереться грустным взглядом в слабо читаемое на носу искомое название.

– Ты шо ж, хлопец, чи прогулятися удумал, чи шо? – скептически оглядев меня с ног до головы, хохотнул стоявший у трапа здоровенный, в туго обтягивающем широченные плечи грубом коричневом свитере, мужик лет тридцати пяти, едва я вскарабкался по наклонным покачивающимся сходням на борт.

– А меня к вам матросом направили, да названия сразу не разглядел. Вот и протопал...

– Дак я ж не про то бачу! Дивлюсь: идет хлопец – з котомкой, бандурой... Як турист який. Туды сгонял, обратно чешет. И – до нас. По шо? Не разумію. А ты, выходит, оно как – матросом... Ну, ходь до мене, турист, будемо знаёмы: Мыкола!

С этого момента украинец Николай (по его собственному выражению, «хлопчик с-пид Киеву») иначе как «туристом» меня не называл. Но я не обижался, поскольку звучало в его устах это прозвище не только по-доброму, но даже как-то по-отечески. Тем более, что потом он меня – салагу – ни только многому научил, но и сохранил мне жизнь.

Но это потом. А в тот первый день моего «мариманства» тралмейстер Мыкола как вахтенный лишь представил меня капитану, внешне никак не соответствовавшему моему представлению о «морских волках» – низкорослому, полноватому мужчине лет под пятьдесят с белой шапкой жестких волос и усталыми, как показалось, бесцветными глазами, назвавшемуся Василием Давыдовичем. Тёзкость наших отчеств привела его в некоторое замешательство («Двух Давыдычей на одном борту быть не должно!»), но тотчас найдя выход из этой ситуации («Будешь Студентом зватися»), он отправил меня в трюм полубака, где размещались кубрики команды, «с коечкой определиться и, вообще... принять рабочий вид».

Как и следовало ожидать, встретившие меня старожилы, не церемонясь, указали новичку на дверь самого некомфортного, находящегося возле трапа кубрика. Некомфортность, как выяснилось позже, заключалась не столько в тесноте узкого трапециевидного пенала, заполненного двухъярусными коечками и двумя вертикальными рундуками так, что протиснуться между ними можно было лишь боком (в конце концов, измотанный вахтой, я приходил туда лишь для того, чтобы, тотчас рухнув в койку, забыться тяжелым недолгим сном), сколько именно в соседстве с трапом, по которому, нещадно громяхая сапогами, непрестанно сновали туда-сюда соседи по полубаку.

Грохот этот в первую же ночь достал меня до печёнок, никак не давая забыться сном. Когда же, наконец, усталость взяла своё, почти тотчас, как мне казалось, в вожденный сон влилась трудно переводимая фраза: «Барадабэкивставатнадабжалуста».

– А? Что?! – С трудом возвращаясь в действительность, я резко вскочил с коечки и чуть не упал, почувствовав головокружение. Каюта вместе со всем содержимым раскачивалась из стороны в сторону, отчего мои внутренности тоскливо поползли к горлу, желая выйти вон. Я инстинктивно попытался удержаться на ногах, вцепившись в поручень верхней койки, и сразу же чьи-то крепкие руки, поддерживая, сдавили меня с боков, а темноволосая, в замасленной тюбетейке голова вплотную приблизилась к моей, обдавая желудочно-перегарным смрадом.

– Плоко сабсем, барада бэк?

Начав понимать исковерканные восточным акцентом слова, с трудом преодолевая усиливающуюся тошноту, я, стараясь не вдыхать зловоние, вгляделся в собеседника. Им оказался низкорослый, щупленький узбек с добрыми, смеющимися пуговками чёрных глаз, назвавшийся исконно узбекским именем Ваня, которого притом, совсем не по возрасту, скорее из-за комплекции, команда звала Юнгой.

– Бажалуста рупка нато ходит. Фахта двой. Капитана совет.

– А который час-то?

– Чедыры удра, уфажаемый. Фахта двой.

Так в четыре утра августа 1967 года среди детского трехбалльного шторма, встретившего траулер сразу же после выхода из Кольского залива (хоть мне и казалось, что забытьё было недолгим, а и уход из порта, и желанную панораму исчезающего вдаль Мурманска я, увы, проспал), началась моя работа на «Сириусе». Без каких бы то ни было предисловий, адаптирований, скидок на возраст и отсутствие необходимых профессиональных навыков. Сразу – «К штурвалу! Держать на румбе столько-то! В рубке – не курить!»

Ну, «держать на румбе» – еще куда ни шло. Хоть и не ходил никогда в море, а держать нос судна на створ Детское пароходство научило, и нет большой разницы: не давать рыскать флагштоку или стрелке компаса. Другой разговор, что на тихой Оке (а рулил я до того лишь по ней, на небольшом «Москвиче» да по глади летних вод) особых проблем с этим не было: переваливай от створа к створу по коридору буёв, всего-то и делов. Баренцево же, едва мои ладони сжали рукоятки штурвала, так вдарило волной по борту траулера, что этот, метра полтора в диаметре, штурвал резко покотился вправо, выворачивая руки и отрывая от палубы рубки беспечно-вялые, прижатые друг к другу ноги. Последнее, что увидел я перед тем, как шмякнуться, – резко направившийся на правый разворот нос траулера.

– Ку-уда, мать-перемать! Студент, твою так! Потопить нас всех хочешь!! – бросился к штурвалу капитан, едва не наступив на моё распластанное под ним тело.

Думал – убьёт! Нет. Выправив курс, вернул к штурвалу и минут через пятнадцать, с помощью мата и весьма жёстких физических действий по обучению правильной постановке рук и ног, я уже приобрёл необходимые навыки вахтенного рулевого.

Так что «держать на румбе» – еще куда ни шло. Хуже, когда пошло другое. В буквальном смысле. Копившееся под горлом содержимое желудка, поскольку оторвать руку от штурвала, дабы прикрыть рот, я не мог, вырвалось фонтаном на близлежащие приборы.

Морская болезнь... Сколько раз я о ней слышал и читал, никоим образом не относя к себе возможные последствия качки. Даже согласившись на работу в Тралфлоте, ни разу не задумался о том, как перенесёт её мой организм. И вот теперь, видя наглядное проявление возмущения

вестибулярного аппарата, вместе с чувством стыда за произошедшее, я ощутил жуткий ужас от пришедшей в кружащуюся голову мысли: «Я – профнепригоден! Море вывернет меня наизнанку и, судя по жёсткости местных нравов, это никого не будет волновать. Не только заставят вкалывать, но и заклюют насмешками, да издёвками». Тотчас в памяти всплыла ситуация из моего десятилетнего детства, когда работавшая бухгалтером в Горьковском аэропорту мама договорилась с лётчиками поката́ть мальчика на самолёте. Провожала она в получасовой, до поселка Гагино, полёт розовощёкого, разодетого в новенькую белую рубашку и чёрные, отутюженные до стрелок брюки сына, а встретила бледно-зелёное, измученное пережитым, Непонятно что в помятой одежде с красноречивыми следами реакции его организма на постоянные падения «кукурузника» в воздушные ямы. «Идиот! Как же я забыл об этой истории, уже тогда однозначно доказавшей, что ни о какой качке в моей жизни просто не может быть речи! Всё. Это – финал!»

Однако, на удивление, находившиеся в рубке (а кроме капитана свидетелями моего позора были боцман Степан Семёныч по прозвищу СС и Юнга) отнеслись к произошедшему не только спокойно, но и с пониманием. Перехватив у меня штурвал, СС красноречивым взглядом дал указание Юнге «Навести порядок», а кэп, легонько подтолкнув меня к выходу на мостик, по-отечески произнёс:

– Иди, Студент, проблюйся. Только за леера крепче держись, чтоб не нырнуть! И – не переживай! Не ты первый. Меня знаешь, как травило!? Ничего, привык. Считай, проходишь морское крещение!

– А вдруг не привыкну? – спросил я, справившись с приступом рвоты и возвращаясь к штурвалу.

– Бывает и так. Нельсон вон всю жизнь мариманил и всю жизнь болел. У него для этого даже специальная бочка на мостике стояла.

К счастью, история моей морской болезни оказалась короткой. Промучившись три дня (благо они пришлись на переход до района лова и кроме стояния у штурвала да приборок в полубаке иной работы у меня не было), я, в очередной раз выходя на вахту (уже дневную, в 16.00), с радостью обнаружил, что организм мой абсолютно не реагирует на пляску палубы. Более того, непрерывный душ сверкающих на солнце солёных брызг и наполненный морской свежестью прохладный, бьющий по щекам упругим ветром воздух наполняют душу ощущением молодецкого здоровья и весёлого азарта. Причина ль тому моя физиология или (во всяком случае, не без этого) старания нашего кока Ёкселя (от привычки вставлять в каждую фразу «ёксель-моксель»), который, несмотря на активное сопротивление моего организма, буквально впахивал в него десятки солёных огурцов, зелёных помидоров и пластов квашеной капусты, но факт остаётся фактом: с четвёртого дня и присно (а в последующие месяцы «рыбалки» пришлось познать прелести и шести-, и даже восьмибалльных штормов) качка превратилась в обычный атрибут окружающего мира.

И тут я... увидел Море.

Нет, не увидел – осознал себя в нём, а его в себе! Бескрайнее, зеленое у борта, потом – тёмно-стальное и, наконец, почти белое, едва различимо переходящее этой белизной в холодное, такое же бескрайнее небо, как бы зеркально отражающее тёмную сталь вод. Размерно поднимая к небесам то правый, то левый горизонты, оно вздымалось над бортом полупрозрачными языками волн, которые, на долю секунды зависнув над ним, с шумом обрушивались на палубу, превращая

на какое-то время всё её пространство в студёный бассейн, тотчас с шипением опоражнивающийся сквозь бортовые щели и кингстоны. И всё это продолжалось бесконечно – без пауз и передышки – с той лишь разницей, что бьющие по траулеру валы периодически меняли высоту и силу: от небольших до громадных. Довершал великолепную картину буйства неукротимой стихии ветер: прохладный, тугой, осязаемый, выглаживающий влажной ладонью мои щёки и жёсткой щёткой взлохмачивающий ещё не совсем отросшую бородку, проникающий холодными пальцами за ворот грубого рыбацкого свитера и раздувающий полы и штанины рокана и буксов.

Картина эта была не только не страшной – радостной, полностью принимаемой моей душой, как будто она – душа – ничего другого никогда и не знала.

Впрочем, очень скоро, буквально на следующий день, радость эта сменилась сначала дикой усталостью, а затем, через пару-тройку дней, угрюмой раздражённостью. «Сириус» наконец пришёл в район лова, и... началась пахота.

Для того чтобы нюансы дальнейшего повествования были понятны неспециалистам, позволю себе небольшой профессиональный ликбез.

Что такое промышленный лов рыбы траулером с бортовым тралом?

Обнаружив на экране эхолота косяк рыбы, вахтенный начальник, дав команду «Трал – за борт!», направляет судно по кругу. Сбрасываемый несколькими порциями – «кошелями» – трал – большая конусообразная сеть, буксируемая на длинных тросах, – улавливает встречающуюся на его пути рыбу. Чтобы верхняя подбора трала поднялась, её оснащают специальными гидродинамическими поплавками – стальными двухкилограммовыми кухтылями 20-сантиметрового диаметра. Нижняя же подбора снабжена жестким стальным тросом – грунтропом, на который насажены полые стальные шары диаметром около 60 сантиметров, называемые бобинцами и многокилограммовые чугунные катушки. Вся эта тяжесть с палубы за борт переносится с помощью брашпиля и грузовой стрелы, но и приставленному к данному процессу «матросу III класса» требуется немалая сила. Когда же трал сброшен, необходимо срочно с носа на корму (а это почти полсотни метров!) перенести, так называемый «бешеный конец» – чуть ли не с руку толщиной трос с двадцатипятикилограммовым гаком на конце, которым надо ухитриться зацепить оба натянувшихся струной ваера, чтобы затем намертво закрепить их специальным стопором, дабы те не намотались на винт. Естественно, это обязанность всё того же матроса. Излишне говорить, что в моей вахте им был я.

Стоит отметить, что эти и без того нелёгкие операции, как правило, проходят среди нескончаемой бортовой качки и ледяного душа обрушивающихся на палубу волн, многократно увеличивая тяжесть матросской работы. Остальные же члены бригады рыбообработчиков, в которую помимо матроса входят «головоруб» (одним движением топорика отсекающий «туфелькой» рыбную голову) и три шкерщика (молниеносным жестом вспарывающих шкерочным ножом рыбе брюхо, одновременно очищая его от потрохов), как высшая каста всё это время преспокойно курят, травя байки под навесом полубака.

Наконец ваера застопорены и, пока трал наполняется рыбой (если, конечно, наполняется!), можно, забившись в узкий закуток на корме, перекурить, потирая саднящее от «бешеного конца» плечо. Недолго.

Минут через пятнадцать-двадцать по завершении траулером полного круга всё начинается в обратном порядке: отдать рукоятку стопора (стараясь при этом держаться подальше от борта, дабы освобождённая пружина верхнего ваера, пролетев по нему, словно нож гильотины, не отрубила тебе пальцы, а то и – рассказывают, такое случалось, – голову); быстро отнести «бешеный конец» на нос; успеть оказаться у борта как раз в тот момент, когда под ним появится гремящий бобинцами оголовок трала; подцепить его откидным гачком лебёдочного троса.... И вот уже, подтянутая к стреле, громадная, переливающаяся живым серебром сигара первого кошеля переносится над твоей головой, обильно поливая ледяными потоками, к «ящику». И надо, метнувшись к нему, тотчас отдать гачок, чтобы шевелящееся содержимое сети рухнуло в огороженное деревянными бортиками ящичное пространство. И, мигом вернувшись к борту, подцепить кольцо второго кошеля. И – если трал полон – повторить всё ещё трижды.

К моменту полного опорожнения трала «высшая каста» бригады уже стоит за пересекающим палубу поперёк разделочным столом, нетерпеливо постукивая ножами и не иначе как матом требуя от своего третьеклассного коллеги немедленно начать подачу рыбы. И, забравшись в ящик, сдавленный доходящей до плеч шевелящейся рыбной массой, ты начинаешь выкладывать на столешницу перед головорубом тушки, в основном трески, а бывало и зубатки, и синюхи, и даже палтуса.

Казалось бы, ничего сложного: подумаешь, работа – рыбу подавать! Но, во-первых, это в горьковских магазинах продавалась худосочная треска длиной от силы сантиметров сорок. Среди той, что заполняла ящик, эта мелюзга была для меня приятным исключением. В основном же приходилось подавать почти метровые (а то и более) жирные тяжеловесные рыбыны. Во-вторых, поскольку мне повезло попасть в «бригаду коммунистического труда», в которой каждый шкерщик обрабатывал по двадцать рыбин в минуту, то для троих я должен был выкладывать ежесекундно по рыбине, обеспечивая бесперебойный процесс с такой же пулемётной скоростью тяпающего головоруба.

В ту первую вахту, пока рыбыны шевелились под моим подбородком, я ещё как-то справлялся (хоть и умаялся так, что руки к концу первого получаса, налившись свинцом, с трудом двигались, глаза заливало нескончаемыми потоками пота, а тело под рокан-буксами, казалось, плавало в нём), но стоило ящику опорожниться до пояса, как паузы в подаче рыбы начали увеличиваться до десятков секунд, вызывая громогласно-матерные взрывы гнева бригады. Непрестанно нагибаясь за очередной тяжелой тушей, чтобы, кое-как обхватив её поперёк туловища, разогнувшись, выволочь оную на стол, я старался из последних сил, но ясно понимал, что сил этих больше просто нет. А ящик ещё только наполовину пуст!

В конце концов, видимо, поняв, что выгоднее потратить на моё обучение несколько минут, нежели, работая через пень-колоду, вовсе загубить вахту, один из шкерщиков залез ко мне в ящик и, ловко хватая рыбыны одной рукой под жабры, другой – за хвост, сразу штук пять или шесть, как поленья, выложил их на стол перед головорубом. Простота этой операции, создающая своеобразный конвейерный процесс, при котором подавальщику остаётся лишь добавлять по рыбёшке, в то время, как бригада в привычном ритме обрабатывает предыдущие, привела меня в восторг. Тотчас освоив премудрость, уже через минуту, под одобрительные матерки бригады, я, ритмично сгибаясь и разгиба-

ясь, продолжил работу, с удовольствием ощущая приход знакомого со школьных лыжных кроссов второго дыхания.

– Ну вот, – довольно отметил головоруб, отчекрывживая очередную голову, – теперь, Студент, ты настоящий голова-жопа!

«А ведь верно! – поразился я точности определения. – Для него, видящего лишь мелькание моей головы и задницы, я не кто иной, как это самое».

Меж тем ящик постепенно пустел, и мне приходилось уже не только нагибаться за рыбой всё ниже и ниже, но и перемещаться по его пространству, примерно метра два с половиной в ширину и четыре в длину, что, естественно, сказывалось на бесперебойности «конвейера», вновь вызывая раздражение бригады. По уму бы, прервав подачу, чем-нибудь, хоть вон той вон, висящей на пожарном щите лопатой, подтащить-подкинуть оставшуюся треску поближе к столу, да куда там! Даже сама, робко высказанная мною эта мысль, вызвала такую матерщину, что лучше б мне помалкивать в тряпочку. И, сжав зубы, я метался по ящику – запинаясь о тушки, катясь по покрывшей палубу слизи, падая и, впервые в жизни, нещадно матерясь. Особенно раздражало, когда какая-нибудь уже выложенная на стол рыба, внезапно проснувшись, «вставала на коленки», то есть, приподнявшись на хвосте, резко била им по соседней тушке и тотчас с таким трудом выложенный «конвейерный ряд» летел на палубу, а чаще на мою согбенную спину. О, как я был зол на этих тварей, а через них – на себя, слабака, на бесчеловечную «коммунистическую бригаду», издевающуюся надо мной в угоду идиотскому желанию перевыполнить план, на непрестанно штормящее Баренцево море и вообще, неведомо за что, но – на весь мир!

Думаю, именно эта огромная, обусловленная предельным отчаянием, гипертрофированная злость, родившая в самолюбивой мальчишеской душе неведомое до той поры чувство собственного достоинства, и помогла мне в тот день не сдаться, не поддаться малодушному желанию бросить к чёрту эту грёбанную непосильную работу и, заревев, убежать в свою каюту, запереться там навсегда, чтоб никогда в жизни не видеть ни этой рыбы, ни этой скользкой, уходящей из-под ног палубы, ни этих злобных, не знающих сочувствия глаз собригадников. Пусть, незнамо как, списывают на берег, бьют, да хоть расстреливают – мне было бы уже всё равно! Но, слава богу, я сумел разозлиться, а значит – выжить!

И даже то, что, когда наконец ящик опустел и бригада, удовлетворённо похохатывая, чинно удалилась под козырёк полубака перекурить, на корню зарубив моё естественное желание сделать то же самое грубым окриком: «Куда? А кто палубу будет чистить?», я вынужден был ещё минут двадцать упражняться с брандспойтом; даже то, что и после этого пришлось заново пройти всю процедуру опускания и подъёма трала (с тасканием ненавистного «бешеного конца»); и даже то, что, когда выяснилось, что улов в этом трале превысил два кошеля и по судовому закону (о, боги! будет ли предел моим мучениям!) вместо вождельного послевахтенного отдыха я должен был, наскоро перекусив, вновь (ещё на четыре часа!) вернуться в ящик (помогать сменщику) на подвахту, уже не имело критического значения. Точка невозврата была пройдена! И что бы за последующие месяцы лова, слившись в бесконечную цепь монотонно повторяющихся вахт-подвахт, а то и (если улов в конце подвахты достигал четырёх кошелей) авралов, со мной ни происходило, воспринималось это уже не как нечто мучительно-издевательское,

несовместимое с жизнью, а как обыденная, пусть очень тяжёлая и, порой, смертельно опасная, но – работа.

Более того, втянувшееся в эту работу моё юношеское тело, в мальчишеские года успевшее познать в футбольной и гимнастической секциях тренировочные нагрузки, уже через пару недель налило мышцы крепостью, а шестиразовое – через каждые четыре часа! – здоровое, состоящее из одной рыбы (полученного в порту мяса хватило дней на шесть) питание придало ему весьма атлетическую конфигурацию. Руки, ноги, спина, зазубрив в общем-то не сложный перечень изо дня в день повторяющихся монотонных движений, стали жить своей, отдельной от мозга, механической жизнью, освободив его от физических и моральных страданий. И, свободный, он стал замечать, что вокруг – разнообразная, полная не только буйства стихии и тягот «пахоты», но яркая и зачастую весёлая жизнь. Что «Сириус», хоть и весьма потрёпанное и непрезентабельное на фоне скопившихся вокруг него франтов – великолепно окрашенных, сверкающих никелированными деталями и пестрящих ярко-оранжевыми одеждами рыбаков-«иностранцев» – всё же очень милое и даже уже родное судёнышко. Что составляющие его экипаж сорок два мужика – не безлико-неприступные, хмуро-грубые трудяги, а интереснейшие, не лишённые чувства юмора люди со своими, главным образом непростыми, исковерканными жизнью судьбами.

Вот хоть Юнгу взять. Бедный мужичок (а ему было уже под сорок!) подрядился лет семь назад в Тралфлот в надежде за рейс-два скопить денег на калым, дабы получить, наконец, право прийти женихом в богатый дом отца своей вожделенной Зейны (осень карасивый, как горный кобачка!). Но всякий раз, приходя с моря и неизменно на Пяти углах покупая себе жениховскую белоснежную рубашку, напивался до беспамятства (баска дурной, трусей мнока) и через неделю-другую, спустив все немалые деньжищи, в рванье на голое тело, вновь уходил «рыбалить, ля».

Или, скажем, Михаил. Как правильно называлась специальность этого члена экипажа, изготовлявшего прямо на борту консервы «Печень трески в собственном соку», не знаю, но все звали его Салогреем. Меня, естественно, он звал просто Тёзкой и, будучи мужчиной в зрелом возрасте, относился ко мне по-отцовски:

– Ну-ка, сынок, – с неподдельной теплотой в голосе говорил он, едва я, поднявшись из полубака за полчаса до утренней вахты, появлялся у «салогрейки», – подойди. Я тут тебе свеженькой печёночки приготовил. Горяченькая ещё. Специально оставил одну баночку не закатанной. На камбузе как раз хлебушек поспел, так ты намажь на него. Да ешь не торопясь, чтоб вся сила её к тебе перешла, – работа-т впереди тяжёлая. Кто знает, на одну ли вахту?

Так вот, Миша Салогрей, тракторист откуда-то из-под Саратова, пять лет назад подался «на рыбу» с весьма простенькой целью: заработать на поинку крыши старого материнского дома. Какая экстренная нужда потребовала этого ремонта, сколько нужно было на него денег – не скажу. Но не сомневаюсь, за годы рыбалки Миша заработал не то что на золотую крышу – новый домище!

Но... «одна у волка песня»: получив послерейсовый расчёт, Салогрей, хоть и зарекался тысячу раз пробежать «стометровку» (аллею от проходной рыбпорта до проспекта) с закрытыми глазами и тотчас ехать в аэропорт, чтобы наконец-таки возвратиться к уставшему ждать ремонта материнскому дому, а всякий раз вновь попадался на крючок ка-

кой-нибудь «рыбачки» свободной профессии, коих по обеим сторонам аллеи всегда было в изобилии, и уже через пару-тройку дней уныло взбирался на борт «Сириуса» в буквальном смысле опустошенным.

Историй подобных этим можно рассказать множество, едва ли не о большинстве членов экипажа (естественно, исключая комсостав, который, живя в Мурманске, вёл, по их словам, высокоморальный образ семейной жизни), ибо все они, по-разному начинаясь, отталкиваясь от разных, как правило благородных, причин вербовки в Тралфлот, заканчивались одинаково: беспробудный запой, бесшабашный загул с легкодоступной красоткой, а нередко и то и другое разом – и... возвращение с похмельным нутром и пустыми карманами на борт ненавистного, покрываемого последними словами, но единственно верного, готового приютить и утешить тяжёлой работой траулера.

Иногда загул-запой затягивался и, отбив отведенную графиком межрейсовую стоянку, судно уходило в море не дождавшись своих, с наскорю подобранными на берегу варягами из вновь нанятых и так же мечтающих по-быстрому, за один-два рейса срубить длинный рубль. И тогда загулявший становился бичом – «бывшим человеком» – рыбаком, живущим неизвестно где и неизвестно на что, но с рыцарской гордостью презрительно отвергающим не только любую другую работу, но и любое другое судно.

Интересно, что сам я ни к кому в душу с расспросами не лез, просто как-то само собой получалось, что в редкие минуты досуга то один, то другой, подсаживаясь, угощал куревом, а потом, после почти ритуальных вопросов о житье-бытье и тяжкого вздоха, начинал своё повествование с чего-нибудь вроде: «Да... ты, Студент, ещё салага, жизни не нюхал. А вот меня она...» И я покорно выслушивал все перипетии этих трагикомедий, даже когда валился с ног от усталости или мечтал поскорее добраться до заветной тетрадки, чтобы записать начавшие роиться в голове поэтические строчки. Выслушивал, понимая, что говорящему его душеизлияние нужно до зарезу. Как рвотное, как слабительное, чтобы хоть на какое-то время очистилась, освободилась от нестерпимо тяжелого груза безысходности душа. Но, слушая, с наивностью юношеского, не замутнённого житейскими передрыгами мозга, никак не мог взять в толк: что за безысходность-то такая? Почему нельзя, получив расчёт, спокойно, не во что ни ввязываясь, уехать восвояси? Слабоволие? Но я каждый день видел этих людей в тяжелейшей морской работе. Ни в силе, ни в мужестве им не откажешь. Что тогда? Ответа я не находил, да, впрочем, и не очень от того мучился. Единственное, в чём всякий раз после подобных размышлений оставался уверенным, что со мной подобного произойти не могло бы ни при каких обстоятельствах!

Однако откровенности эти вскоре обернулись неожиданным улучшением моей жизни. Конечно, и сам я постепенно приобрёл сноровку, но теперь всё же случающиеся промашки либо нерасторопность уже не вызывали взрыва злобной брани, а всё больше доброжелательные матюги или подтрунивания. Да и влезть ко мне в ящик, чтобы подпихнуть дальние тушки, уже не считалось западло. Соответственно и я стал ощущать в душе всё большее приятие этих внешне грубых, но, в сущности, совсем не плохих, а главное, честных и открытых мужиков.

Но был в экипаже человек, с первой встречи вызвавший во мне раздражение – замполит Цыбин. За глаза его звали Цыпа, и не столько по причине коверканья фамилии, сколько из-за постоянного его стремления,

тихонько подкравшись, что-нибудь подсмотреть да подслушать. Впрочем, у меня он вызвал неприязнь ещё прежде, чем я об этом узнал.

В первую же неделю лова в конце очередной восьмичасовой вахты-подвахты, когда, обессиленный, я не хотел даже идти на камбуз, а лишь наскоро помыть рокан-буksы (к моему сожалению от этой процедуры отказаться было невозможно – не отмытая от морской соли прорезиненная одежда к следующей вахте встанет колом, что обернётся невыразимыми муками во время работы) и – рухнуть в койку... завывла сирена и из рупора под козырьком рубки бравый голос замполита торжественно и, как мне показалось, радостно возвестил о том, что всплывший трал заполнен на восемь кошелёй, следовательно по траулеру «Сириус» объявляется аврал! Не стану описывать, что я почувствовал в тот момент (явно не адекватную замполитовскому ражу радость), но... как говорят при шести пиках в преферансе – нас на спрашивают. Все так все.

И действительно, после двадцатиминутного перерыва на перекус-перекур в заваленные до краёв рыбой ящики обоих бортов влезли не только «голова-жопы» трех вахт (им на роду написано!), но и «кочегары» – вся, за исключением механика, вахта машинного отделения. За удвоенные разделочные столы встали шкерщики и... начался пир труда. Ей Б-гу! Вот ведь что делает с людьми коллективность. Только что, измученные и раздраженные, мы едва ноги передвигали, были злобны и угрюмы. Но едва из репродукторов загремела бравурная музыка – над мельканием сноровистых рук засияли улыбки, из конца в конец палубы залетали шутки, подначки да весёлые подбадривающие окрики. Среди этой радостной суматохи я даже не сразу обнаружил, что самого закопёрщика, призывавшего: «Давайте все разом, вместе, невзирая на должности, навалимся!», на палубе нет. Лишь через час он спустился к нам с мостика. О, это надо было видеть! Ослепительно-оранжевые рокан-буksы (наши-то давно забыли, какого они вообще цвета), белоснежные мичманка и рукавицы... Всё это на фоне обшарпанной, давно не крашенной надстройки выглядело так нелепо, что даже не смешно. Но главное произошло потом. Прокравшись бочком мимо нас – копошащихся в ящиках, стоящих за разделочными столами и «навалившихся все разом, вместе, не взирая на должности» – Цыпа, двумя пальцами подняв за хвост с палубы завалившуюся тушку мелкой трески и демонстративно – чтобы все видели! – уложив её на стол к головорубу, довольно отряхнул руки и, слащаво улыбаясь, изрёк: «Ну, я вижу аврал проходит на должном уровне, поставленная задача будет выполнена. Молодцы, товарищи! Пойду давать РД (радиограмму. – *Авт.*) в управление».

В этот момент уложенная Цыпой рыбёшка, внезапно ожив, «встала на колени», и соседние тушки разом повалились на мою согнутую спину.

– Ну, вашу мать! – невольно вырвалось у меня. – Вместо рапортов лучше б помогли работать! Хотя бы вот за рыбьими хвостами следили...

– Не вам, товарищ Студент, мне указывать, что лучше, сначала вуз закончите, а то ведь можно и характеристику подпортить... – процедил залившийся краской замполит, явно не ожидавший от меня дерзости (до этого он вроде как отделял мою полуинтеллигентскую персону от остального малообразованного контингента экипажа). – А насчёт рыбьих хвостов... – изменившимся и как бы подобревшим голосом продолжил он, почему-то подмигнув Сане-головотяпу, – давно бы обратились к боцману, чтоб выдал вам рыбобой.

«Ух, ты! – вспыхнула во мне обида. – Выходит, есть у них специальное приспособление, чтоб рыба не трепыхалась, а эти жлобы специально мне ничего не сказали, чтоб поиздеваться?»

На флоте спокон веку подшучивали над салагами – молодыми, неопытными членами экипажа, получившими это прозвище от выпускников моряцкой школы, учреждённой Петром I на беломорском острове Алаг. Не преминули воспользоваться этой традицией и мужики с «Сириуса», пытаясь посылать меня то за парой метров ватерлинии, то за ведром трансмиссии, а то и просто заточить рашпилем лапу якоря, иначе-де плохо держит. Но, с десяти лет приобщившийся к флоту, я с ухмылкой знатока игнорировал все эти «покупки». Однако, как говорится, и на старухе бывает прореха, на сей раз я-таки попался. И понял это сразу, едва, по указанию эСэСа взобравшись на спардек, увидел прикреплённые к лееру здоровенные, с рукояткой метра в три длиной молотки, как потом выяснилось, для сбивания льда с обносов.

– Ах ты, зараза замполитовская! Вот так, значит, решил наказать меня за дерзость? И ведь на чём купил? На моем незнании рыболовецкой специфики да наивной уверенности, что уж комсостав-то до подводхов не опустится.

В ту же секунду в сознании всплыла недавняя «хохма» бригады – настолько мерзкая и унижительная, что несколько дней после этого я глаз не мог поднять от стыда.

Среди трески, составлявшей основу нашего улова, изредка попадались в трал и такие представители рыбной фауны Арктики, как морской окунь, палтус, зубатка и синюха. Про зубатку Миша Салогрей сказал мне едва ли не в первый день рыбалки: будут прикалываться, мол, сунь зубатке палец в пасть, она свистнет – не верь! Даже пролежав на палубе несколько часов, она способна так сжать челюсти, что перекусывает черенок швабры. А вот синюха... Огромная, с хорошую свинью её туша – голубая со спины и бело-розовая на животе – своими явно выраженными женскими гениталиями неизменно вызывала скабрёзные комментарии мужиков «Сириуса». Я, поелику возможно, пропускал их, как и остальной, постоянным фоном звучащий мат, мимо ушей. Но однажды... В очередной раз зайдя после вахты в душевую кабину, я тщательно отмыл от соли рокан-буксы и, максимально открыв вентиль пара и отрегулировав температуру воды, встал под душ. О! Это – лучшие минуты в моей работе! Душевые были цельносварными и закрывались настолько плотно, что через пару минут после подачи пар наполнял их непроницаемой, обволакивающей горячей «ватой», создавая замечательный эффект сауны. После ледяных волн и пронизывающего насквозь ветра – о чём ещё можно мечтать? Поэтому, несмотря на усталость и смертельное желание спать, я хоть на пару минут, но оттягивал момент окончания процедуры.

Как им это удалось?.. Ума не приложу. Но едва я открыл дверь душевой, тотчас был встречен диким гоголом собравшихся в раздевалке собригадников, с гадкими ухмылками указывавших на открывающуюся в рассеивающемся паре возле моих ног тушу синюхи со специально развороченными детородными органами. «Мужики! Студент-то наш синюху оприходовал!» – «Во извращенец!» – «Поделись, салага, как оно? Подмахивала?!» – орали они, перебивая друг друга и захлёбываясь от звериного ража.

Всплывшее из подсознания это унижение, что называется, сорвало меня с катушек:

– Ну, гады, счас вы у меня за всё получите! – Отцепив одну из колотушек, спокойно, стараясь ничем не выдать кипящей во мне ярости, спустился я на палубу и гаркнув: – А ну, расступись! – под изумлённые взоры и матюги присутствующих, принялся нещадно колотить по оставшейся в ящике рыбе, обильно покрывая их одежду и лица ошмётками внутренностей и блёстками чешуи. Особенно (и не без моего старания) досталось сверкающим рокан-буксам Цыпы.

С тех пор «купить» или подколоть меня уже не пытался никто, а замполит, хоть и старался порой напакостить, заставляя то политинформацию подготовить, то стенгазету выпустить, специально подгадывая, чтобы занимался я этими в редкие часы отдыха, но на прямой конфликт идти уже побаивался.

Меж тем череда однообразных, почти не отмечаемых сознанием дней, перетекла в октябрь. Я понял это не только по участвовавшим многобалльным штормам, но и по снегам, всё чаще опускающим над Баренцевым свои бело-серые завесы и быстро покрывающим и без того скользкую от рыбной слизи палубу корочкой льда. Работать стало не только труднее, но и опаснее. О том, сколько раз, поскользнувшись, я растягивался на палубе, больно ушибая локти, спину или голову, уже не говорю. Но дважды в эти дни моя семнадцатилетняя жизнь запросто могла закончиться в пучине холодных вод.

Первый раз это случилось во время утренней вахты. Шторм был баллов 5–6, но видимость вполне хорошая, и даже временами сквозь сплошную вату серо-черных туч пробивались солнечные полосы. Предшествующая вахта только что сбросила трал за борт, и «Сириус» начал циркуляцию. По заведённому расписанию смена вахт происходила с боем склянок, причём какую бы операцию в этот момент ни производил сменяемый – отдавал ли гачок на кошеле спускаемого трала или, наоборот, цеплял его на поднимаемый, шкерил ли рыбину, стоял ли за штурвалом, – он тотчас прекращал этим заниматься, стопроцентно уверенный в том, что в ту же секунду операцию продолжит сменяющий.

Вот и в тот раз, взваливший было на плечо «бешеный конец» Вова-из-Кишинёва, при первых звуках рынды, не оборачиваясь, с торжествующим выдохом «вахту сдал!», привычно сбросил тяжёлый трос на готовые его подхватить мои руки. «Принял!», чуть качнувшись от тяжести, крикнул я и, взвалив крюк на плечо, помчался на корму, за которой вот-вот должны были натянуться ваеры. То ли из-за спешки, то ли потому, что мозг не полностью включился в ритм работы, привычную процедуру наблюдения краем глаза за величиной наваливающейся на борт волны, дабы отследить самый большой девятый вал, я пропустил. И потому вовремя, как это всегда делал при ударе высокой волны, не прижался к надстройке, крепко вцепившись в идущий вдоль неё поручень. И тотчас был за это наказан. Сказать, что накрывшая траулер по рубку волна подхватила меня, как щепку – банально. Но точно. Сначала она сильно ударила меня головой о переборку, отчего на мгновение я, видимо, потерял сознание, а когда пришёл в себя, сквозь полуметровую толщу прозрачной воды увидел уплывающий подо мной вправо верх борта судна.

«Значит, меня смыло», – без испуга, а даже как-то отстранённо-флегматично констатировал мой мозг и принялся размышлять о том, надо или нет мне освободиться от «бешеного конца». С одной стороны, эта тяжеленная железзяка немедленно утянет меня на дно, с другой, трос этот – единственная моя связь с траулером и надежда на то, что за него

меня выташат. Рассуждения эти так меня увлекли, что за ними я не заметил, как «Сириус» уже качнулся в мою сторону, а удачно зацепившийся за швартовную утку трос (хорошо, что не поддался инстинктивному желанию сбросить его!), словно праща, выкинул меня на палубу.

С этого момента возможная трагедия незаметно для меня превратилась в хохму, которая долго ещё вызывала смех у экипажа. Одной рукой удерживающий на плече гак и интенсивно, думая, что нахожусь в открытом море, гребущий другой, я какое-то время был не видим под залившей палубу водой. Но по мере того, как вода эта стекала сквозь кингстоны и бортовые щели, курящим в укрытии полубака всё явственней вырисовывались сперва машущая моя рука, затем активно работающие ноги и, наконец, пикирующее под тяжестью гака тело. В себя я пришёл от резкой боли в кисти левой руки, со всей силой гребка вдавившей по оголившейся палубе.

Полубак оглушал многоголосый хохот, который я, оценив комизм ситуации, подхватил, тотчас умчавшись завершать процесс стопорения уже натянувшихся ваеров.

Второй раз всем уже было не до смеха. Ловили мы глубоко на севере, в районе острова Шпицберген, где октябрь бил нас не только постоянными многобалльными штормами, но и частыми снежными зарядами, существенно ухудшающими и без того плохую в условиях начинающейся полярной ночи видимость. Вот в один из таких дней во время вечерней вахты, когда даже яркий луч прожектора с рубки не очень-то освещал палубу, я и потянулся отдавать гачок с кольца опускаемого за борт трала. Надо сказать, что и в нормальную-то погоду при свете дня эта операция всегда вызывала у меня опасение: качка, ветер, сети с укрепленными на них бобинцами, норовя ударить по голове, раскачиваются на стреле лебёдки из стороны в сторону, так что приходится больше чем по пояс переваливаться через борт, стремясь не просто дотянуться до кошелёвого кольца, но и произвести соответствующую манипуляцию с оснащённым карабином гачком. Но прежде как-то обходилось. А тут...

Не видя меня за снежной пеленой, тралмейстер Мыкола, отдав стопор лебёдки, был уверен, что я уже закончил операцию и стою на палубе. Но в тот момент заело карабин на гачке, и я, пытаясь его открыть, в буквальном смысле повис на сетях, больше чем по пояс вытянувшись за борт. Поэтому, когда вся масса поднятой стрелой сети и шестидесятикилограммовых бобинцев упала на мою спину, как-то вывернуться было уже невозможно. И вместе с сильной болью в лице, обдираемом ржавым бортом, по которому, плотно прижимая, тащил меня трал, я, мгновенно поняв, что это – всё! конец! – испытал даже не страх – жуткий ужас. И стало, как бывало в детстве, очень жалко себя. До слёз! И замелькали в сознании лица мамы, папы, школьного друга Кольки и Сёмки-соседа. И наш канавинский дворик с двумя берёзками под окнами, под которыми я, будто бы готовясь к выпускным экзаменам, безмятежно дрых на раскладушке, прикрыв лицо учебником. И робкие, неумелые, но безумно радостные целования с десятиклассницей Танечкой в полумраке подъезда её большого дома. И...

В тот момент, когда я уже понял, что захлёбываюсь, неожиданно тяжесть давления на тело ослабла и одновременно острая боль пронзила икру левой ноги. Сильные руки вытянули меня наверх, поставили было на ноги, но они тотчас подогнулись, и в полубоморочном состоянии я рухнул на палубу.

Очнувшись от резкого, остро ударившего в нос запаха нашатыря, я какое-то время не мог понять, где нахожусь и что происходит. Надо мной, то появляясь, то исчезая в плотной тёмно-серой завесе нескончаемо падающего снега, раскачивались мокрые лица, среди которых, наконец, узналась бородастая физиономия тралмейстера Мыколы, беспрестанно бормочущего: «Вставай, а? Хлопчик, як же ж я недогледив, мало не вбив тебе... я ж думав, що ти вже усё сробил. Вдруг, дивлюся, чобиёт над бортом плигонув. Я лебидку вгору и за богор... Ну, що очунув?»

И тут я ВСЁ ВСПОМНИЛ!

И вместе с осознанием того, что только что моя едва начавшая входить во вкус жизнь могла оборваться, вместе с болью, обжигающей кровоточащее, ободранное лицо и пораненную икру, вновь пришла жалость к себе любимому. Не просто, а – всеобъемлющая, готовая сорваться в истерику. Плечи мои затряслись, подбородок задрожал... Ещё секунда и, не стыдясь окружающих, я заревел бы, как пацан – взахлёб, до заикания! Но в этот момент СС, подняв меня за плечи и, встряхнув, ставя на ноги, гаркнул в самое ухо:

– Как вспомнишь, бывало, разинешь едало – а мухи-то роем летят!! Чё разлёгся, Студент? Трал – на циркуляции! Пулей омылся и – за «бешеным концом»! И, видя, что я ещё не шелохнулся, добавил презрительно: «Хиляк...»

Теперь, с высоты минувших десятилетий, я мысленно благодарю этого грубого, «академиев не кончавшего» и не знавшего психологических основ мужика, принявшего в тот момент единственно верное решение. Ведь пожалей они меня тогда, дай опуститься до постыдного плача – всё! Не смог бы я больше ни на штормящую палубу выходить, ни в глаза экипажу смотреть. Одно – страшно, другое – стыдно!

А тогда... Пришпоренный хлёстким, как плеть, быющим по мальчишеской гордости словечком «хиляк», я и впрямь пулей метнулся в душевую и уже через несколько минут, стараясь не обращать внимания на жжение ободранного, разъедаемого солёной водой лица, стопорил натянувшиеся ваеры трала.

Конечно, случившееся не могло пройти совсем бесследно. Я не о лице, долго ещё покрытом коричневыми, чешущимися корочками, и не о разорванной багром икре. О душевном состоянии, при котором я вдруг, чего не бывало прежде, стал отмечать, что во время передач «внутреннего», предназначенного только для экипажей Тралрыбфлота, радио, после неизменных рапортов о трудовых достижениях чего-то там в честь, начинает звучать печальная музыка и бесстрастный голос диктора монотонно зачитывает списки пропавших без вести или погибших рыбаков, а иногда и безвестно сгинувших судов. И стала – даже во время изнуряющей работы! – всё чаще и назойливей накатывать тоска по дому, по Танечке, по друзьям... Да просто – по ТВЁРДОЙ, НЕ УХОДЯЩЕЙ ИЗ-ПОД НОГ СУШЕ!

Слава Б-гу, что всё – даже плохое! – заканчивается. Подошёл к завершению и наш рейс. Описать ликование моей души, когда, стоя у штурвала и уже заправски, едва ли не двумя пальцами держа курс на означенный румб, я увидел чуть справа впереди проступившие сквозь утренний туман контуры скалистого берега, передать трудно. Но, видимо, оно так светилось в моих глазах, что стоящий рядом капитан, словно подтверждая мою догадку, утвердительно кивнул: «Да, Студент, справа по борту Кувшинская Салма, будем заходить в Кольский залив». Потом, выдержав небольшую паузу, он продолжил:

– А, что... может, ещё в один рейсик сходишь?

«Ага, разбежался!» – чуть не вырвалось у меня, все последние дни только и мечтавшего о том, как, получив расчёт, помчусь я в кассы Аэрофлота и самым ближайшим рейсом полечу в любимый Горький. Но, сдержавшись, в слух соврал:

– Я бы, Василий Давыдович, не против. Но, сами знаете, мне декан до 1 ноября разрешил задержаться...

– Жаль. Парень ты оказался толковый и... не хлюпик. Я б тебя ещё взял. А то... подумай – ещё на рейсик? С институтом-то наши кадры договорятся.

Я, конечно, был непреклонен и, едва сменившись, чувствуя скорое приближение рыбпорта, кинулся запихивать в рюкзак разбросанные по всему кубрику вещи. «Ну, вот, вроде и всё, – довольно оглядев кубрик, заключил я, затягивая верёвку переполненного рюкзака, – можно и перекурить». Сердце моё нетерпеливым пацанёнком скакало в груди, дрожащие от возбуждения пальцы никак не могли достать из коробка спичку. В этот момент ударившийся о пирс «Сириус» сильно качнулся и, с трудом удержавшись на ногах, но при этом, сумев поймать слетевшую с верхней коечки гитару, я понял: причалили!

Резво взвалив на плечо рюкзак, я собрался было открыть дверь кубрика, как она сама распахнулась, впуская тралмейстера Мыколу.

– Збираэшься в мисто? Гарна справа. – «Хлопчик с-пид Киеву», хоть и вполне внятно, несмотря на украинизмы, говорил по-русски, но в минуты душевного подъёма любил покуражиться, полностью переходя на мову. Судя по всему, сейчас была именно такая минута. – Тильки спочатку треба сходити у касу отримати розрахунок. – Видя мои недоумевающие глаза, Мыкола довольно добавил: – Що, турист, не розумиэш? Я говорю, що упрэждэ чим до Мурманску двигати, трэбо у каси гроши получить.

Я не сопротивлялся. Коль так положено – «пидэмо до каси»! Впрочем, сперва элементарное понятие «идти» оказалось весьма непростым делом. При первых же шагах по суше мой вестибулярный аппарат, привыкший жить на раскачивающейся палубе, едва не бросил меня на пирс, словно хорошо выпившего, не способного стоять на ногах алкаша.

– Оно как, турист, земля не тримаэ, море, виходить, надийнише? – рассмеялся тралмейстер, крепко подхватив меня под мышку. – Ну,ничого, отримаетмо грошенят, приймемо на груди – усе стане на свои мисця.

Озабоченный прямохождением, фразу о приёме на грудь я как-то не зафиксировал, а вот минут через пять, когда поступь вновь обрела уверенность, от внезапного осознания близости расчёта, разыгралось любопытство.

«Сколько, интересно, начислят? Оклад у меня, вроде, за сотню, да ещё “северные” да “гробовые”, да за сданную рыбу при перевыполнении задания... а моя “комтрударная” процентов двести как минимум дала – дважды сдавали улов на плавбазы... Правда, мужики чего-то говорили про вычеты – колпит там, сигареты, раз пять печенье с конфетами в лавке брал да пару раз РД отбивал домой, чтоб не волновались... Но уж не больно это всё и дорого! Может... рублей 200, а то и 250 дадут. Так ещё ведь дорогу в оба конца должны оплатить и в ДМО проживание... Вот здорово!»

Размышляя таким образом и периодически что-то отвечая без умолку тараторящему Мыколе, я не заметил, как, казалось, нескончаемая

очередь впереди стоящих рыбаков из различных вернувшихся с моря судов, переполнявших небольшое помещение возле портовых ворот, привела меня к окошку кассы, плотно прижимая нетерпением толпящихся сзади.

– Пёсин? – выкрикнула кассирша, мельком взглянув в протянутую мной учётную книжку рыбака.

– Песин...

– Чё?

– Не Пёсин, а Песин, говорю, моя фамилия!

– А мне без разницы. Тут ударения (!) не проставлены. Расписывайся! Сумма прописью. Число сегодняшнее!

Взглянув на протянутую кассиршей бумажку, я увидел цифру... 367...

– Ск-олько? – заикаясь, с трудом из-за перехватившего горло дыхания, выдавил я, полагая, что плохо вижу и потому с испугом думая, что «рыбалка» снизила моё зрение, а значит, теперь меня непременно выгонят с факультета судовождения.

– Что, мало?! – саркастически ощерилась кассирша, блеснув желтизной золотых зубов. – Так меньше на колпите жрать надо было и курить тоже. Короче, не задерживай! Вот тут пиши: восемьсот...

Да, глаза меня и впрямь подвели. С перепугу или от невероятности подобного они приняли восьмёрку за тройку, которая и так уже делала получаемую сумму огромной. Теперь же пачки денег, выкладываемые кассиршей на приокошечную полочку, делали её гигантской! Представьте: первокурсник с двадцатипятирублёвой стипендией, каждый день получающий от мамы по полтиннику на перекус в институтском буфете, и вдруг!.. Знаете, что можно было тогда купить на эти деньги? Разом осуществив мечты подавляющего большинства моих сверстников – мотоцикл «Иж-планета» плюс лучший по тем временам катушечный магнитофон «Днепр». Да ещё и как следует их обмыть! Кстати, об обмыть. Поскольку в стране нашей издревле было принято всё мерить пол-литрами, то для наглядности скажу: заработок мой составил более 300 бутылок водки или свыше 600 бутылок особо популярного среди студентов ГИИВТА портвейна «Волжское розовое».

Так что ту сумму – 867 р. 17 к. – мне не забыть никогда!

Не без труда рассовав по карманам (так что и пиджак, и бока брюк под ним вызываяще топорщились) внезапно свалившееся богатство, я, не дожидаясь Мыколы, не спеша направился в сторону «Сириуса», сияя, как надраенная корабельная медь.

– Ти куди? – с нескрываемой обидой в голосе окликнул в спину тралмейстер.

– Дык за вещами. Брошу в ДМО и пойду за билетами на самолёт...

– Ни, тик не можно... Положено писля рейси посидити, попрощатися. Я ж тоби от смерти врятував! Зараз пидемо у шинок, буду з тебе справжнього маримана робити!

Я, конечно, был благодарен Мыколе за спасение жизни и обижать его отказом не стал. «В конце концов, что случится, если я немного выпью с ним на прощание? Ну, не сегодня, завтра возьму билеты: всё равно море уже позади и главного направления – к дому – это не изменит!»

Крепко обняв за плечи так, что я оказался у него под мышкой, здоровенный Мыкола вывел меня из проходной рыбпорта и повёл по «стометровке», с обочин которой чем дальше мы продвигались, тем активнее раздавались призывные женские голоса.

– Ти, турист, нэ реагуй. Це непотрибни жинки, як трясовина: вступиш – засмокче. Без штанив залишишся! – по-отечески наставлял он, периодически, как от назойливых мух, отмахиваясь от тёток зычным. – Не треба!

Ресторан «Арктика», в который мы пришли, располагался на площади Пяти углов в стандартном четырёхэтажном здании гостиницы с тем же названием. Время было дневное, посетителей немного. Главным образом, командированные или работники близлежащих контор. Публика небогатая, потому и официанты её не особо жаловали: не спеша подходили, через губу принимали заказ и тем более не спеша его приносили. Так же полноватая, не первой свежести официантка с синевой под глядящими мимо, скучающими глазами начала обслуживать и нас.

– Принеси-ко, дивчина, пляшку горилки и грановани стакани, – в предвкушении грядущего возлияния мягким, даже ласковым тоном начал Мыкола.

– А по-русски сказать нельзя?! – грубо прервала его официантка. – Чё надо?

– Возможно. Тильки грубиянити не треба, – всё ещё стараясь держаться в рамках приличия, ответил тралмейстер и, оставив мову, попросил: – Бутылку водки и гранёные стаканы.

– Водки нет, только бренди! А стаканы – в забегаловке. У нас ресторан!

– Хай буде бринди, тильки стакани щоб були! – И, как бы в подтверждение обязательности выполнения своей просьбы, Мыкола достал из внутреннего кармана пиджака пачку денег и купеческим жестом бросил её на стол.

Метаморфоза, произошедшая с официанткой, была поразительной. При виде денег она тотчас выпрямила, выпятив грудь, спину, глаза загорелись алчным огнем, и не успели мы опомниться, как на столе появилась бутылка с темно-коричневой жидкостью, а вместо мигом убраных бокалов – два гранёных стакана.

Удовлетворённо подмигнув (мол, учись, салага, как должен вести себя вернувшийся с моря рыбак), Мыкола, плеснув на дно моего стакана, налил себе полный и дрожащей от нетерпения рукой, так, что переливающаяся влага закапала на рубашку, единым махом опрокинул содержимое в широко раскрытый рот. На какое-то время он замер, будто внутренним зрением отслеживая, как бренди разливается теплом по телу. Потом, быстро налив ещё полстакана, так же быстро выпил и... Зрачки Мыколы затуманились, лицо приобрело багровый оттенок, рот расплылся в блаженной улыбке, и, глянув на меня уже не видящим взором, он, достав еще пару пачек и бросив их на стол со словами «розплатишся, туриссс», рухнул лицом в скатерть.

Некоторое время я, оторопело глядя на растёкшуюся по столу сопящую физиономию тралмейстера, сидел, размышляя, – что делать дальше? Первое желание – немедленно уйти от этого позора и, забрав шмотки с «Сириуса», заняться, наконец, отъездными хлопотами. С другой стороны, бросить Мыколу в таком состоянии, с огромными деньжищами, часть которых, грудясь на столе, уже мозолила глаза окружающим, – непорядочно. Не по-товарищески.

– Может, что-то покушаете? – Голос официантки был обволакивающим сладким, вызывающим желание ответить согласием, тем более что слышал я женское воркование впервые после многомесячного вращения в сугубо мужской грубо-матерной среде. «А почему бы и не поесть?

Время-то давно послеобеденное», – подумал я и тотчас почувствовал, как голодная слюна подкатила к горлу.

– Могу предложить салатики... из свежих овощей... с крабами... оливье... Икорочка в ассортименте. На первое – рассольничек с расстегайчиками... борщ по-украински с галушками... соляночка. На второе – палтус...

– О, нет! Только не рыбу! – невольно воскликнул я, уставший от бесконечного рыбного рациона. – Что-нибудь мясное с жареной картошечкой.... И – побольше!

Едва появились холодные закуски (причём явно мною не заказанные, потому что, помимо салатов среди них были и селедочка с лучком и сливочным маслом, и мясные нарезки, и бело-розовые ломтики осетрины, и много чего другого, мне неведомого), у меня начался, в буквальном смысле, жор. Отправляя в рот то одно, то другое яство, запивая всё это терпким бренди (сперва наливаемым на доньшко, а позже и по полстакана) я всё никак не мог насытиться. И не столько из-за действительно голода, сколько от впервые появившейся возможности вкушать всё это дорогущее изобилие.

Дальнейшее вспоминается уже нечёткими и несвязными картинками.

...какие-то люди – мужчины и женщины – шумно пьют за нашим столом, называя меня долгожданным, вернувшимся с моря корешем...

...тралмейстер Мыкола (видимо, уже очнувшийся) с хохотом рассказывает, «як врятував мени життя», вытащив из-за борта багром за сапог, и предлагает «всім випити за хрещення салаги морем»...

...расплывающиеся буквы меню, в которое я тычу пальцем, говоря официантам (должно быть, их было уже много): – Принесите это... и это... и это!»...

...запах крепких духов, смешанный с табаком и алкоголем, исходящий от чего-то необъятного, мягкого и потного, жарким языком влезающего в мой рот...

Пробуждение было противным. Сухость во рту, дурнота и нескончаемая тупая головная боль – далеко не всё, что я ощутил, очнувшись от ночного беспамятства. В приоткрывшиеся веки сначала вплыл потолок со следами протечек – сизый от сумеречного утреннего света, с трудом пробивающегося сквозь давно не мытые стекла наполовину задернутого чем-то окна. Потом взгляд скользнул по стене с отклеивающимися непонятного рисунка обоями, к которой примыкала моя кровать. Она была железной, покрашенной в синий цвет с давно забытыми блеск хромированными набалдашниками на спинках. Наконец, повернув голову, я увидел небольшую неприбранную комнату, по которой, совершенно не обращая на меня внимания, нервно курая, ходила незнакомая женщина. Неясного цвета халатик, накинутый на голое тело, прикрывал его лишь со спины и, порой, с боков. Тело было явно не молодым – с обвисшими грудями и дряблым животом, спускающимся складками в обильную тёмную поросль. На отёкшее лицо стекали пряди нечёсанных волос.

– Очухался? – без каких-либо эмоций спросила она.

– Ты кто? – плохо соображая, задал я первый пришедший в голову вопрос.

– Конь в пальто! – с легким раздражением огрызнулась она. – Одевайся и сваливай по-быстрому. Скоро мой должен заявиться.

– А где мы? Ну... в смысле далеко от ДМО?

– На троллейбусе остановок семь.

«Как же, поеду я тебе на троллейбусе! – съязвило моё похмельное Я. – Возьмёшь тачку, не бедный».

Откинув то, что служило одеялом, я обнаружил, что абсолютно гол и тотчас стеснительно прикрылся. Заметившая это женщина, язвительно хмыкнув, демонстративно отвернулась. Я попытался взглядом найти свою одежду и лишь через некоторое время обнаружил под столом скомканные брюки, а пиджак и вовсе под кроватью. Постепенно нашлись и остальные детали. Но не это уже меня волновало. Едва взяв в руки, я понял, что ни в брюках, ни в пиджаке... денег нет. То есть вообще! Ни копеечки!! «Восемьсот шестьдесят семь...» – дразня, проплыла в похмельном мозгу цифра.

– Эта... ты... не видела? Тут у меня...

Но встретившись с наглым взглядом усмехающихся глаз, я понял – вопросы задавать бесполезно.

– Чё копаешься? Хочешь моего дожждаться?

– Ты... слушай, хоть двадцатипятирублёвку дай!

Рассмеявшись, она засунула руки в карманы халата и подняв их, как крылья, нагло обнажая бесстыжие прелести, процедила:

– А не пошёл бы ты... туда?!

– Ну... хоть на троллейбус.

О чём думал я, возвращаясь на «Сириус», говорить излишне. Но все мои мысли и чувства, видимо, так красноречиво были написаны на лице, что даже дежуривший у трапа Юнга, кинувшийся было ко мне с претензиями, дескать, он обиделся, подумав, что я не попрощавшись с ним, который его «осена уфажал», уехал, внезапно осёкся и, положив руку на моё плечё, грустно вздохнул:

– Знался и ты... От жись... шайтан!

Опустив глаза, я молча прошёл в свою каюту, смахнул с коечки собранный в дорогу рюкзак и, не раздеваясь, рухнул головой в подушку. Было горько и обидно, но одновременно понятно, что виноват сам и претензий предъявлять некому. И, значит, завтра я напишу кэпу заявление и уйду ещё в один рейс. А институт?... ну, Давыдыч же обещал, что кадры договорятся.

Определив самому себе ближайшее будущее, я постепенно успокоился и, засыпая, даже внутренне усмехнулся, вспомнив некогда категоричное «Со мной подобного произойти не могло бы ни при каких обстоятельствах...».

Студент!

Наталья УВАРОВА

Родилась в 1982 году в городе Дзержинске Нижегородской области. Окончила филологический факультет ННГУ. Лауреат и финалист всероссийских и областных поэтических конкурсов, фестивалей авторской песни. Двукратный призер фестиваля-слета молодых литераторов в Большом Болдине. Автор сборников «Голуби и крысы» (1999), «Бабочка» (2014). Живет в Дзержинске.

ДУРНАЯ КРОВЬ

Фрагменты повести

Не такая

Это рвануло похлеще атомной бомбы.

– Это она написала? – сдвинув на нос очки, спросил мужчина.

– Она...

– Сама?

– Сама...

– А когда?

– Не знаю... Не помню... Зимой, кажется. Или нет? Позже немного.

На 8 Марта хотела этот ужас в садике прочитать.

– Ужас?

– Ну да. А что такого? Ни рифмы, ни смысла особого. Натаскала чужих строчек, ну, что слышала. Обычный детский лепет...

– Детский лепет! Да вы хоть понимаете, что ваш ребенок предрек, предвидел чернобыльскую катастрофу!

Кто-то ходит, шаг чеканя,
По железной крыше неба,
Он-то видит, он-то знает,
Как натужно и свирепо
Кто-то черный под землею
Дышит в каменной купели.
Он проснется, разогнется
В юном месяце апреле.
Как дохнет огнем смертельным,
Отравив леса и реки.
В городах и богадельнях
Будут плакать человеки...

– Ну уж вы скажете! Ужас какой-то!

– Ужас? Нет, ужас не в том, что она написала, ужас в том, что вы не замечаете, в упор не видите дарования своего ребенка!

– Т-так уж и дарования! – вспыхнула мама. – Нам вон чуть ли не синдром Дауна ставили. Ребенок до двух лет не разговаривал почти. Общаться ни с кем не хотел. Она в садике ни с кем не дружит! Все девочки в куклы играют, в куличики, а она бродит одна. Угрюмая. Общается только с соседским мальчишкой на год старше и с его бабушкой.

– Ребенок? Вы сказали ребенок? О собственной дочери? Как будто она вам безразлична.

Гений

– То есть как на пару месяцев?! – вздыхает мама. – Ей же в сентябре в школу... Психические расстройства и заболевания центральной нервной системы... Неужели все так плохо? Прямо как крест ставите... У меня нормальная дочь, а все эти истерики... У нас среди родственников психов не было... Ну, может, я плохо ее воспитываю, может, лупить ее надо, – мама растерянно теребила молнию на сумке. Открывала туда-сюда, вжик-вжик. Я, притихшая, опустив голову, сидела рядом. Решалась моя судьба. – Не надо драматизировать, мамаша. Во-первых, в школу ей рано, она совершенно не адаптирована к обществу. Ее там заклюют, знаете, какие дети сейчас пошли. Год у вас в запасе есть... Я и как врач решительно против шестилеток. А во-вторых, о каком кресте вы говорите? Конечно, ребенок не вполне психически здоров, но в ее возрасте все поправимо. Будет сложнее, когда ей исполнится десять, шестнадцать, двадцать. Сейчас она швыряет игрушки и бьется головой, а тогда и убить кого-нибудь сможет. Или на себя руки наложить...

«О ком идет речь? Неужели обо мне? – думаю я. – И кто этот дядя? Наверное, врач. Раз в белом халате, с большими мягкими руками, значит врач. И как это – наложить на себя руки? Неужели так страшно? – я складываю руки крестом и прижимаю к груди. Похоже на покойника. Для большего сходства я закрываю глаза и вытягиваю лицо вниз, рот мой изгибается в виде радуги. Точно, наложить на себя руки – это стать покойником. Mamochki! То есть доктор говорит, что если мама его не послушает, то я скоро умру...»

– И потом, там свежий воздух, сосны, река рядом. Там режим и сбалансированное питание, процедуры, гимнастика. Уж поверьте мне, девочка там расцветет. Музыкальные вечера, концерты... Она у вас поэтесса? Вот значит, стихи читать будет. Санаторий пойдет ей на пользу.

– И все-таки, доктор, «психические заболевания»... Уж звучит как-то некрасиво, – опять вздыхает мама. – Неудобно, что люди скажут.

– Вот, они опять думают, что люди скажут. А «заболевания опорно-двигательного аппарата» – звучит не так страшно. Или «сердечно-сосудистой системы» – это что, почетно? – доктор слегка наклонился, вытянул жилистую шею. Я видела, как в толстых синих венах на его шее толчками пульсировала кровь. – Получается, что астма, врожденный порок сердца или лейкемия – это трагедия. А если у ребенка не совсем в порядке с нервами, так уже позор... Странно получается, – доктор чуть понизил голос и еще ближе наклонился к маме. – Между прочим, в наш санаторий люди из горкома своих детей отправляют, начальники большие с предприятий. Им что-то не зазорно своих чад в «психи» записывать.

Потом доктор что-то долго писал в журнале, шелестел бумагами, мама вздыхала и рылась в сумке. Потом доктор подозвал меня к себе,

увел за ширмочку, велел садиться на кушетку. Затем надел мне на голову шлем, плетенный из ремешков, весь в блестящих кружочках. От каждого кружочка тянулся проводок и шел к большому аппарату с разноцветными кнопками и циферблатами. Аппарат тикал и мерно гудел, считывая мои тайные мысли.

– У девочки внутричерепное повышено, – говорит доктор и тычет похожим на сардельку пальцем в длинную бумажную ленту. Все какие-то зигзаги да черточки – это так выглядят мои мысли? – Это характерно для гениев или... – доктор поцокал языком, – извините, идиотов.

Мама всплескивает руками.

– Ну, скажем, на идиотку ваша дочь не похожа, она вполне хорошо развита...

– Даже слишком, – вздыхает мама.

– Ну, гений не гений, а что-то есть... Таким детям очень трудно адаптироваться в обществе, они, как правило, не поняты сверстниками.

Я стараюсь не слушать доктора, сижу на высоком крутящемся кресле, болтаю ногами, подпираю щеку языком изнутри.

Вечером мама запихивала в большую клетчатую сумку мои вещи и время от времени смахивала с лица слезинки.

Дурная кровь

Я выступаю следом за акробаткой. Сегодня я читаю стихи собственного сочинения. У меня уже много разных стихов – про щенка, про осенний ветер, который похож на строгого дворника в клеенчатом фартуке, он ходит по пустынному вокзалу и сметает желтую листву с платформы. Про ночные фиалки и про веселого инопланетянина, у которого девять щупалец и еще он подружился с девочкой. Сегодня я буду читать стихотворение про доброе чудовище, которое живет высоко в горах в озере со сладкой водой и очень любит детей. Только не есть, конечно. Оно их на спине катает и поет песни: «Оно и сказки знает, и песенки поет, по озеру катает детишек круглый год».

Ах, какой талантливый ребенок, восхищаются воспитатели, но тут же сокрушаются: и такой истеричный, неуправляемый, все дети направо – она налево, все спать – она играть. Она думает, что она – единственная и неповторимая, а у нас таких тридцать гавриков. Воспитатели говорят, что ко мне нужен особый подход.

Еще я буду читать стихотворение про щенка, оно совсем детское, я его лет в пять сочинила. Про то, как у девочки щенок заболел, и как оказалось, что лечить его надо конфетами. Но сегодня я очень хочу прочитать другое стихотворение. Я вам расскажу, как я его сочинила. У нас во вторую смену нянечка работает – Марина Аркадьевна. Она очень красивая, как Джоконда, я сама Джоконду не видела, но говорят, что это картина, а на ней тетенька улыбающаяся. Марина Аркадьевна мечтает стать артисткой. Каждый вечер она в своем закутке читает вслух, все больше стихи и басни. Хорошие стихи, даже лучше, чем у меня, например, про окно, где опять не спят, или вот: «сжала руки под темной вуалью». Только читает она плохо. Смешно у нее получается, нараспев, наразыв. А еще у нас ночным сторожем работает Славик. Он в пединституте на заочном учится. И вот как-то, когда все в палате, кроме меня, уснули, заходит Славик к Марине в комнатку и говорит: «Маришка, у тебя драматический талант!» А я как услышала это, даже дышать перестала, притаилась под одеялом, один глаз

приоткрыла, вот интересно-то, наверное, как в кино для взрослых. Только ничего такого не произошло. Славик достал из сумки книгу, и они начали вслух по ролям читать. Эта была грустная история про бедного короля, которого отравили по приказу коварной королевы, и он стал привидением, про несчастного и немного сумасшедшего принца, про его возлюбленную, которая бросилась в реку, про друзей принца. Читали они целую неделю. После отбоя Славик заходил в палату, и начиналось. Я, затаив дыхание, слушала, как Марина хриплым волнующимся голосом читала. Я не понимала большей части того, о чем говорилось в этой книге, иногда я засыпала, так и не дослушав до конца очередную историю. И тем не менее все услышанное, вернее, подслушанное ночью произвело на меня такое впечатление, что я даже стихотворение сочинила. Вот оно:

Погиб король. В душе не тает лед.
И белой лилией Офелия плывет.
Над фьордом северным – трехкратное «увы!».
Но Розенкранц и Гильденстерн – мертвы.

Я, сочинив стихотворение, несколько дней ходила и мучилась, потому что очень хотела кому-нибудь его рассказать. А кому? Девчонки не поймут, им все про кукол подавай да про цветочки, или про машу-кашу-маму-раму. Воспитатели – те тоже по головке не погладят, еще спрашивать начнут, откуда я такие слова знаю. Остается только Марина Аркадьевна. Я набралась смелости. На вечерней прогулке, когда дети играют в мяч и лепят куличики, подошла к ней, потянула за юбку.

– Чего тебе? – обернулась она. – Мячика не досталось?

– Не-а, – мотаю головой я, – стихотворение...

– Что? Какое стихотворение? Неужели уже выучила? – Марина Аркадьевна даже руками всплеснула, – ах, какая прелесть!

– Я его сама сочинила, – кокетливо надув губки, отвечаю я. – Только вы можете меня понять.

– А батюшки! – опять всплеснула руками девушка, – ну, давай, малышка, рассказывай. Ты ведь у нас поэтесса, – она взяла меня за руку, подвела к скамейке и велела садиться. Но я-то знаю, что хорошие стихи надо читать непременно стоя.

– Ну хорошо, – согласилась она, присаживаясь на скамейку, – ты будешь артистка, а я зритель.

И я рассказала. Громко, с выражением, даже руку правую вверх подняла, как памятник какой-нибудь. А на слове «увы!» даже головой тряхнула. А Марина раскраснелась почему-то, стала комкать подол юбки, губы поджала.

– Хорошо, очень хорошо, – дрожащими губами произнесла она. – Замечательно.

Потом быстро поднялась со скамейки, стряхнула с юбки сосновые хвоинки и нервной подпрыгивающей походкой поспешила в корпус.

А я так и не поняла, понравилось ли ей стихотворение.

Ну вот, моя очередь выходить. Зрители хлопают. Мимо пробегает потная высокая девочка в зеленом обтягивающем трико, расшитом блестками, – это Юленька, Юляша, Юлечка, девчонка вредная и злая, но воспитатели ее обожают. Юляша занимается в цирковой студии и умеет делать шпагат, колесо, мостик, даже на руках ходить умеет, правда немного, шага три. Я тоже попробовала сделать колесо. Три раза получилось, а на четвертый у меня подкосились руки, и я пребольно ударилась головой. Я заплакала, а Юляша почему-то стала смеяться. И за что ее воспиталки так обожают, ведь она ябеда и подлиза.

– Так, стихи – кто у нас читает стихи? – громко спрашивает и хлопает в ладоши полная дама в белом халате. Смотрит на сгрудившихся в кучку детей в разноцветных костюмах, замечает меня, грубо хватая за запястье, вытаскивает на середину. – Вот она, горе-то мое! Ты не забыла, что тебе выступать? Ты слышишь меня, дурочка? Я же сказала, после Юли быть готовой! А ты где-то шляешься, несносный ребенок. Нет, она и вправду идиотка, хоть и стихи пишет...

Я молчу и не понимаю, за что меня обзывают. Ну не могу же я вслух объяснить воспитателке, этой толстой тетке в белом накрахмаленном, шелестящем как целлофановый пакет халате, с узкой, обведенной ярко-красным щелью вместо рта, с бровями, нарисованными карандашом, почему я не готова. Я же боюсь этой противной Юльки, она же меня на полголовы выше и сильнее. А потом, я, кажется, новое стихотворение сочинять начала, засмотрелась в окно на сад яблоневого, на то, как облетают листья и на голой черной ветке висит одно сморщенное желтое яблоко.

– Так. Всё, давай. Сначала про щенка, потом про чудище, и не перепутай. Чуть концерт не сорвала, о господи! – воспитателка грубо одергивает на мне юбку, дает легкий шлепок и выталкивает на середину спортивного зала, где и идет концерт.

«Сначала про щенка, потом про чудище, сначала про щенка, потом про чудище», – как заклинание бормочу я и медленно-медленно, гусиным шагом направляюсь на середину зала. Народу-то, ух ты! Родители, воспитатели, врачи, повара, вон даже Марина Аркадьевна сидит, и Славик рядом, за руку ее держит. Марина у нас больше не работает. Не работает с того самого дня, как я ей стихотворение рассказала.

Вот, стою на середине, спину прямо, как учили, носки чуть-чуть разведены, правая рука отведена в сторону, потому, что все взрослые поэты так делают. И тут в голове моей мелькает мысль, а что если рассказать стихотворение про короля и Офелию, ведь Марина сказала, что оно хорошее. Ну и пусть ругают, могут даже в угол поставить, могут даже исключить из санатория, а я его все равно расскажу.

– Ну давай же, горе мое, – краем глаза я вижу, как из-за занавески, служившей кулисой, высунулась круглая голова, как в такт словам раскрывается-закрывается узкая, обведенная красным щель, – давай же: «мой щенок сегодня грустный, мой щенок повесил нос...» Давай же... – и рукой машет.

– Мой щенок сегодня грустный, мой щенок повесил нос, не спешит он на прогулку, не виляет черный хвост, – опустив подбородок на грудь, насуپленно бормочу я.

И вдруг, распрямляюсь, даже подпрыгиваю, ощущаю внутри натянутые струны, они звенят, колеблются, просят выпустить на волю ЗВУК. И я громко, на весь зал, на весь санаторий, на весь лес кричу. Кричу, надавив кулаками на живот, чтобы выжать из себя звук, выжать без остатка. Это совершенно новые, неведомые, непонятные мне стихи, родившиеся только что, неизвестно откуда, наверное, из этого пропахшего потом и духами воздуха, из злобной ухмылки Юляши, из таинственной и светлой улыбки Марины Аркадьевны, из расшитых блестками девичьих платьев, из приглушенного света настольной лампы, под которой двое влюбленных читают вечную историю о печальном безумном принце и его возлюбленной. Звук родился из шороха облетающих листьев, красных и желтых, из сосновой хвои, которая засыпает все дорожки в санаторном парке, из лунного света, который мощной струей врывается в девчачью спальню, и никакие шторы и жалюзи не помогают. Он также родился от мерцания лесного

костра, который каждую ночь видать из окна, сначала мы, дети, думали, что это мерцает упавшая с неба звезда, потом – что глаз притаившегося в кустах чудища, страшного одноглазого Вия, про которого нам рассказал Славик, но потом кто-то из родителей объяснил, что это обыкновенный костер, на котором сжигают листья и хвою. Звук родился от пронзительного запаха антоновских яблок, которые приносит мне мама. Она почему-то отдает их воспитательнице, целый кулек, а та после полдника вручает мне только одно яблоко, а остальные прячет высоко в подвесной кухонный шкаф. А Витька мне сказал, что воспиталка у всех яблоки отбирает, и печенье с конфетами тоже, а в тихий час ест. И мы с ним сговорились, что как-нибудь ночью проберемся на кухню, подставим стул, заберемся в шкаф и съедем все яблоки... И вот лопнули натянутые струны, и звук уже не принадлежит мне, вернее, не одной мне, а всем:

Сентябрь. Опять колокола
Вызванивают душу,
Дурная кровь стучит в висках
и просится наружу!
Ночь черную разверзла пасть
Над догоревшим садом,
Я яблоком могу упасть,
Тебя обрызгав ядом!!

– Ненормальный ребенок, – слышу я голос воспиталки в целлофановом халате.

Слышу как сквозь толщу воды. Я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Чуть-чуть, ожидая того, что в глаза мне ударит яркий свет, разлеплю веки. Свет тих и приглушен. Из моей левой руки торчит какая-то трубка и уходит под потолок.

– Дебилка. Чуть концерт не сорвала. У меня же все расписано, понимаете? А она не то стихотворение прочитала... Ночь... Яблоко... Дурная кровь... Ужас! А что обо мне из области подумают? А родители? Вы не знаете?! Что они подумают, раз дети такие стихи читают... Идиотка! Надо матери сказать, что у нее растет дочь – идиотка... Безобразие...

– Извините, Тамара Павловна, но в данный момент это вы рассуждаете как идиотка, – спокойно отвечает ей приятный мужской голос. – Да на таких детей молиться надо! Она поэт, она гений! За границей в таких деньги вкладывают, создают особые условия, чтобы они совершенствовались свой талант. А вот от ваших окриков, от вашего равнодушия дети и становятся идиотами.

– Ну уж не позволю, Марк Валерьевич. Ишь ты, за границей! Я как идиотка рассуждаю? Я? Педагог с тридцатилетним стажем? Да вы еще в анатомичке трупы резали, а я уже преподавала. Я же пятнадцать лет в школе проработала. А потом вот сюда пригласили, заведующей. А девчонка эта – идиотка форменная. Дурная кровь. Дурная кровь...

Журналы женские

Яркие, глянцевые, пахнущие дорогими модными духами и кремом от морщин. Выстроились в ряд на полке, расселись стайкой тропических птиц на прилавке, щебечут, манят. «Я расскажу тебе о том, как соблазнить мужчину», – вкрадчиво шепчет один. «Хочешь узнать о тайной жизни топ-моделей? На самом деле они такие страшненькие.

А ты – лучшая», – перебивает другой. «Ты еще не знакома с методикой фэншуй?» – спрашивает третий.

– Нет, нет, нет, – мотаю я головой. – В другой раз, – я надменно обвожу взором прилавки, критично разглядываю тощенькую модельку на обложке и молча исчезаю.

Единственное, что я достаивала внимания в подобных журналах – пособия по сексу. И то лишь для того, чтобы похихикать над советами очкастых тетей наивным нимфеточкам. Как можно написать инструкцию по тому, что относится к сфере человеческих отношений?

Моя школьная подруга Лара, в отличие от меня, скупала все «Эль», «Космо», «Мэри Клер» и даже «Плейбой», тщательно изучала секс-инструкции, наиболее важное записывала в тетраточку и, смею предположить, ежевечерне тренировалась на огурцах и бананах под ранние песни Мадонны и Сабрины. Она также не пренебрегала советами относительно одежды и макияжа и иногда устраивала в классе самодеятельное дефиле, демонстрируя ошалевшим одноклассникам самопальные прет-а-порте «от Труссарди и Гуччи», за одну ночь сварганенные из папиного плаща и маминой блузки на бабушкином «Зингере». Я же в это время занималась поглощением трудов Ницше и Шпенглера, балдела от Бродского, слушала Арестову и Бьорк, затем увлеклась творчеством Варга Викернеса – юного малахольного арийца, еретика, музыканта и философа, и по сей день отбывающего максимальный срок в комфортабельной норвежской тюрьме. Я презирала рукоблудие и прятала свое бурно расцветающее тело в драные джинсы и толстовку с черепом. Я много и неумело курила. Злобно материлась. Пила водку. Тусовалась в мужских компаниях, и юноши, считавшие меня «своим парнем», делились со мной своими тайнами и переживаниями.

– Да засади ты ей поглубже, – с видом знатока советовала я. – А про Юльку забудь, она просто непрошибаемая дура и тебя не ценит. Ладно, давай еще по одной...

Сама я была девственницей. Впрочем, как и Лара.

Я давала Ларочке списывать домашние задания по алгебре и физике. Я была готова решать за нее контрольные по химии, лишь бы хоть иногда лицезреть, как она эротично и чувственно, засовывает банан по самый хвостик себе в горло. Как потом нежно вытаскивает, ласкает его узеньким сильным язычком, плотно сжимает в кольцо пухлыми губками. Я заворожено смотрела на нее, как на шпагоглотательницу, как на порнозвезду, по ошибке забежавшую в школьный туалет, где пахнет девичьим потом и сигаретным дымом, где белый кафель стен исписан губной помадой, а пол за унитазами забросан прокладками и плохо скомканными клетчатými листочками. Я сидела на грязном подоконнике, широко расставив ноги, и мусолила языком сигаретный фильтр. В моем животе сонно плавала и торкалась тупым носом золотая рыбка.

– А ты сделай операцию, превратись в мужика, а я бы за тебя замуж вышла, – хитро улыбается Ларочка.

Ларочка вышла замуж спустя год после окончания школы. В ночном клубе узкокольную нимфеточку в коротенькой юбочке из кожаных и полупрозрачной блузке, обтягивающей несформированную грудь, приметил залетный крутой дядя, свирепый мацо русско-американского разлива, «владелец заводов, газет, пароходов». Спустя два часа, на заднем сиденье дядино «Лексуса», Ларочка претворила свои обширные теоретические сексуальные знания в жизнь. Спустя два месяца она уже мыла тубельки в Атлантическом океане. Присылала фотокарточки с пальмами и золотыми пляжами, небоскребами и уютными особнячками. Ее муж, лысеющий господин

в пестрых шортах, армяно-еврейско-бог-весть-каких-кровей, полный, заросший от подбородка до пяток густой кудрявой черной шерстью, бело-зубо улыбался, обнимал за талию хрупкую Ларочку в синем сарафанчике.

«Обожаю-обожаю, он такой волосатый. Он похож на интеллигентного цивилизованного зверя, особенно, когда наденет белую рубашку, – восторженно пишет Ларочка. – Через неделю летим в Австралию, у Руфика новый проект».

Еще Ларочка жаловалась на то, что никак не может забеременеть. А ей так хочется подарить Руфику сына.

Я, раздавленная ее успехом, выкрасилась в платиновую блондинку, стала носить неприлично короткие юбки, бюстгальтеры на косточках и сапоги-ботфорты на шпильке. Провинциальные мачо в ужасе шарахались от такой красоты, а декан грозила исключить меня за «недостойное поведение». (Развели, понимаешь, дом моделей!)

Спустя еще два года Ларочка умерла при родах. Цинковый гробик с птичьими косточками доставили в нашу глухую провинцию с побережья Майами. Где теперь пухлые развратные губки, шепчущие милые глупости, где тоненькие кривоватые ножки с наманикюренными пальчиками, где русая головка, наполненная девичьим бредом? Кто будет делиться со мной нехитрыми секретами и развлекать банановым минетом? Все будет гнить в земле, в земле...

Истерика

Я – истеричка. У меня бывают приступы. С раннего детства мама таскала меня по врачам, спрашивала: «А что это ребенок по полу катается и волосы на себе рвет? А еще бормочет что-то, на стихи похоже». Врачи пожимали плечами, разводили руками, списывали все на побочные эффекты бурного роста и советовали больше бывать на свежем воздухе и меньше смотреть телевизор. Говорят, что слово «истерия» означает в переводе с греческого – «бешенство матки». С возрастом это усилилось.

Стоит меня разозлить, и я сжимаюсь в тугий комок, вернее, во много комков. Тело изгибается дугой, кулаки сжаты, все мышцы напряжены как струны контрабаса. Я начинаю бить себя костяшками пальцев по вискам. Сперва тихо, как бы щекоча нервы наблюдающим, со стороны кажется, что я рисуюсь или притворяюсь. Потом сильнее, сильнее, уже не в силах сдержаться себя. Боли я не чувствую. О, заломите мне руки, поднимите мне веки, окатите меня холодной водой! Внутри меня разгибается пружина, тело мое мне неподвластно, я с грохотом падаю на пол, ударяюсь головой об угол тумбочки, затихаю. Одна такая истерика стоила мне выбитого зуба и сотрясения мозга.

Лежу в постели – никаких книг, никакого компьютера. Сон. Сон. Сон. Тело мое размякло и ослабло. Я безвольная ватная кукла. От скуки втаскиваю на кровать ящик от письменного стола, принимаюсь разбирать личные архивы. Листаю тетрадки, исписанные корявым неуверенным почерком, рассматриваю рисунки, вырезки из глянцевого журналов. Ах, Ларочка, Ларочка, где ты теперь?! В земле, в земле... Класе, наверное, в девятом мы с Ларой решили нарисовать портреты мужчин своей мечты. Неумелые наброски, капли искренности и грез. Вот он, твой – густые брови, сросшиеся на переносице, черные кучерявые волосы, орлиный нос, мощный, раздвоенный щетинистый подбородок, взгляд свирепый и одновременно доброжелательный. Коренастое приземистое,

поросшее густым кучерявым волосом тело. И подпись: «главное в мужчине – чувство юмора». И мой рисунок – худенький белокурый юноша с печально затуманенным взором. Мальчик-колокольчик. Маленький принц. Стойкий оловянный солдатик. Фарфоровый пастушок. Мне нужен мужчина, который бы защитил меня от самой себя.

К вечеру приходит подруга и приносит в качестве гостинца несколько бананов. Мы, хохоча, читаем Ларину тетрадку с аккуратно наклеенными секс-инструкциями и давимся бананами.

Работа

Как всегда нехстати. Вопреки всем планам и алфавитам.

– Лё-о-онь? А мой заказ еще не проплатили?

Надо работать. Кричу хрипло, барабаню ногтями по столешнице.

– Какой? – не сразу доносится голос из-за пластиковой перегородки.

– Как какой? От банка этого... «Промстройсинтез», что ли... Ну, буклет им надо и календарики. Я их лично месяца три уламывала.

– А-а, – из-за перегородки высовывается длинная стриженная голова в очках. – Так я его Юрке отдал...

– То есть.. Кк..ак?! Юрке? – спотыкаюсь и недоумеваю. – Да я же лично с их менеджером говорила... Да как же так? Да Юрка же не справится... Лень.. ты напутал что-то... там же деньжищ немерено, Юрка заперет все, – лицо мое нагревается и краснеет.

– Понимаешь, – поправляя очки, менторским тоном произносит Леня, – Юрке деньги нужнее. У него семья все-таки. Второго ждут, слышала?! – Леня щербато улыбается, сверкает золотой коронкой.

– Д-д-ды, – челюсть дрожит, я чуть ли не пальцами разжимаю зубы, всовываю сигарету, затягиваюсь. Насытившись никотином, организм взбадривается. – Ты чо, офонарел?! С чего взял, что ему нужнее?! Это я этот заказ нашла, я! Хотя могла бы и не искать! Во урод! Юрику нужнее, – я встаю и начинаю мерить шагами комнату. – Значит, если Юрик посадил себе на хребет неработающую, вечно брюхатую бабу с кучей понтов, так он и герой?! И баба эта героиня? Усыновил чужого ребенка, ах, какой молодец! Помог тридцатилетней женщине с образованием восемь классов, вот чудесно! А я?! У меня, между прочим, кран на кухне течет, теликдохнет, у меня диван проломился, мне за интернет платить нечем... Долгов за квартиру за полгода! Я, между прочим, в отличие от жены Юрика, на помаду и колготки сама себе зарабатываю... Я моря лет восемь не видела... А мне замуж надо... – теплые, подкрашенные черным, слезы поползли по щекам. Зачем?! Зачем я так? У нее ребенок, а мне просто жить надо!

Письмо

Погост лесной и тихий. Не кладбище, а именно – погост. На кладбище – кладут и зарывают-забывают, а на погосте – гостят. Отсыпаются перед новым взлетом. Кладбище – это склад мертвых ненужных тел, погост – гостиная, куда приходят живые навещать мертвых. Вот и я пришла к тебе в гости, Ларочка. Как тебе?! Не дают на узкую впалую неразвитую грудь мраморные плиты и тонны песка?! А слепые кольчатые черви не тревожат?

Извини, дорогая, что долго не навещала... Долго сижу молча. Вот, видишь, курить так и не бросила... Представляешь, а я подросла почти

на два сантиметра. В двадцать-то два года! Врач сказал, что это возможное последствие после сотрясения, наверное, какой-нибудь центр в мозгу, отвечающий за рост, разбудила. За полтора месяца на два сантиметра. Ничего, мы это остановить можем, говорит врач. Да вы что, отвечаю, здорово даже, я всегда мечтала высокой быть. Ничего, я еще на подиум выйду! Врач посмотрел на меня, лоб отер, сказал так назидательно: девушка, милая, вам с вашей психикой и здоровьем рожать поскорее надо, мало ли, как процесс пойдет.

– Какой процесс? – удивляюсь я с высоты своего роста.

– А то, что приступы участились, вчера вы вены резали, сегодня голову разбили, завтра задохнуться можете. У вас мозг – как у боксера.

– Это как? – спрашиваю.

– По голове себя часто бьете, вот как! – И снимок в журнале показывает – там мозги в какой-то пленке, а пленка эта как решето.

– А-а-а, это, – вздыхаю я облегченно. – Так я же боли почти не чувствую. Потом тошнехонько, конечно. Но дня два-три отлеживаюсь, голову подушками обложив, и все стихи сочиняю. Хотите, прочту? Вам понравится. Всем нравится. А решето – потому, что в голове ветер...

– Нет, не надо, – мотает головой доктор. – Давайте-ка, попейте таблеточки. Раз в неделю ко мне на беседу. А как встретите хорошего парня, так мигом... И никаких абортот. Другую на вашем месте я бы всячески предостерегал от беременности, а вам настоятельно рекомендую. У вас как раз тот случай, что с появлением заботы о другом у вас и появится инстинкт самосохранения, ответственность... Вам ребенка надо рожать, а не стихи писать. Стихи у нас все пишут...

– Так я же сдохну, доктор! – вскакиваю я. – О чем вы?! У меня же дурная кровь. Дур-на-я кровь! – два смазанных удара в виски, но тут мне заламывают руки, куда-то тащат, тычут в вены. – Вот хорошо, спасибо вам. Спасибо...

Все растворится в вечной мгле,
Ты будешь гнить в земле, в земле...

– шепчу я в полузабытии.

Так о чем я это, Ларочка? У тебя на могиле – дерево. Лиственница. Это я попросила ее не спиливать. Твой гробик качается в ее корнях как колыбель. Как хрустальный гроб спящей красавицы. Ведь ты и есть спящая красавица. У меня все хорошо. Мой... ну не муж пока, не жених, скажем – просто друг... Он замечательный. Все смеялся, когда я после болезни с постели нормально встала, распрямилась во весь рост, а он и засмеялся – теперь мне каблуки носить придется... Ему совершенно наплевать на то, что я пишу. Абсолютно. Тотально... Твоего видела по телевизору. Он теперь депутат Государственной думы. Променил Майами на Москву. Вот убогий! Олигарх, блин... А мой мне и говорит, вот не терялась бы тогда, не фыркала по поводу толстого пуза и волосатой груди, была бы теперь госпожой-олигаршей. И ты бы была жива, Ларочка. И простила бы мне все. А я бы все равно с ним развелась, отсудила бы сто миллионов и сделала операцию. И ты бы за меня замуж вышла. ...

...А у меня дома тетрадка твоя сохранилась. И блузка шелковая с меховой аппликацией. И фотографий куча. Вот... Ну, как там тебе в земле, в земле... Интересно, ночью мертвые тоже спят? Пойду я, а то скоро стемнеет. Давай, не скучай в земле, в земле...

Лев ГРИГОРЯН

Родился в 1980 году в Москве. Окончил Российский государственный гуманитарный университет. Работал переводчиком с итальянского языка. В настоящее время – сотрудник Института научной информации (ВИНИТИ) РАН. Живет в Москве.

МИНУТНАЯ ВСТРЕЧА

– Простите? – голос её звучал холодно.

– Марина! Сколько лет... – широкая улыбка расплзлась по его лицу.

Кругом сновали прохожие, была обычная вечерняя толчея, кто-то задел его плечом, но он даже не обернулся. Он смотрел только на неё.

Она чуть нахмурила брови, словно пытаясь вспомнить. Затем покачала головой:

– Вы меня с кем-то спутали.

Он опешил. Но ошибки быть не могло. Всё те же серые лучистые глаза, каштановые волосы... Та же манера прикусывать краешек верхней губы. Это была она.

– Маринка! Это же я, твой Марк. Неужели забыла?

Она смотрела на него ровным взглядом. Ни проблеска узнавания, ни намёка на былые чувства. А уж чувства-то бушевали о-го-го – в своё время! Такое не скоро забудешь.

– Боюсь, вы обознались, – ответила она всё так же бесстрастно. – Я впервые вас вижу.

Он разглядел тонкую полоску светлой кожи на её переносице. Глупая случайность, так уж вышло. Сколько раз он потом целовал её в этот шрамик, тогда, давно, в добрые старые времена. Да и позже, когда ему уже это было не нужно.

– Марин, ты что, шутишь?

– Молодой человек, знайте меру. Мы с вами незнакомы, и я не Марина. Дайте пройти.

Она решительно повернулась, но он схватил её за рукав.

– погоди! А как же... Ведь мы... Я о тебе вспоминал. Лунная дорожка в лагуне? Сад камней? Помнишь?

Происходящее не укладывалось у него в голове. Марина, та самая Марина, что когда-то смотрела на него умоляющим взором, та, что ловила каждое его слово, плакала, упрашивая о встрече, ещё одной, совсем-совсем последней встрече – теперь стояла перед ним как чужая, совсем посторонняя женщина.

Конечно, прошло десять лет. Она, должно быть, утешилась, нашла себе кого-нибудь под стать, такого же нытика. Все они в конце концов утешаются. Юность длится недолго. Нельзя вечно жить на разрыв, балансируя на краю бездны. Рано или поздно включается голова, и всем им становится ясно: никакой бездны нет. Есть лишь разные тропы – лабиринт переплетённых дорожек. Не повезло на одной, что ж, сверни на другую, надоест – поверни на третью. Как у Борхеса, сад каких-то там тропок. Всё просто и всё понятно. Но ведь память-то остаётся?

– Уберите руку сейчас же. Не то я позову полицию.

– Ну, как знаешь, – ладонь его разжалась.

Не оборачиваясь, она пошла прочь, а он всё глядел ей вслед. Давно уж затих цокот её каблучков по асфальту, давно она скрылась из виду, а он всё ещё стоял, растерянный, оглушённый.

Потом встряхнулся, помотал головой, силясь прогнать наваждение.

– А хороша, чертовка! – проворчал он с усмешкой и, засунув руки в карманы, продолжил прерванный путь.

Ну её к дьяволу. Не хватало из-за неё опоздать на деловой ужин. Фирма и так еле держится на плаву. Вся надежда на Егорову доброту. Как-никак, старый приятель, хоть и конкурентом теперь заделался. Ну а эта... Пусть катится далеко. Прав он был десять лет назад. А теперь вот свалил дурака. Захотел стать добрее, проявить человечность. Сентиментальность, что ли, прорезалась на четвёртом десятке? Тьфу.

* * *

Переговоры прошли успешно. Условия, выдвинутые Егором, были жёсткими, но в пределах разумного. С французами придётся распрощаться, едва истечёт контракт. Божоле и шабли отпадают полностью, все надежды отныне только на испанских поставщиков. Что ж. Пусть так. Он опасался худшего и теперь с облегчением перевёл дух. Лопух всё-таки Егор. Продешевил.

Стены офиса, отделанные пластиком цвета морской волны, казалось, дышали спокойствием. Мысленно Марк в сотый раз похвалил себя за то, что не прислушался к советам дизайнеров. Вся эта их болтовня о современных стилях, креативных подходах и модных тенденциях – просто попытки набить себе цену.

Конечно, для ланчей и ужинов с бизнес-партнёрами офис не очень годился. Но рестораны Марк не любил, а в родных стенах всегда чувствовал себя увереннее. Конкуренты? Партнёры? Плевать на них всех. Пусть приспосабливаются!

Егор, откинувшись в вертящемся кресле, смотрел с улыбкой.

– Что, Марк? Перетрусил маленько? Напрасно. Ведь мы же полжизни знакомы. Не стал бы я тебя топить.

– Знаю, – он неспешно кивнул. – Сейчас кругом акулы. Но ты не из таких. Я всегда это знал.

Секретарша принесла кофе.

– Как сам-то? – спросил Егор, помешивая ложечкой сахар. – Не наскучила вольница?

– Да что там! – Марк молодецки расправил плечи. – Второй год никто не зудит над ухом. Тишь да гладь. Как ушла Вика – хоть человеком себя почувствовал. Вспомнил молодость.

– Гусь ты лапчатый, – беззлобно усмехнулся Егор. – Молодость! Как же...

– А что? – с шутливым вызовом хмыкнул Марк. – Я ещё хоть куда!

В глубине души он и вправду считал себя хоть куда, несмотря ни на явственное брюшко, ни на расплывшуюся всё шире плешь. Глупо мерить молодость годами, а тем более килограммами. Молодость – состояние души, ну а душа ему досталась крепкая. Не болит и не ноет, не то что у некоторых.

– Знаешь, Егорушка, кого я сегодня встретил? – с неожиданной для себя откровенностью проговорил он.

– Ну?

– Маринку! Помнишь такую?

– Погоди... Это которая тебе проходу не давала ещё в ту пору?

– Она самая. Моталась за мной по всей стране. Еле отбился.

Егор покачал головой – не то с ностальгией, не то с иронией:

– Любовь... великое чувство.

Марк поморщился:

– Хороша любовь – под ногами путаться, жизнь людям отравлять. Ясно же: мешаешь – уйди, прошло твоё время. Нет, она всё чего-то хотела, истерики закатывала, клятвы эти дурацкие. Как вспомню, до сих пор передёргивает.

Он залпом допил кофе.

– И что Маринка? – любопытствовал Егор. – Снова в объятия просится? Небось, уж в страшилище превратилась?

– Представь себе, нет, – сказал Марк, помедлив. – Не изменилась почти. Будто ей по-прежнему двадцать. Красотка! Жаль только, не в моём вкусе. Что-то всегда в ней было отталкивающее... Но странно другое. Она меня не признала!

– В смысле?

– Говорит: пропустите, вы обознались. Со мной – на «вы», представляешь? Я говорю: ты чего? А она так небрежно: вы вообще кто, знать вас не знаю. И смотрит на меня равнодушно, как на выброшенный окурок.

Егор озадаченно потёр переносицу.

– Может, и впрямь ты её с кем-то спутал? С младшей сестрой, например.

– Да не было у неё никаких сестёр, ни старших, ни младших. Что ты думаешь, я Маринку бы не узнал? После того, как она мне всю душу проела? Она это, тебе говорю. Вот только глаза у неё изменились. Раньше в них что-то собачье было, преданность эта поганая. Дескать, бей меня, гони меня, а я всё равно твоя. Терпеть таких не могу. А теперь у неё взгляд другой. Не знаю даже, как описать. Интересная она стала, вот что.

– Ну-ну, – Егор поднялся из-за стола. – Может, это ты сам изменился? Перестал на людей как на собак смотреть?

Марк пропустил колкость мимо ушей.

– Понимаешь, обидно, Егорушка. Я ж ей обрадовался, в кои-то веки. Даже мысль мелькнула пойти на попятную, позвать в ресторан там, то-сё, поговорить по-нормальному. Думал, будет на седьмом небе от счастья. А она...

– Ты извини, конечно, – сказал Егор резко. – Но и сам ты давно уж не Аполлон, да и ей вся эта ваша свара дорого обошлась. Два года ходила как в воду опущенная.

– Ты откуда знаешь? – изумился Марк. – Ты что, с ней общался? После того, как мы?..

– Говорю – значит, знаю, – пресёк расспросы Егор. – Остальное не твоё дело. А чего ты, собственно, взвился? Или сам теперь за ней бегать будешь?

Марка аж передёрнуло:

– Ещё чего, ерунда какая! Чтобы я, да за ней... Пф-ф! Просто встреча меня из колеи малость выбила. Завтра уж и думать забуду. Сказанул тоже: бегать! Мне того раза – вот так хватило!

Он провёл ребром ладони по горлу.

– Ну вот и славно, – подытожил Егор. – А вообще мой тебе совет: к окулисту сходи. Вдруг и впрямь обознался. Бывают люди похожие, факт. Чарли Чаплин на конкурсе собственных двойников занял лишь третье место.

* * *

Она прислонилась к двери спиной. Замерла. Постояла, не зажигая света. Саша, наверное, дома.

Она никак не могла отдышаться. В мыслях был полный сумбур. Ноги гудели от быстрой ходьбы.

– Марин, ты? – Сашин голос, добрый, уютный.

Она не ответила.

«Что делать? Что же делать?» – тревожно билось в мозгу.

Послышались шаги. Саша вышел в прихожую и с удивлением остановился.

– Что случилось?

– Я... – у неё не было сил продолжать.

– Марина?

Она шагнула к нему, прильнула к его плечу. Слезы сами собой потекли по щекам.

– Да что, чёрт возьми...

Она прикрыла ему рот ладошкой.

Наконец, совладав с собой, прошептала:

– Мы должны переехать...

Объяснений больше не требовалось.

– Опять?! – защитник разом обратился в разъярённого зверя.

Она отступила на шаг.

– Иначе нельзя.

– Ты с ума сошла? – сдерживая гнев, спросил Саша. – Срываться с места, опять в другой город, начинать всё с начала? Из-за того, что тебе примерещился этот урод?! Ты думаешь, о чём говоришь?

– На этот раз это точно был он, – сказала Марина негромко.

Она облокотилась на вешалку, скрытую куртками и пальто.

– В Томске ты то же самое говорила. Помнишь? Я потом навёл справки. Он в тот день был вообще за границей. Бизнесмен хренов!

– Это точно был он, – повторила Марина. – Он со мной говорил. На проспекте Победы.

Саша умолк.

– Говорил: «Я твой Марк, детка, помнишь меня?»... и всё такое. Я... я думала, что на месте уму...

– Послушай, – Саша мягко тронул её за плечо. Теперь он тоже говорил тихо. – Марина, пусть это он. Что с того? Мы должны всё сломать? Уничтожить, бежать на край света? Оттого лишь, что этот подонек вдруг попался тебе на глаза? Да, может, он здесь проездом! Завтра

будет за тысячу вёрст! И вообще, он спустя пять минут небось забыл напрочь о вашей встрече!

Марина дёрнулась, как от пощёчины.

– Ты не понимаешь, – сказала она. – Я так не смогу. Мне здесь тесно...

– Да? – ярость снова захлестнула Сашу. – А ты забыла, как трудно нам пришлось после Томска? Чего стоило здесь обустроиться? Жильё, работа, соседи – всё с нуля! И что дальше? Мы исчезнем, словно преступники, затаимся в какой-нибудь поганой дыре и всю жизнь будем в страхе озираясь по сторонам – вдруг опять судьба занесёт мерзавца в наши края? Тесно тебе? А на планете Земля тебе с ним не тесно?

Саша многое мог добавить. Вспомнились прежние годы. Как ему, квалифицированному проектировщику, приходилось хвататься за любую подёнщину. Ночным сторожем, штукатуром, мойщиком окон... Как Марина, талантливый репетитор, в одночасье осталась без учеников. И скольких трудов стоило уладить дело с возмущёнными родителями брошенных школьников...

Марина опустила голову.

– Я всё поняла, – сказала она. – Ты можешь остаться. Я уеду, ты оставайся.

– Брось, – сказал Саша. – Пойми. Так нельзя. Нельзя всё время жить прошлым. Пора подвести черту. Дело не в том, что он встретился тебе на улице. А в том, что ты сама таскаешь его за собой повсюду – в сердце, и в голове, и в шкатулке своей треклятой, которую нельзя открывать. Хватит, Марин. Пора отпустить его. И тогда он отпустит тебя. Достаточно он отравлял наше счастье!

Марина посмотрела ему в глаза. Усмехнулась:

– Ты и вправду считаешь, что мы были счастливы?

Саша осёкся. Лицо его пошло красными пятнами.

– Но... – начал он.

– Я тебя поняла, – повторила Марина спокойно.

– Хочешь, я его просто убью? – он сжал кулаки. – Убью, раздавлю, как последнюю гадину...

– И сядешь на двадцать лет? – Марина покачала головой. – Он того не стоит. И я тоже.

– Я тебя люблю, – сказал Саша.

Слова его прозвучали невыразительно, повисли в воздухе, словно дым от докуренной сигареты.

– Успокойся, – сказала Марина бесцветно. – Мы не будем переезжать. Прости меня. Я переволновалась. Скоро уже всё пройдёт.

Саша нежно погладил её по волосам.

* * *

Ночью Саша проснулся от странного чувства. В первое мгновение он даже не понял, что не так. Потом осознал: тишина. Тишина была необычной – гнетущей, враждебной, чужой.

Саша рывком сел на постели. Марины рядом не было.

– Господи!

Он вскочил, зажжёт свет. Бросился на кухню, в ванную... Дом был пуст.

На виске застучала жилка.

– Сбежала? Но куда? Среди ночи?

Он представления не имел, где она могла бы искать прибежища. Ни родных, ни подруг... Никого!

Трясущейся рукой он нашарил мобильник, нажал вызов... Сигнал зазвучал с соседней тумбочки. Саша дал отбой.

Что делать? Обратиться в полицию? Но примут ли там заявление? В любом случае, потребуются приметы. В чём она ушла?

Он лихорадочно забегал по квартире. Одежда... Вчерашнее платье, сумочка... Ах, чёрт!

У Саши упало сердце. Исчезла шкатулка. Та самая шкатулка резного дуба – единственная вещь, которую Марина таскала с собой при всех переездах. Шкатулка, которую она никогда при Саше не открывала.

За все эти годы он так и не выяснил, что там хранится внутри. Старые бумажные письма? Подаренные подонком серьги? Какой-нибудь засушенный в память о сдохшей любви цветок? Лучше просто не знать.

Саша ненавидел эту шкатулку. Но её исчезновение доконало его окончательно.

Он тяжело опустился на кровать, сжал руками колени и едва не зарычал от бессильной ярости.

В прихожей что-то щёлкнуло.

Сашу словно пружиной подбросило.

В коридоре он увидел Марину. Глаза её светились шальным огнём. Ладони были испачканы сажей. Чёрные следы были и на платье. Пахло гарью.

– Где ты была? – хрипло спросил Саша и не узнал свой голос.

– На пустыре, – сказала Марина. А потом, бросив на Сашу безумно-восторженный взгляд, протянула обе ладони: – Сожгла своё прошлое! Радуйся!

Он ушам не поверил.

А Марина, скинув пальто прямо на пол, засмеялась легко и заливисто.

– Ты ведь... этого хотел? – простионала она сквозь смех. – Всё! Свобода! Не надо бежать! Начинается новая жизнь!

Захлёбываясь смехом, она бросилась к Саше, обняла его крепко, как никогда прежде, и приникла губами к его губам.

Что было дальше – он мог вспомнить с трудом. Память сохранила лишь обрывочные картины, словно взбесившийся фотограф раскромсал ножницами пачку цветных фотоснимков. Летящая во все стороны одежда. Запрокинутая зыбь бесстыжего зеркала. Лицо Марины близко-близко, шрамик на переносице, серые искрящиеся глаза...

Новая картина всплывает рывком: они оба, завернувшись почему-то в махровые полотенца, сидят на полу в гостиной и пьют шампанское из высоких бокалов.

И ещё один кадр: Марина бросает бокал в окно, за которым чернеет бездонная ночь. Звон стекла, прохладное дуновение ветра.

– На счастье! – смеётся Марина. – С новым счастьем! Первый день новой жизни... Первая ночь!

– Марина! – зовёт её он.

– С нуля... начнём, вместе... Ребёнка усыновим наконец... – бессвязно шепчет она. – Всё у нас с тобой будет...

Саша отстраняется мягко. Молчит. «Ребёнка»... Вот оно что...

– Ведь правда? – Марина улыбается, глядит ему прямо в глаза.

– Конечно, – слова даются Саше с трудом. – Мы так давно этого хотели.

Надо добавить ещё что-то, чувствует он. А впрочем, зачем?..

Марина зябко поводит плечами. Глаза её закрываются, голова бес- сильно клонится на грудь.

– Марина? – Саша бережно берёт её на руки, переносит на кровать, укрывает тёплым одеялом.

– Ты хотел... назвать Димой, – шепчет она, засыпая.

Он целует её в щёку. На губах горчит сажа.

* * *

Больше он Марину не видел.

Наутро постель оказалась пуста. Сквозь разбитое стекло дул свежий ветер, пронизывая холодом до костей. Пол был усыпан стеклянной крошкой.

Одежда из коридора исчезла. Ни следов, ни прощальной записки Саша так и не обнаружил. Полиция тоже ничего не нашла. Лейтенант Гавриленко хмыкнул: «Дело житейское» и ушёл писать рапорт. Вот и весь розыск.

Только на пустыре за домом, среди палой листвы, Саше попала под ноги обгорелая деревяшка: всё, что осталось от треклятой шкатулки.

Опустившись на корточки, Саша тщательно осмотрел находку. Под обугленной деревяшкой обнаружилась горсть серого пепла и потускневшая золочёная фигурка: ящерица, вцепившаяся зубами в собственный хвост. По спине ящерки узорчатой вязью шла гравировка. Саша с трудом различил крошечные буквы: «Марина и Марк – как волна и луна, вовеки любовь их сердцам суждена!».

Позолота на хвосте ящерки слезла, обнажив тусклую бурую медь. Дешёвка. Вульгарная бессмысленная дешёвка.

Саша плюнул себе под ноги. Ящерицу опустил в карман куртки, а труху развеял по ветру.

* * *

Двери детдома захлопнулись глухо. Раздвижные тяжёлые двери. (Раритет, не к месту подумалось Саше.) На дворе была осень.

Третья осень. И жёлтые листья. И ветер, как той мёрзлой ночью.

Саша поёжился и крепче сжал маленькую ладошку в своей руке. Малыш, запрокинув голову в вязаной шапке, вопросительно посмотрел на него.

Саша виновато улыбнулся:

– Не бойся, Дим. Теперь всё у нас будет хорошо.

– Папа... – ребёнок запнулся. – А ты в большом доме живёшь? Высоко?

– Высоко, – кивнул Саша. – Увидишь. Теперь это наш с тобой дом. Общий.

– А мама там есть? – недоверчиво спросил малыш.

Саша вдохнул поглубже. Посмотрел в серо-синее небо, расчерченное перьями облаков. Узкое тусклое облако вытянулось, стало похоже на ящерицу. Потом разделилось надвое, словно ящерица отбросила хвост.

– Нет, – сказал Саша сыну. – Нет. Но однажды...

Олег ГРИГОРАШ

Родился в 1967 году в городе Печора. Окончил Сыктывкарский государственный университет. Работал вальщиком леса, журналистом, редактором газеты. Руководитель пресс-службы АО «АГД даймондс», ведущего промышленную разработку месторождения алмазов им. В. Гриба. Автор книг «Крестовый поход в президенты» (2008), «Покорители недр» (2016) поэтического сборника «Котлы» (2012). Печатался в литературном альманахе «Снегири» (2016, Мурманск). Живёт в Архангельске.

НЫНЕШНИЙ МИР СОСТОИТ ИЗ НУЛЕЙ...

Грузовик

грузовик под дождём появляется словно Гренландия
время шторма, расстрельная метеосводка
а в кабине светло, трещит радио
аккуратно работают дворников щётки

договариваюсь о цене
ехать с вечера и до утра
трасса вязкая как цемент
над землёю туманный трал

поначалу водитель глядит недоверчиво
курит Winston, ведёт затяжной монолог
о разбитых дорогах, оставленных женщинах
(на ключах от машины качается всадник-брелок)

водитель материт гаишников и власти
крутит ручку приёмника, пытаюсь найти шансон
пьёт цикорий без сахара из стаканчика пластикового
в сотый раз отмечает – пора поменять колесо

трасса вертит зигзаги, пляшет в разные стороны
грузовик превращается в огненный крейсер
водитель орёт через рокот мотора
запевает жестокую честную песню

он поёт, что смерти бояться не надо
особенно если умирать за Родину или за правду
(хлещет град из космического автомата
по кабине стучат ледяные снаряды)

припев уходит вдаль метеоритом
взгляд водителя становится пронзительным и тяжёлым
частоколом ломается ритм
на фалангах водительских рук имена Илия и Иона

так мы катим сквозь ветер в крошечной ночи
два луча одинокие полосы чертят
замолкает водитель и снова кричит
помни, парень – не надо бояться смерти.

Финансисты

самыми креативными людьми,
с которыми я пересекался в нулевые,
были финансисты.

два совершенно схожих типажа, А. С. и С. А.,
в глазах у каждого
едва заметно тлеет сумасшествие.

в просторном кабинете у С. А.
полифонировал ультрамарином
большой китайский несуразный глобус.

в подчёркнуто измятом пиджаке,
С. А. небрежно сыпал пепел мимо пепельниц,
пил дорогой чрезвычайно горький кофе.

его команду составляли амбициозные краснодипломники,
чьи полированные головы
напоминали о болванах кегельбана.

на столе у С. А. по-птичьи топорщились ворохи схем,
испещрённых крестами и стрелами,
а монитор мерцал, как люк бомбардировщика.

С. А. сжёг кипу фантастических сюжетов,
часть из которых удалось реализовать.
потом СИЗО, условка, бегство за кордон.

А. С., почти неотличимый от ядра,
стремительно катил по коридорам,
смотрел на мир с прищуром, иронично.

поклонник стиля лофт, перфекционист,
в стерильном кабинете-бункере он не терпел излишеств,
за исключением остро отточенных карандашей.

изредка он запирался, включал музыку боя железных шаров,
шелестел фольгой коллекционных виски и сигар,
самозабвенно играл в одиночестве в го.

захватчик чужих территорий, кот-оборотень,
А. С. протащил в корпорацию кучу проектов,
абсолютно мёртвых, нерабочих, по его словам, «проектов будущего».

на повышение А. С. ушёл по чёрной лестнице,
сел в чёрную машину и пропал,
оставив многомиллионные издержки.

эти ребята, А. С. и С. А., видели дальше, чем все остальные,
знали больше,
думали быстрее.

нынешний мир состоит из нулей,
образующих деньги,
виртуальные деньги, реальный мир.

время футуристов кончилось, настало время финансистов,
высокотехнологичных квадрокоптеров,
оставляющих после себя тихий треск кассовых аппаратов.

Убойный цех

В убойном цехе мясокомбината
Работало много народа –

Подвижные громкоголосые
Женщины в синих халатах;

Усатый шофёр автокара,
Спокойный и тихий;

Улыбчивый слесарь Серёга,
Приземисто-цепкий, как краб;

Схожий с индейцем украинец Рома,
Родившийся в Уругвае,
Выросший в Аргентине,
Приехавший в СССР.

Но самым основным мне представлялся
Боец, фамилии которого не помню,
Неразговорчивый, единственный из всех
Ходивший в чёрной, а не в синей робе
(мне было восемнадцать, и казалось,
человек скрывает некую большую тайну).

Он нёс кирпич лица
Невозмутимо, властно, хладнокровно.
Движенья вышколены до автоматизма,
Он задавал единый ритм процессу,
Всегда немой, был малой частью крика
(Убойный цех не замолкал ни на секунду).

С протяжным шумом запускается конвейер,
Грохочет лента,
Поднимается задвижка.
Боец стоит на возвышении и глушит

Электростеком розовых свиней,
Вбивает крючья в окровавленные ноги,
Вздывает туши вверх железной цепью.

Огромный нож вонзается в грудину,
Острее бритвы, вспарывает шею.
Бьёт сквозь решётки дымный кровосток
(Сердца ещё живые, кровь качают).

Хруст позвонков, все головы отдельно.
Вода из шланга мясо оmyвает.
Цепь опускает туши в кипяток,
Бурлящий в ярко-жёлтых чанах.

Визг скребмашины, лезут клочья шерсти.
Хлопок огня, мгновенная опалка.
Стальные клювы, треск горячих шкур,
Ползущих кверху сантиметр за сантиметром.

В прожилках синих мраморная плоть
Готова к операции нутровки.
Блеск стали, развороченное брюхо.
Нутровщики ныряют в жерло туши.
Кишки, желудок, печень льют потоком,
Текут по ленте на переработку.

Тем временем снаружи сотрясают
Большой загон вновь прибывшие жертвы –
Быки пытаются подмять коров,
Олени хлопают мохнатыми глазами,
Свиньи хрипят и роются в навозе,
А лошади – те плачут, видел сам
(Когда они вставали на дыбы,
Над комбинатом словно реял Вагнер).

Чёрный боец здесь отработал вечность,
На лошадей смотрел без интереса,
Ведь даже самые лихие не прорвутся,
Загонщики опустят их на землю.

Так и люди.
Поднимется задвижка, превратятся
В притихших потерявшихся детей,
В старух, блестящих желчными камнями,
В окаменевших беспогонных офицеров.

Ударит тьма,
Взовьются кверху цепи,
Чёрный боец всё сделает как надо,
Потащит обезглавленных на выход,
Где снег такой, что хочется зажмурить
Глаза, которых больше нет.
Смотреть.

Дышать.
Бежать по снегу.
Падать.
Безостановочно
Лететь из тьмы на свет.

Анархия

В доме напротив живёт неприметный мужик,
Из тех, про кого говорят «примелькался».
В вязаной пидорке, надвинутой на глаза,
В задрипанной куртке всегда нараспашку,
Ежевечерне возвращается бухой,
Небрежно загребая снег ботинком.
Высокий, возможно из бывших спортсменов,
Он разговаривает с бабушками у подъезда
Глухим низким голосом, кашляет,
Курит и машет руками.

Пожалуй, мы ровесники. Наверняка он местный,
Вероятно, помнит старый двор,
В котором не было машин,
А было много солнца и деревьев.
Теперь он лишний, пьёт плохое пойло, и лучше
Не доставать его вопросами,
Катиться мимо. Так я думал,
Пока однажды не случился ливень.
Я занырнул под тополь и увидел,
Как этот парень шествует по лужам.

Весь город осаждён потоком молний,
Сжав зубы, закрыв окна, вымокает.
На Троицком проспекте мой сосед –
Единственный прохожий. Счастлив,
Он улыбается и шпарит вдаль.
Словно пират, ступающий на берег,
Отставший от своих бомбометателей,
Укрывший на груди чёрное знамя,
Подросток, не сумевший повзрослеть,
Мужчина, что умрёт быстрее прочих,
В дурацкой куртке уходящий в дождь.

Жизнь чудесна

Не существует границы
Между искусством и всем остальным,
Единственное верное различие –
Деление на живое и на мёртвое.

Бесчисленные чёрные квадраты,
Манифесты от энди уорхолов,
Драгоценные игрушки галеристов –
Неодушевлённые товары.

Жизнь рождается, растёт,
Умирает и преображается,
Как весенняя вода
Или пожар на полотне.

Жизнь вкусна,
Как кумачовые арбузы,
Блики солнца,
Копоть от костра.

Жизнь честна,
Она не терпит философии,
Как картина Репина
О запорожцах.

Вахлаки, изгнанники,
Бандиты, воины – хохочут,
Что им мир, верховный суд потомков,
Полумесяцы и ятаганы.

Сверху небо,
Снизу перегной,
Жизнь неуловима,
Словно сизый дым от люльки.

Крест из камня,
Вольный ветер, чёрный космос –
Жизнь чудесна и неумолима,
А вы говорите «искусство».

К Родине обращаются, разжимая ладони

К Родине обращаются, разжимая ладони,
На которых цветные осколки с кровью.
К Родине обращаются, когда долго идут по дороге,
Бесконечной, ночной и неровной, но с огнями на горизонте.
К Родине обращаются, читая запретные книги,
Ночью, под одеялом, с отцовским фонариком.
К Родине обращаются, когда не хватает чего-то,
Времени или молчания, снега или событий.
К Родине обращаются, сбивая дыхание,
Когда бегут, встают, а в водостоках с крыши – трубы ангелов.
К Родине обращаются, добывая последнюю сигарету,
Когда поздно мечтать, просто очень жаль маму.
К Родине обращаются, целуя детей,
Хороня мертвецов, влюбляясь и идя под пули.
К Родине обращаются, превращаясь в траву и деревья,
Когда сами становятся Родиной.

Максим ЗАМШЕВ

Поэт, прозаик, критик. Родился в 1972 году в Москве. После окончания средней школы служил в Вооруженных силах СССР. Затем окончил музыкальное училище им. Гнесиных и Литературный институт им. А.М. Горького.

Автор десяти поэтических книг и четырех книг прозы, многочисленных публикаций в разных жанрах в России и за рубежом. лауреат литературных премий им. Николая Рубцова, им. Николая Гумилева, им. Дм. Кедрина, им. Александра Грибоедова. Награжден медалями «Защитник Отечества», «За просветительство и благотворительность», медалью Суворова. Произведения переведены на 15 мировых языков. Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Член Наблюдательного совета литературной премии «Лицей» для молодых писателей и поэтов.

Главный редактор «Литературной газеты», главный редактор журнала «Российский колокол» Живет в Москве.

ПРОШЛОГО ПЕЧАТЬ МНЕ СРЫВАТЬ НЕ СТРАШНО

* * *

В такие морозы, в усадьбе,
тоску надоело копить
и знать, что к соседу на свадьбу
тебя не рискнут пригласить,
поскольку слывешь дебоширом
и часто бываешь не трезв.
В такие морозы полмира
отдашь за камин и шартрез.
в такие морозы от бога
никак уж не спрячешь лица,
в такие морозы дорога
никак не дойдет до конца.
В России легко затеряться,
здесь всякий ничтожен и мал,
но все-таки хочется, братцы,
чтоб кто-то тебя отыскал.
Но мысли твои не согреют,
и добрым не станет зоил.
Не жалко себя, жалко время.
И тех, кто меня не любил.

Неаполитано

1

Италия тонула во мне как «Титаник»
С песней «Феличита», под которую танцевали
Мои одноклассники на пионерском расстоянии;
С крутым сериалом про комиссара Каттани,
Которого воскрешали и убивали
Несколько раз. И ещё с Мастроянни,
И с футболом, где правил король Диего
Армандо... И вот я в Неаполе,
Отпускающем корабли, как солдат война.
Здесь зимой почти не бывает снега,
Только в этом году им глаза закапали
Бесконечным соборам, чей изогнут ряд.
Я смотрю с холма, мне бы стать спасателем,
Чтоб из памяти «Титаник» вернуть назад...
Пусть висит в небесах на обрывках арий.
Никого не смей, не зовись писателем,
И если почувствуешь чей-то взгляд,
Не надейся – это не Януарий.

2

Кафе «Гамбринус». Счастья слишком много,
чтоб поместиться в счёт.
Здесь был не только Горький, но и Гоголь
И кто-нибудь ещё.
От моря пахнет сыростью и морем
Таким, что не вздохнёшь.
И как же мне смириться с этим горем,
Что торжествует ложь.
Вот-вот прольются трепетные капли
На постаревший нимб.
Сплошной туман скрывает остров Капри
И всё, что было с ним.
Здесь мотоцикл с автомобилем в паре
Одной толпой рулит.
И кажется теперь, что карбонарий
Десерта новый вид.
Не так уж сложно взять и стать счастливым,
Когда не суждено.
И даже хорошо, что дно залива,
Без лишних смыслов дно.

3

Итальянский язык изучал я сначала по нотам,
Где оттенки и темпы привыкли друг друга менять.
Я приехал в Италию, и проникает по новым,
По незримым путям золотое бельканто в меня.
Я живу в этом мареве гласных и звонких согласных,
Что становятся громче, когда упираются в порт.

О, Италия, как же ты любишь с тобой не согласных,
 Этой странной любовью здесь камешек всякий истёрт.
 Не печалься, Италия, твой сапожок пригодится
 Для пришедших из моря с лихим вероломством сюда,
 И тогда ты уж топнешь ногой, и вспыхнешь как царица,
 И очами блеснёшь, провожая на гибель суда.
 Если север и юг по ночам приближаются к югу,
 Значит, карту составил географ, не будучи трезв.
 Значит, он полагал невозможным движенье по кругу,
 Если прямо идти, если молод, тщеславен и резв.
 А Везувий да Этна теперь как супруги в разводе,
 Потихоньку дымят, потихоньку бурлят о своём,
 И молва растворяется в шумном прекрасном народе,
 Что вулканы когда-то в согласии жили вдвоём.

* * *

Над Василием Блаженным
 Небо к ночи цвет меняет.
 Отблеск нежности мгновенной,
 Для меня ли, для меня ли?
 Быль важнее небылицы,
 Новость всех важнее мире.
 Вспоминаешь ли ты лица
 Тех, с кем говоришь в эфире?
 Эхо корчится от смеха,
 Жизнь азартна словно ралли,
 Я уж с ярмарки уехал.
 Обернуться не пора ли?

* * *

Смотри на проходящий мимо
 Случайный поезд и мечтай,
 что жизнь твоя неповторима.
 Потом спроси горячий чай,
 И проводница улыбнётся,
 как будто ты ей брат родной.
 А за окном Россия вьётся,
 Твоя Россия, боже мой.
 От экзистенции и скуки
 Лекарства не изобрели.
 Тоска то схватит, то отпустит,
 Смотри её не разозли!
 А разозлишь, — так, значит, надо.
 Тебе с ней мыкаться всегда.
 Все поезда пришли из ада?
 Все поезда, все поезда.

* * *

Заводи винил
 Песенной стихии.
 Некого винить
 В том, что мы такие.

Прошлого печать
Мне срывать не страшно.
Постараюсь встать
Вровень с днём вчерашним.
А потом слегка
На носки подняться,
Чтоб издалека
начал мир меняться.
Вот всё ближе он...
Самой крепкой связью
Связан с ним мой сон,
что вернулся явью.
Лампочки накал
Потускнел немного.
Я не отобрал
Этот мир у Бога.
Песенный винил
Напрочь стёр иголку.
Из последних сил
Жить придётся долго.
Некого спросить –
Стал священник птицей.
Всем, кто хочет пить,
Надо дать напиться.

* * *

Так изменилось всё, что слово
Бежит упрямо от строки.
Его я загоняю снова,
И снова это не с руки.
Необратимо слов кочевье,
Ты им не пастырь, не пастух.
Когда беснуются деревья,
В них говорит древесный дух.
А ты подумай, где лубочный
Застывший город прячет суть.
Ведь подавился ты любовью
Так глубоко, что не вздохнуть.
Пустынной местности насельник,
Ты расшифруешь всякий звук.
Но путь всегда лежит на север.
Когда тебя влечёт на юг.
В карман не лезешь за словами
Поскольку слов давно уж нет.
Они спешат, они не с нами,
Несут наш страх. Несут наш свет.
Все разошлись по снам и койкам,
Теряли больше, жгли дотла.
Ты просто жди. Не беспокойся!
Земля кругла и ночь светла.

* * *

Мне кажется, что люстры видят нас,
 Особенно когда потухнут лампы.
 Все наши непотребства и таланты
 Не скрыть от их неразделённых глаз.
 Мне кажется, что люстры слышат нас,
 Когда мы замолкаем отрешённо,
 Не в силах разрешить вопрос решённый,
 Им жалко нас в сей безнадёжный час.
 Мне кажется, что люстры помнят нас,
 Особенно когда себя не помним,
 От внутренних своих сгораем молний
 И бьёмся головой в небес каркас.
 Мне кажется, что люстры чуют нас,
 Когда мы их разбили или сняли,
 Они о стороне другой медали
 Раздумывают всякий новый раз.
 Мне кажется, что люстры любят нас,
 Особенно когда мы зло и пьяно
 Не любим их отъявленно и рьяно,
 И гасим свет. И сновиденья в пляс
 Пускаем там, где нас по именам
 Никто не знает и не надо нам
 Ни объяснений, ни синиц в руке.
 Остался только крюк на потолке.
 Сюжетов нынче много на Руси!
 Под потолком попробуй повиси.

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА

Родилась в 1957 году в Балахне. Окончила Горьковский госуниверситет (истфил). Работала корреспондентом Горьковского телевидения, экспертом Нижегородского фонда культуры, редактором радиогазеты, в настоящее время – редактор издательства «Кварц». Автор поэтических и прозаических книг, художественно-биографического сборника «Лигия» (к 80-летию со дня рождения Лигии Лопуховой).

Член Союза писателей России с 1997 года. Лауреат областных литературных премий им. Б. Корнилова, им. А. Люкина, им. М. Горького. Живет в Нижнем Новгороде.

...И ПАМЯТЬ СВЕТЛА, КАК МЕТАЛЛА ИЗЛОМ

Деревья

Невыносимо убыванье дня,
Как листья, уносящего с собою
Частицы света, цвета и... меня,
со всей моей надеждой и любовью...

Невыносимо убыванье дней,
Опущенных в стремительную воду,
Отпущенных, как листья, на свободу
Из обедневшей памяти моей...

Деревьям ли оплакивать листву?
У них теперь иные есть заботы,
Им – жизнь лелеять на краю дремоты...
И эту жизнь я с ними проживу...

Накануне

Что-то будет этой ночью!
Городок притих во сне.
Что-то снежным многоточьем
Приближается извне –
Из лесного «ниоткуда»,
Из ночного «никогда»
Наплывает то ли чудо,
То ль неясная беда...
И вот-вот оно начнется...
И тревожно на душе...
И звезда – осколок солнца –
Проявляется уже...

Улица детства

Я вернусь. Я сюда возвращалась уже –
Уходила лыжнёй в затрамвайные дали...
И светилося окно на моем этаже,
И чужие следы на снегу проступали...
И дворовый сугроб, с кем в обнимку росли,
Вновь меня принимал в ледяные объятия.
И сосульки, не в силах коснуться земли,
Вслед рыдали, как все безутешные братья...

Что ж, во сне, как на грани зимы и весны,
Различить невозможно – где детство, где старость.
И бежать – так легко, и лететь до луны,
И не знать, что такое болезнь и усталость...
И как будто бы там, за родимым окном, –
те, кого я люблю, и кого потеряла...

Наяву всё не так: это больше не дом...
И уже невозможно вернуться к началу...

Я помню

Ночная дорога, отец за рулем...
Как мало, как много я помню о нем!
Чуть больше, чуть меньше, чем помнят друзья.
Но чувствую только, что он – это я,
Со всем генетическим кодом моим,
Запасом непрожитых лет или зим,
Слезам, что рано о нем пролились,
Прекрасным наследством по имени жизнь...
Что мне от него по судьбе перешло?
Характера мягкого свет и тепло,
Умелые руки, терпения шифр,
И радость познания космоса цифр,
Гармония песен с гитарой и без,
И глаз наших узких нерусский разрез...

Ночная дорога, отец за рулем...
И память светла, как металла излом.
Но света немного – лишь фары в ночи.
И просит отец – говори, не молчи!
Но я не любитель пространных речей,
Мне в радость дорога и думы о ней...
И немногословность моя – от него,
И чистая совесть – дороже всего.
Он денег с попутчицы нашей не взял,
Из аэропорта подвез на вокзал...
И долгая наша дорога домой
Все длится во сне, как той давней зимой...

И я открываю в потоке времен:
Их властью – пусть частью, но я – это он.
И снова молчу о дочерней любви,
Ведь он не услышит – зови не зови...
Но мы, по Шекспиру, сквозь радость и боль
Наших родителей любим, как соль.
И голосом крови во мне прозвучит
Сейчас, как тогда, – говори, не молчи!

Кошачьи провода

То пели ласково, то плакали,
Держали за руки и за ноги...
И кофе пробовали – сладко ли?
И уронили чашку в панике...
И у дверей засуетились: – Стоп!
Уходишь? Ну подумай, надо ли?
И даже шарф – не надевала чтоб –
Под вешалку сгребли-упрятали.
Пижаму сбросили с кровати вниз –
Кто первый взял, тому и праздновать.
Потом открыли шкаф и улеглись
Среди напханного разного...

Когда встречали – пели ласково,
И под ноги – дорожкой бархатной...
И сумки проверяли – даст чего? –
Пакеты теребили лапками...
Им ночью снились сны тревожные –
Вдруг убегу куда не вовремя?
Ведь утром завтракать положено,
А у меня не приготовлено...
И стерегли...
Еще вполглаза спать
Все отрабатывали навыки...
А чтобы не ушла одна опять –
Держали за ноги и за руки...

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Родилась в 1981 году в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина. В настоящее время работает школьным учителем русского языка и литературы, директором воскресной школы, где преподаёт церковнославянский язык, и инструктором по фитнесу.

Публиковалась в альманахе «Земляки» и журналах «Нижний Новгород», «Дети Ра», «Зеркало», «Слово/Word» и других. Лауреат конкурса «Мой город», проводимого журналом «Нижний Новгород», в номинации «Проза» с повестью «Почтальон» (2015). Дипломант XVII конкурса-фестиваля «Решетовские встречи» (2017).

Живет в Нижнем Новгороде.

НА ТОЙ СТОРОНЕ ЛЮДИ ХОДЯТ, КАК ОБЛАЦЫ В НЕБЕ...

Глаза

Не пеняй на зеркало, коли рожа крива.
Слова не бросай на ветер.
Дети могут слышать.
Могут расслышать дети.
Рассыплются на рассвете мысли твои, как горох.
Глаза закрываешь и видишь:
Бог.

Слово не воробей. Воробьи собираются в стаи.
Старость всегда на пороге.
Она лицо твоё знает.
Заснёшь в дремучем лесу,
Под головой коренья и мох.
Глаза открываешь и видишь:
Бог.

Глаза.
Небесная бирюза.
Лоза виноградная гнётся –
Поспели плоды –
Рви.
Кто спит, тот, конечно, проснётся.
Узри.

Крыши так сильно засыпаны снегом

1

Лезешь на крышу – поднимаешься в небо.
Небо белое, паче снега.
Бескрайняя белизна.
Убелюся, убелюся и я.
Снег идёт непрерывно три дня.
С головой меня засыпает.
Убелюся, убелюся и я.
Убелится больная земля.
Снег идёт непрерывно три дня.
Омыеши.

2

Вот идёт человек, над человеком идёт снег.
С головой его засыпает.
Очертания его исчезают.
Кажется, будто с человеком сливается снег,
Кажется, будто человеком становится снег.
Кажется, будто снегом становится человек.
Чело поднимет к небу.
Паче снега.
Убелюся, убелюся и я.
Убелится больная земля.
Омыеши, и я паче снега...
Лезешь на крышу – поднимаешься в небо.
Лезешь на крышу – поднимаешься в небо.
Лезешь на крышу – поднимаешься.
Лезешь на крышу.
Лезешь.

В Страстной четверг

Задует свечу – поднимется дым под купол.
Куклу качает трёхлетняя девочка Вера,
Четвёртого дня в её пальчиках юная верба
Качалась и плакала.

В Страстную все лица как-то особенно тонки,
Бледны, прозрачны как будто,
Как будто потусторонни.
Вот женщина в сером пальто
Лбом жмётся к иконе,
Вот женщина в сером пальто
Бескрайня, бездонна.
Бесстрастно лицо на иконе,
Потусторонне.
На той стороне люди ходят, паря над землёю,
На той стороне люди ходят, как облацы в небе,

Как ветер по полю, как ангелы Божьи.
Вот
Агнец
С безмерною нежностью смотрит на женщину в сером,
С безмерною нежностью смотрит и плачет.
Вот
Агнец.

Задуешь свечу – поднимется дым под купол.
Над куполом небо, над куполом бесконечность.
Вот женщина в сером, вот в женщине в сером вечность.
Задуешь свечу, опустишь уставшую руку.

На той стороне... От чего от каких территорий?
От каких берегов, осязаемых и не очень.
Задуешь свечу пред иконою – день окончен.
Вот
Агнец
Идёт и глядит с несказанной любовью.

На той стороне от греха, от греха, конечно.
На той стороне ослепительной и безбрежной.
Вот женщина в сером куда-то идёт неспешно,
Паря над землею, над талой водою внешней.

Дмитрий БИРМАН

Родился в 1961 году в Горьком. Окончил Горьковский инженерно-строительный институт, а также Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (экономический факультет). Работал инженером, затем занимался бизнесом. Неоднократно избирался депутатом Нижегородской городской думы, занимал пост заместителя главы Нижнего Новгорода. Поэт, прозаик, автор шести книг, лауреат премии «Писатель XXI века», литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ПИСЬМА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

(Тексты для новой книги)

ВСТУПЛЕНИЕ

Я очень люблю СЛОВО.

Когда ты говоришь и смотришь в глаза собеседнику, то фальшь, неискренность, неумение выразить свои мысли, невозможно скрыть.

Мы можем сразу объяснить, если нас неправильно поняли. Даже если наш собеседник обижен и хочет уйти, можно мягко придержать его за руку и успеть сказать то, что сможет его остановить.

Если речь идёт о мужчине и женщине, то возможности личного общения практически безграничны.

Неприятный человек ВИДЕН. Мы стараемся обходить его стороной или сводить общение с ним к минимуму.

Социальные сети вошли в нашу жизнь быстро и навсегда.

Они принесли радость общения людям с ограниченными возможностями.

Сделали известными авторов, которые долгие годы писали «в стол».

Помогли спасти большое количество людей.

И т. д., и т. п.

В то же время, они разрушают нашу жизнь, уничтожая то, что не стоит нам ни копейки, но ценится очень высоко.

Личное общение. Глаза в глаза.

И никакой «Скайп» или «Вайбер» не заменит этого.

Так же как спокойная, тихая, покорная женщина из латекса не заменит живую-беспокойную, вредную, стервозную, но ЖИВУЮ.

Эти ПИСЬМА о том, как слово в эсэмэс, да что там слово, смайлик может разрушить отношения.

О том, как за красивой аватаркой, умными (переписанными из непрочитанных книг) текстами и стихами, может возникать ИЛЛЮЗИЯ. Иллюзия, превращающаяся в обман и жалящая прямо в сердце.

Письма «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ», потому что они адресованы всем.

Все истории вымышлены, но уверен, они происходили со многими из вас.

*Искренне ваш,
Дмитрий БИРМАН*

Улыбка

Может ли улыбка изменить судьбу? Сломать отношения? Вернуть то, что уходит?

Убивающие всё безликие эсэмэс. Нам некогда, мы торопимся. Врачи говорят, что долго разговаривать по мобильному телефону вредно.

Он и она только в начале отношений. Они познакомились в сети несколько дней назад, но ещё не встречались. Она болеет. Правда, они уже разговаривали по телефону до двух часов ночи. Им так хорошо и легко. Они так понимают друг друга!

Встречу пока заменяет бесконечное общение в мессенджере.

Вечер четвёртого дня знакомства.

Он а: Можно спросить?

просмотрено

Он: Да!)

просмотрено

Он а: Ты меня не оставишь?

просмотрено

Он: Нет, конечно!)))

просмотрено

Он а: Я знала, что не нужна тебе! Что я для тебя просто игрушка!

просмотрено

Он: Ты что, милая?! С чего ты это взяла?!

не просмотрено

Он: Я не могу до тебя дозвониться! Ответь, плиз!

не просмотрено

Он : У тебя все нормально?

не просмотрено

Он не находит себе места, мечется по городу. Он не знает ее адреса. Он не знает, где она работает. На ее страничке в ФБ значится «фрилансер».

Ее нет в сети и в городе.

Она пропала с планеты Земля.

Он некрасиво пьёт водку и проваливается в забытье.

Похмельное утро.

Он судорожно хватает телефон.

О, чудо! Она в сети!

Негнушимися, дрожащими пальцами он с трудом набирает ее номер.

Он а: Да?

Он (*сглатывая комок в горле*): Привет! Можешь говорить?

Он а: Да.

Он: Я ничего не понимаю! Где ты? Что случилось?

Он а: Ты смеёшься надо мной!

Он: С чего ты взяла, милая?!

Он а: Ты ответил «нет» и поставил три своих дурацких улыбки!

Он: Милая, ты что! Это я улыбнулся, потому что мне легко с тобой, улыбнулся тебе и улыбнулся от радости, что скоро увижу тебя!

Он а: Нет смысла продолжать разговор! Я не хочу, чтобы мне было очень больно, когда ты уйдёшь!

Она закончила разговор.

Он ещё долго держал в руках свой айфон и смотрел на мертвый, чёрный экран, отражающий его небритое, похмельное лицо с застывшей улыбкой.

Сестра

Он смотрел на ее фотографию и не замечал время, которое тихо шелестело мимо, не отвечал на звонки мобильного.

Она сказала тогда:

«Ты зачем утащил фотографию?»

Нет, сначала она написала:

«Ой, ты оказался у меня в Вайбере!»

Все случилось как в анекдоте.

Он получил эсэмэс:

«Только не забудь купить цветы!»

Так как номер отправителя был неизвестен, он ответил:

«Конечно))) Пойдёт такой букет?»

И добавил фото шикарного букета.

«Абракадабра», – пришло незамедлительно в ответ.

«А Вы кто?» – интеллигентно спросил он.

«Призрак», – ответила пустота

Ну, и началось.

Он часто знакомился в Сети. Однажды девушка, с которой они просто переписывались и ни разу не встречались, призналась ему в любви. Он сразу перестал с ней общаться.

В этот раз все было иначе. Вдруг, сам не понимая почему, он потянулся к новой знакомой всей душой.

Фотографию утащил из ее «Вайбера». Зеленоглазая брюнетка задорно улыбалась, а за ней (план был крупным) угадывалась морская волна.

Оказалось, что она учится в Майами, а за ее спиной не море, а целый океан.

Она ошиблась номером. Эсэмэс предназначалось папе, который должен был поздравить свою маму (её бабушку) с днём рождения.

Они договорились, что из-за разницы во времени и дороговизны разговоров будут общаться исключительно через эсэмэс.

Он хотел все знать о ней.

Он почти не спал ночью – в Америке же был день! Его чуть не выгнали с работы, когда он уснул, положив голову на клавиатуру компьютера. Он жил с чашкой кофе в одной руке и телефоном в другой.

Да, ещё она не присылала ему фотографии. Сказала, что подлинник намного лучше любой копии.

Через неделю он задумался, что бы можно было продать и сгонять к ней.

Через две он был готов попросить политическое убежище на Украине, а уж оттуда свалить в Америку.

С ней было волшебное.

Вы думаете, что влюбиться вот так, ни разу не встретившись невозможно?

Наоборот. Можно наделить предмет своей симпатии такими качествами, которые ему (предмету) и не снились!

Измучившись, он написал ей:

«Я не живу, не дышу. Я не могу без тебя! Я хочу обнять тебя, прижать к себе и не отпускать! Я умираю без тебя!»

Через сутки, которые показались ему вечностью, в ночи замерцал экран телефона. Дрожащими пальцами он разблокировал его, нажал на иконку «Вайбера» и прочитал:

«Вот так же, скотина, мучилась моя сестра, которая познакомилась с тобой полгода назад в этой гребаной сети! Помнишь ее, сволочь?!»

Коляска

Перед ней, на столе, зовуще жил яркой жизнью монитор компьютера. За спиной, в сгущающихся сумерках заполнявших ее маленькую комнату, стояла вечность.

Она уже привыкла, что любима.

У неё было несколько аккаунтов в ФБ и «ВКонтакте». Она создавала их не торопясь и вдумчиво.

Подбирала фотографии красивых девушек, придумывала им историю, находила друзей.

Если, по легенде, одна из ее личностей путешествовала по Канаде, то на ее страничке появлялись актуальные фото. Типа уборка листьев в Торонто или демонстрация в Оттаве.

В общем, она была умной, внимательной и не скучала.

Мужики всех возрастов слетались к ней, как мотыльки на пламя свечи, хотя ей больше нравился вариант – «как мухи на варенье».

Переписка проходила следующие этапы:

1. Переход с «Вы» на «ты».
2. Утром – «Доброе утро!», вечером – «Спокойной ночи!»
3. Телефонный разговор.
4. Признание – «Хочу тебя...»
5. Обмен интимными фото.
6. Договоренность об интимном свидании.

Пожилые казановы не скупались на «люблю тебя, моя девочка», «моя принцесса» и т. д., и т. п.

Кстати, они были искренни. Правда, они не понимали, почему красotka с нежным голосом, которая тоже «хочет» их, избегает встречи.

Она резвилась от души.

Одно ее воплощение говорило, что боится встречи по причине того, что «невинно».

Другое сетовало на ревнивого мужа, от которого устало, и детей, из-за которых совсем нет времени.

Третье рассказывало историю недавнего предательства бойфрендом и, естественно, депрессии, из которой нужно выйти.

Казановы велись на правдивые истории, их желание разгоралось, пугая их самих.

Она привыкла быть любимой и жестокой.

Ей нравилась эта виртуальная власть над серьезными, казалось бы, людьми.

Они писали и звонили, умоляли о встрече и обещали золотые горы.

Смешные и жалкие. Абсолютно безразличные ей.

Однажды в ее сети, заброшенные в Сеть, попался один поэт.

Она с улыбкой читала стихи, которые он посвящал ей, следила за его публикациями, изучала его книги.

И попалась сама.

Она уже не могла без его эсэмэс, его приятного голоса, его фотографий, одну из которых взяла на заставку в своём компьютере.

Когда он стал особенно настойчив, она согласилась на встречу.

Потом перенесла ее.

Потом перенесла ещё раз. Потом написала:

«Я боюсь встречи с тобой. Я не верю, что ты любишь меня!»

Он замолчал. Она не писала ему. Прошёл месяц.

Она почти не ела, мало спала, и врачи всерьёз стали беспокоиться о ее здоровье.

Она пустым взглядом смотрела на яркий, живой монитор компьютера, который стоял перед ней на столе.

Вот уже месяц, как все потеряло смысл.

И жестокая игра, и приятное ощущение, что любима, и наслаждение, когда казановы молили о встрече.

За спиной, в сгущающихся сумерках ждала Вечность.

Она сняла с тормоза свою инвалидную коляску, развернулась и покатилась в этот серый туман, к едва различимой кровати.

Она очень устала.

Тома Егорова

Он умирал медленно и мучительно.

Два дня он ещё боролся за жизнь, каждую минуту проверяя, нет ли звонков или сообщений.

«Абонент временно недоступен или находится за пределами...»

Он не дослушивал бездушный автомат.

На третий день он перестал бриться. Ему было скучно и неинтересно все. Он тупо смотрел в белый натяжной потолок.

Да! На работу он тоже не пошёл. Он не понимал.

Почему? Почему?! Почему???!!!!

Они познакомились в кафе. Она забыла на столике свой телефон. Он окликнул ее, их взгляды встретились и...

Она дала ему свой номер, и он, изнывая от нетерпения, вечером позвонил ей. Они проболтали всю ночь, а на следующий день встретились. Он очень хотел проводить ее домой, но она мягко отказалась.

Вдохновлённый и окрылённый, он разместил в «Фейсбуке» пост о любви и заснул, счастливо-беззаботный.

Утром первым делом заглянул в Сеть и удовлетворенно хмыкнул.

223 лайка и комментариев. Некто Тома Егорова написала:

«Прекрасно! Сразу видно что вы разбираетесь в любви!!☺»

Он поморщился. Во-первых, он не любил, когда не ставили запятые и писали «Вы» с маленькой буквы.

Во-вторых, ему не нравилось, что незнакомая мадам (кстати, только вчера попросившаяся и принятая в друзья) поставила смайлик с поцелуем.

«Ладно хоть не губы», – подумал он, вышел из сети и стал собираться на работу.

Они встречались три дня подряд, каждый вечер.

А потом она исчезла.

Возвращаясь домой, он писал восторженные посты о любви, а один раз даже сочинил стихотворение, типа:

Я счастлив, спасибо Богу,
Я встретил ее недавно,
Уверен, Любви дорога,
Залечит все мои раны....

Ну, и так далее.

Каждый раз Тома Егорова отвечала на его публикации, а на стихотворение написала:

«Я всегда готова быть рядом, даже если любовь уйдет☹☹☹»

Через три дня он начал медленно умирать.

Он искал ее везде, где только мог. Безрезультатно. Он перестал бриться на третий день, а на четвёртый не пошёл на работу.

Он лежал на скомканной простыне, пропитанной потом бессонной ночи, и просто смотрел в потолок. Мыслей не было. Нет, одна была. Вернее, не мысль даже, а вопрос: «Почему?»

На пятый день, утром, он, скорее по привычке, не веря в то, что она ответит, набрал ее номер.

– Да, – бодро и доброжелательно ответила она.

– Милая, – выдохнул он, – с тобой все в порядке? Я не живу уже четыре дня!

– А что случилось? – вежливо поинтересовалась она.

– Как что? – он парил над реальностью, ничего не понимая. – Ты пропала, я не знал, что думать!

– Милый, – смачно выплюнула она, – за эти дни я наслушалась столько всего о тебе, что могу стать твоим биографом. Но не хочу. И общаться с тобой тоже не хочу.

– В чем дело? Что случилось?

– Подруга все про тебя знает. Она мне рассказала. С подробностями. Прощай! – она закончила разговор.

Его сердце бешено колотилось в висках. Каким-то чудом он успел вызвать скорую, открыть дверь, после чего радостно потерял сознание.

В наших больницах если что и умеют, так это побеждать гипертонический криз.

Магnezия внутривенно, витаминчики туда же.

Он решил, что выжжет в себе нежное чувство к ней.

С досадой он думал о том, что дошёл до ручки, грохнувшись в обморок, как девица.

Один, лишь один вопрос мучал его.

Он зашёл в «Фейсбук», увидел, что она в Сети, и написал в мессенджере:

«Я не буду больше тебя беспокоить! Всего один вопрос, а что за подруга, которая все про меня знает?»

«Тома Егорова», – ответила она.

Измена

Уже неделю он не ходил, а летал. Его не раздражали бесконечные капризы детей и бубнеж дражайшей половины. Вернулось ощущение лёгкости и драйва. День пролетал незаметно и был окрашен в яркие цвета.

Она прокомментировала его пост о новом фильме Шахназарова «Анна Каренина». Начали спорить. Потом «говорить за жизнь». Он с трудом заставил себя оторваться от беседы, чтобы помочь старшей дочери сделать математику. Раздражаясь, что жена опять занята непонятно чем.

Он внимательно изучил профиль Элины Линовой.

Его немного смутило имя с фамилией (была в них какая-то искусственная созвучность) и то, что там было только две фотографии. С одной на него смотрели романтично-умные глаза девушки лет двадцати. На второй красовался букет пунцовых роз, небрежно брошенный на капот автомобиля. Он долго пытался рассмотреть, какой марки автомобиль, то приближая, то отдаляя изображение. Не получилось.

Вечером, заперевшись в туалете, он отправил ей:

«Спокойной ночи! До завтра!))» Ответ пришёл мгновенно:

«Спокойной ночи! Добрых снов!))»

Он долго не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок под равномерное похрапывание супруги.

«Почему так? – думал он. – Посторонний, незнакомый человек понимает и слышит тебя, а женщина, с которой прожил шестнадцать лет – стала далекой и чужой!»

Они много писали друг другу каждый день. Он удивлялся ее кругозору, острому уму и тонкой иронии. Он старался пораньше уйти из дома на работу и попозже вернуться с работы домой. Она не дала ему номер своего телефона – «если жена, не дай бог...», поэтому они общались в мессенджере.

Эсэмэс становились все откровеннее. Он начал уклоняться от супружеского долга (благо жена не настаивала). В его горячечных снах девушка с чистым лицом и прекрасными глазами вытворяла такое...

Через неделю переписки они достигли апогея и договорились о встрече.

Он снял номер в небольшом отеле с красивым названием «Сан Саныч». Встреча была назначена на пятницу. Жена договорилась куда-то пойти с подругами, теща обещала посидеть с детьми...

Ангел вёл его на встречу с Ангелом.

Психанув, он попросил поставить в номер три вазы, в каждой из которых должно быть по пятнадцать пунцовых роз. Обязательно на длинном стебле!

Ночь с четверга на пятницу была бессонной. Он сидел на кухне, пил воду. Потом схватил блокнот (жена записывала в него рецепты), ручку и...

Мне снились вновь пророческие сны,
И я в поту холодном просыпался...

Он нервничал. Тщательно выбирал, что надеть. Еле дождался окончания дня. И вдруг:

«Я на месте, милый! Жду... ☺»

Он не шёл, он летел.

Ресепшен. Второй этаж. Стук сердца заглушал стук в дверь. Вот лёгкие шаги, поворот дверной ручки, и...

– Привет, милый! – на пороге стояла с улыбкой яркая и неузнаваемо красивая... жена.

Он прошёл в номер на ватных ногах, осел на стул, чуть не столкнув с журнального столика вазу, полную тех самых роз.

Еле шевеля пересохшими губами, чтобы не давила невыносимая тишина, спросил:

– А что за машина на фото?

– Милый, эту машину и цветы ты подарил мне на годовщину свадьбы!

Карлик в красном пальто и с батоном под мышкой

Она никому не верила.

В смысле мужчинам.

Она завела два аккаунта на FB и могла любого искателя любовных утех и сексуальных развлечений вывернуть наизнанку.

Это ее забавляло.

Она поместила в одном профиле аватарку со своей фотографией (волна чёрных волос закрывает пол-лица), а в другом жизнерадостную блондинку с широко распахнутыми голубыми глазами и пухлыми губками (стащила с какого-то сайта о косметике).

Когда очередная жертва попадалась в сети, она вела её по заранее подготовленному плану.

Сначала общие разговоры и общение на «Вы». Тех, кто сразу начинал «тыкать» она отправляла в бан.

Потом попытка соискателя узнать номер ее телефона (от которой она мягко уходила), переход на «ты» и предложение встретиться.

Вот тут на сцену выходила Подруга.

Подруга могла заболеть, неожиданно приехать с рассказом о несчастной любви и т. д., но, главное, она подробно описывала Подругу, рассказывая о том, какая та замечательная.

Затем Подруга лайкала пару «умных» постов соискателя, который, разумеется, приглашал ее в друзья.

Капкан беззвучно защелкивался и начинался следующий этап забавы.

Она находила любой повод, чтобы обидеться и замолчать на день-два. Ловелас, уже мечтающий о ее неземных прелестях бросался...

Правильно! К Подруге. Он писал, что не понимает, страдает, умолял помочь.

Вот тогда она, уже в роли Подруги, начинала выворачивать наизнанку незадачливого лоха с высоким уровнем тестостерона.

Подруга была сострадательной, понимающей и через день активного общения предлагала интернетному Казанове встретиться.

Потому что он хороший и способен на настоящее, глубокое чувство.

Тот внимательно рассматривал фото сексуальной блондинки, резонно считая, что замена вполне адекватная.

Как только искатель сексуальных развлечений соглашался на встречу, то получал гневное эсмэс.

Она писала, что Подруга ей все рассказала, что она не хочет мешать их любви, хотя он – подлец и сделал ей очень больно.

Недоумок пытался оправдываться, но было поздно.

Один ненормальный, в отчаянии от того, что потерял сразу двух потенциальных партнёров, написал ей, что готов к суициду.

В общем, она веселилась от души.

Однажды ночью она получила эсмэс: «Спасибо за внимание к моему творчеству. Не спится?»

Она действительно часто лайкала его стихи. Они ей нравились, хотя, пожалуй, были простоваты.

Временами, когда бессонница шептала на ухо, что пора всерьёз заняться личной жизнью, она заходила на его страничку.

Рассматривала фотографию высокого стройного мужчины, лет сорока пяти, с печальными глазами, перечитывала то, что особенно понравилось, и ставила лайки под новыми публикациями.

«Не спится, – ответила она, – а вам?»

И закрутилось.

Она, по привычке, повела его по протоптанной дорожке.

Но...

Он отказался от встречи с Подругой.

Он терпеливо ждал, когда она, после придуманного повода, снова будет в Сети.

Не узнавая себя, она прислала ему номер своего телефона, и они проболтали до утра.

Он оказался прекрасным рассказчиком с приятным баритоном.

Она очень увлеклась им, но по привычке продолжала провоцировать и придумывать причины, из-за которых они не могут встретиться.

Это продолжалось месяца два и превратилось в безумие.

Она невозможно хотела его.

Солнечным зимним утром она написала: «Приходи сегодня в 18. Левый вход в “Атриум”».

Он ответил: «О, милая! Наконец-то! Я буду в красном плаще и с батоном под мышкой, чтобы ты не ошиблась»))))

Ей казалось, что в метро стало светлее. Она шла, подставляя лицо падающему снегу, чувствуя на губах нежную небесную влагу и представляя, что это его поцелуи.

У левого входа в «Атриум», спиной к ней, стоял высокий стройный мужчина в коричневой дубленке.

Сердце екнуло, упало вниз и через мгновение стало биться в висках.

Пока она по инерции продолжала двигаться вперёд, мужчина повернулся и сделал шаг в сторону.

Ее жадный взгляд выхватил фигурку карлика, который стоял за мужчиной и сначала не был виден.

Карлик был в красном пальто, с батоном под мышкой и букетом бордовых роз.

Два аккаунта были не только у неё...

Виолетта

Игла медленно, почти ласково вошла в его вену.

Доктор отрегулировал скорость капельницы и уселся напротив.

– Чего довёл до такого?

– Нормально! – он собрался с мыслями и продолжил: – Подлатай меня немного, мне завтра лететь.

– Лететь? – доктор закинул ногу на ногу и усмехнулся доброй врачебной усмешкой. – Полетишь ты, друже, как фанера над Парижем!

– Я обещал, – он стал непроизвольно подниматься, и иголка, удобно расположившаяся внутри вены, сделала ему первое предупреждение.

– Лежи! – доктор зло смотрел на своего непутевого друга детства. – Куда тебе лететь, тебе сосуды надо в порядок привести!

– Рановато про сосуды, Айболит! Так, переутомился.

Доктор встал, закрыл на ключ дверь палаты, открыл окно и с наслаждением закурил.

Он смотрел, как дым маленьким белым облачком поднимается вверх. Он представил, как там, в небе, дым станет частью облака и поплывёт в дальние дали, абсолютно свободный от всех границ.

– Мне бы в небо! – он внимательно посмотрел доктору в глаза.

– Ну, до Клуни тебе далеко! – усмехнулся доктор. – Хотя по возрасту самое то. – Что, влюбился, старый дурак? – доктор тщательно затушил сигарету, выбросил ее в окно и аккуратно прикрыл створки.

– Не поверишь, док, влюбился. И не просто, а виртуально, понимаешь?

Доктор подозрительно покосился на пациента.

– Ну, по интернету познакомились. Не виделись еще, только поговорили по «Вайберу» пару раз. А тут она на практику в Берлин улетела. Я обещал приехать.

– Тю, малыш! – доктор улыбнулся и стал действительно похож на Айболита. – Так сколько нам годиков?

– Двадцать три, – он тоже улыбнулся и стал лет на десять моложе.

– Как зовут?

– Виолетта.

– Изысканно.

– Красиво! – он улыбнулся и опять посмотрел на облака.

– Ладно, сейчас, – доктор вышел и быстро вернулся со шприцем в руках.

– Сейчас уколою тебе эту волшебную жидкость, и очухаешься.

Он быстро перевернулся на живот и подставил ягодицы спасительному уколу.

Когда он крепко спал, доктор взял его руку и разблокировал большим пальцем айфон. Быстро нашёл там «Виолетта», зашёл в мессенджер и внимательно прочитал переписку. Потом, покачив головой и на мгновение задумавшись, набрал: «Виточка, я не смогу прилететь. Встретил своего старого друга и понял, что любил его всю жизнь. Прости».

Когда телефон послушно извещал о том, что сообщение отправлено, доктор снова закурил, открыв окно.

«Может быть, переборщил?» – подумал доктор, выпуская на волю облачка дыма. – Хотя, по нынешней жизни, – самое то!»

А ещё доктору почему-то вспомнилась задорная девчонка с красивым именем Вика, которая тогда, в пионерском лагере, выбрала не его.

Генеральская дочка

Спросонья он не сразу понял, что толстые целлюлитные ноги и «спасательный круг» на талии (вернее, там, где она должна быть) принадлежат его Мечте.

Она раскрыла занавески,пустила в комнату январское солнце и повернулась к нему.

«Лицо все же приятное, – искал он зацепки, – грудь неплохая, плечи красивые».

Он не стал рассматривать нижнюю часть предмета своей страсти.

Они познакомились в ФБ.

Он написал очередной пост, на этот раз про социальные лифты, пространно рассуждая о расслоении общества и отсутствии возможности «подняться», если у тебя нет могущественных родственников или покровителей.

Комменты разделились на три группы. Одни (абсолютное большинство) соглашались. Другие (абсолютное меньшинство) приводили

примеры, как чего-то достигли без помощи и поддержки, хотя, видимо, сами в это не очень верили.

Два были про нелегкую стезю гомосексуализма, на которую пришлось ступить, дабы сделать карьеру.

Один пришёл в личку.

Девушка писала о том, что она, единственная дочь генерала ФСБ, проста и открыта, что взяла мамину девичью фамилию, чтобы в жизни всего добиваться самой, что социальные лифты работают, просто не надо бояться нажать кнопку вызова.

Он начал отвечать ей в издевательской манере, но она так легко и умно парировала, что они быстро перешли на другие темы.

Оказалось, что у них очень много общего.

Им нравился Пелевин, хотя она перестала читать его после «Странника», а он после (с трудом осиленной) «Лампы Мафусаила».

Они сошлись на том, что «Матильду» надо обязательно посмотреть, а вот «Крым» можно пропустить.

Ему было с ней легко и как-то... радостно, что ли.

Он предложил встретиться, она ответила, что у неё воспаление лёгких, но как только разрешит семейный доктор, она с удовольствием встретится с таким интересным собеседником.

Они бесконечно переписывались в мессенджере (семейный доктор разрешил разговоры по телефону не более десяти минут в день), и постепенно у него стала складываться картина ее жизни.

Факультет журналистики МГУ, папа, занимающий высокую должность в ФСБ, огромная квартира в новом доме на Кутузовском проспекте, семейный врач, личный водитель...

— Нас, наверное, прослушивают? — спросил он у неё.

— Всех прослушивают, — философски ответила она. — Папа говорит: «Россия спит под уютным одеялом, которым мы ее накрыли».

— Понял, — он поежился.

— Ты не переживай, — она зевнула, — пока я рядом, у тебя все будет хорошо.

Вот тогда он впервые серьёзно задумался. Ему скоро двадцать восемь, за душой, как говаривал дед Матвей, «только вши да гниды», перспективы никаких.

Так может быть, она, эта симпатичная (судя по фотографиям в ее профиле) генеральская дочка, и есть его «лотерейный билет»!

«А что, — думал он — ну, покричит родня, потом дети пойдут, куда деваться?»

Перед самым Новым годом она наконец-то победила коварную болезнь, и они договорились поужинать в новом модном ресторане. Предполагая подобный поворот событий, он продал золотые часы, которые подарил ему безвременно ушедший папа.

Она пришла яркая, позитивная, в бирюзовом платье, открывающем красивую грудь, а дальше расширяющемся и не дающем возможности понять какие у неё ноги, а главное, «казенная часть».

Дед Матвей часто говорил ему: «Какая “казённая часть”, такая и баба, сынок! Толстожопую не бери!»

В общем, в результате возлияний и вспыхнувшей страсти они оказались в той самой квартире, в ее спальне, под уютным одеялом (видимо, таким же, каким ее папа и иже с ним с любовью укрывали Россию).

Она раскрыла занавески, пустила в комнату солнце, повернулась к нему, со словами:

– Тебе принести кофе?

– Что? – переспросил он, потому что в его тяжелой с похмелья голове звучали пророческие слова деда Матвея.

За завтраком она предложила, чтобы он переехал к ней.

Он на минуту замешкался, потом взял третий бутерброд с чёрной икрой, сделал глоток кофе с неведомым ему названием «лавацца» и энергично закивал.

– Только вот что, милый, – она прошелестела халатом, похожим на грозное облако, и обняла его за плечи, – я пока сняла нам хрущевку на окраине. Хочу, чтобы папа с мамой сами нас позвали к себе.

– Хохешно, – прочавкал он в ответ, наслаждаясь икрой белуги, толстым слоем намазанной на зерновой хлеб.

Она продиктовала ему адрес, вызвала такси, и отправила домой. За вещами.

Когда дверь за ним захлопнулась, она сделала два звонка.

Первый звонок

– Светуля, огромное спасибо! Все классно! Он поверил, конечно!

– Я постельное белье своё привезла, да ещё банку чёрной икры купила! Половину он сожрал, половину оставляю. Ну, и с меня год маникюра-педикюра тебе.

– Да знаю, что у меня руки золотые, что ты только ко мне ходишь, поэтому и помогла.

– Вы когда прилетаете?

– Ты сразу ко мне! Заодно и ключи отдам!

– Пока! Целую!

Второй звонок.

– Привет, мам, ты как?

– Мам, ты у тётки Сони задержишься до весны, ладно?

Дождь

Больше всего она не любила рано просыпаться.

Утро, заполненное суетой, бесило ее.

Встать, набросить халат (мальчики уже взрослые), пройти в детскую, терпеливо разбудить, поднять и заставить идти умываться, бесконечно завидуя мужу, который может ещё немного поваляться, нежась в утренней истоме. Включить чайник, взбить яйца для омлета и положить капсулу с «декаф» в кофемашину.

Хотя, нет. Были тревожно-сладкие пять минут, без которых она уже не мыслила своего утра. До того как накинуть халат, голышом, она шла в туалет с телефоном в правой руке. Там, присев на унитаз и предоставив возможность рефлексам выполнять физиологические функции,

она включала айфон прикосновением большого пальца, а затем, указательным, касалась иконки мессенджера.

Она читала то, что он написал ей ночью, и это примиряло ее с надоевшим утренним ритуалом, с дождём за окном, с тем, что через полтора часа она уже забудет обо всем, делая «холодные» и «горячие» телефонные звонки, чтобы ещё больше людей травились «прекрасными фермерскими продуктами».

Но... муж зарабатывал «как все», а ей приходилось выгрызать «чуть побольше».

Она была порядочной женщиной (оргии в студенческом общежитии и случайную связь в командировке, в счёт можно не брать), семья значила для неё в этой жизни все, и даже больше. Однако...

Однако случайное знакомство в ФБ переросло в странный для неё (практичной и твёрдо стоящей на земле) виртуальный роман.

Однажды, поздним вечером, она написала пост:

«Друзья! Кто подскажет, как снизить давление в домашних условиях, если нет таблеток? У меня 150/120, муж и дети спят, не хочу их тревожить и вызывать скорую».

Оказалось, что лента живет активной ночной жизнью, и ей стали приходить рекомендации.

От «Я была такая же дура, как ты, загубила своё здоровье, муж бросил, а детям я не нужна» (Софья Владимировна) до «Дайте адрес, откройте дверь и ждите меня на кухне, я вам помогу» (Могучий).

Одно сообщение пришло в личку: «Наберите в ванну горячей (не кипятка, конечно))) воды, опустите ноги. Заварите зелёный чай и выпейте его с лимоном» (Сергей Дьяков).

Сергей оказался врачом – так было написано на его страничке – и был, внешне (судя по фотографиям в профиле) очень приятным.

Она последовала его советам, давление снизилось, и утром, как ни в чем не бывало, она исполняла долг домохозяйки.

Как-то невзначай завязалась переписка. Он был очень интересным «собеседником», становясь ей все ближе и ближе.

Да, конечно, ещё те прекрасные десять-пятнадцать минут, когда она, отправив детей в школу, напоив мужа «декаф» (у него пошаливало сердце) и проводив его на работу, могла спокойно выпить чашку зеленого чая с лимоном.

Она уже в открытую, не торопясь и смакуя, перечитывала ночные эсэмэс.

А ещё она слушала шум автомобилей. Окна выходили на дорогу, и она давно привыкла к этому, как она говорила, «живому» шуму.

Она легко сбежала по ступенькам (став уже коммерческим директором), с мыслями о предстоящих переговорах.

На улице шёл дождь, пахло мокрым асфальтом и ещё каким-то неуловимо-знакомым запахом.

Она на мгновение остановилась, увидела машину скорой помощи и прикрытое простыней тело на обочине.

«Уехал, подонки! Сбил и уехал!» – причитала какая-то женщина.

«Может, переспать с Николаевым? Тогда точно у нас станет покушать», – вертелось у неё в голове.

До станции метро было пару минут энергичной ходьбы.

Спускаясь по эскалатору, она зацепилась взглядом за рекламу средства от сердечных заболеваний, подумала о муже и решила не спать с Николаевым.

Рабочий день так закрутил ее в водовороте дел, что она не успела пообедать. Да еще пришлось упрашивать Николаева перенести переговоры на завтра.

Она, с досадой махнув рукой, посмотрела на восемь звонков от мамы, ответить на которые не было никакой возможности.

Голодная и злая (тупой зам не подготовил нужную ей аналитику для переговоров), она торопилась домой, чтобы успеть приготовить ужин.

Муж принципиально не готовил и не мыл посуду. Правда, мог починить все что угодно, но это деление на «женское» и «мужское» очень ее раздражало.

«Да и хрен с ней, с аналитикой! Пересплю с Николаевым!» – она кивнула головой и улыбнулась.

Люди, ехавшие рядом в вагоне метро, тревожно посмотрели на неё.

Она взлетела по лестнице, увидела открытую дверь квартиры, зашла, громко и смачно захлопнув ее за собой.

Она с удивлением увидела каких-то посторонних людей и, прежде чем стали складываться обрывки мыслей, почувствовала запах. Резкий запах дешевой туалетной воды, которой пользовался муж.

Слезы покатились по ее щекам, превращаясь в дождь, который утром оплакивал тело, накрытое простыней.

Раковые клетки

«Паленая, что ли? Хотя вроде всегда эту беру, самую дорогую...» – подумал он, вытирая губы тыльной стороной ладони и цепляя вилкой с загнутым зубчиком солёный огурчик со дна стеклянной банки.

Собственно, только эти банки с домашними соленьями (огурцы, помидоры, грибочки) и связывали его с домом. С мамой, братом...

Водка, щёткой для мытья посуды, прошла по пищеводу и камнем улеглась в желудке.

Он посмотрел на монитор, прокрутил новостную ленту ФБ и удовлетворенно хмыкнул.

Мама всегда любила младшего брата больше, чем его. Тот отвечал ей взаимностью, был маменькиным сынком. Даже когда женился, остался жить с мамой. Теперь она нянчила внуков, старшую Сашу и младшего Колю.

Он налил себе ещё полстакана, подошёл к холодильнику, открыл дверцу, посмотрел на полки, забитые всякой всячиной, и выбрал банку красной икры. Отрезал от буханки «бородинского» увесистый ломоть, на него (не оскорбляя маслом) намазал слоем, толщиной в указательный палец, зернистый деликатес. Полюбовавшись тем, что получилось, положил бутерброд на фарфоровое блюдце, с обратной стороны которого значилось «Ле Маж».

Только что поступивший в продажу и купленный за двойную цену «Айфон X», весело засветился экраном, эсэмэс радостно известило о поступлении пяти тысяч рублей на его карту.

Точнее, на дебетовую карту спившегося одноклассника Васьки Шубина.

Он мелкими глотками выпил водку, откусил хороший кусок бутерброда и, когда крепкие красные шарики наполнили рот слабосоленым вкусом интеллигентной рыбы, почему-то вспомнил тот день.

Десятый класс, он заступился за брата. Их было четверо против него одного.

Когда он пришёл домой, то получил от матери звонкую пощёчину. Она увидела младшего, рыдающего в углу, с разбитым носом, и не стала разбираться.

Тогда во рту появился такой же солоноватый привкус – он прикусил губу.

На следующий день, собрав нехитрые пожитки и вытащив из маминого тайника все ее сбережения, он уехал и с тех пор не видел ни ее, ни брата.

Он снова повернулся к монитору компьютера и запустил обновление статуса.

На видео худой и бледный мальчик лет четырех сначала молча смотрел в камеру, потом протягивал вперёд левую руку, прижимая правую к сердцу и тихо говорил:

«Я хочу жить».

Последний год мать, которая где-то раздобыла его телефон (наверняка Верка дала), звонила ему каждую неделю, рассказывала какие у них новости и пыталась расспрашивать его о том, как он живет. Присылала ему фото племянников. Малыши были забавными, особенно Колька, который как две капли воды был похож на него маленького.

Мать ни разу не попрекнула его теми деньгами, хотя за пощёчину не извинилась. Он не простил, но на ее звонки отвечал, тем более что она стала присылать ему с оказией эти банки с соленьями.

Верка бросила его через три года веселой семейной жизни, в которой было все, кроме детей. Не получалось у них, хотя врачи говорили, что оба здоровы.

Он предложил ей ЭКО, но Верка почему-то боялась «детей из пробирки», как она их называла.

Говорила, что у таких детей всегда бывает онкология. Дура, конечно, но переубедить ее он так и не смог.

Когда Верка ушла, оставив записку: «Извини, я хочу нормальных детей», он сначала выл, потом пил, а потом в его воспалённом мозгу возник адский план.

Он внимательно перечитал текст под видео, в котором говорилось о том, что Ванечке, которому поставили страшный диагноз, нужна срочная помощь. Ну и, конечно, номер счета для перечисления денег.

Детишек он сначала фотографировал, а потом стал делать видео. Видео приносило больше денег.

Дуры из хосписа были ему благодарны – десять процентов собранных средств он перечислял им.

Он смотрел на бутылку (из которой отпил ровно половину), раздумывая, допить или остановиться, когда зазвонил телефон.

Он сначала поласкал в руке стеклянный корпус и, прочитав на экране «Мама-сука», провёл по нему большим пальцем.

– Сыночек! Сыночек! – кричала мать, вперемишку с рыданиями. – Помоги!

Вот так же тогда кричал «помоги!» его младший брат.

– Успокойся, – сказал он негромко, чуть растягивая слова, – что там у тебя?

– Коленька, Коленька, заболел! – не унималась мать

– Не кричи, – он зевнул, – вылечим. Воспаление лёгких?

– Раком заболел наш Коленька, – задыхаясь выкрикнула она.

Гламурный телефон был не готов к такому повороту – стеклянный корпус, встретившись со стеной, разлетелся осколками по всей комнате.

К тому же оказалось, что слезы напоминают по вкусу то ли икру, то ли кровь.

Скрипач

Первый раз его изнасиловали в душе трое дембелей.

Музыка. Он жил ею и ради неё. Мама, участковый врач, сделала ему освобождение от физкультуры, чтобы он не тратил время на всякую ерунду.

Когда он играл на скрипке, то все вокруг уходило в темноту, а он стоял внутри сферы, мерцающей белыми и зелёными огоньками.

Сфера плыла по океану звуков, и скрипка, которая оживала в его руках, была рулевым корабля Мечты.

Мама умерла дождливым осенним днем, не успев отмазать его от армии.

Сначала у него отобрали скрипку, и симпатичный парень с татуировкой дракона на широкой мускулистой спине потренировал на ней, как на гитаре, а потом отшвырнул в сторону.

Две струны лопнули, со звуком, пригласившим его в новую жизнь.

Он слышал этот звук, когда тот самый симпатичный парень стал его первым мужчиной.

Вернее, первым из трёх первых.

Потом были другие. Не часто, но были.

Сначала они с улыбкой рассматривали его полноватую, не знавшую физкультуры, фигуру, нежную кожу на круглом (почти без растительности) лице.

Потом, как правило, в душе, они крепко и уверенно брали его за руки, упирали головой в истертый кафель стены и, намазав свои возбужденные концы зубной пастой, насиловали.

Потом была Жизнь.

Он стал солистом знаменитого оркестра виртуозов. Мечта сбылась. Серебристо-зеленоватая сфера несла его через время и страны.

Ему многие завидовали. Квартира в престижном доме, хорошая машина. Вот только личные отношения...

Он не стал представителем ЛГБТ, но и не осуждал этих странных людей.

Он сам был странным. Многие женщины искали его общества, но он был равнодушен к ним.

Точнее, как только он пытался поцеловать нежные ждущие губы, то сразу же слышал звук рвущихся струн.

Он ходил к психологу. Безрезультатно.

Постепенно его жизнь (кроме музыки) заполнила ещё одна, затягивающая и не отпускающая страсть.

Социальные сети.

Он создал аккаунт, тщательно подобрав фотографии.

Так в сети появилась прекрасная и сексуальная блондинка Элен Шатрова.

Лена Шитова, девушка по вызову, сначала удивлялась, а потом привыкла. Странный клиент щедро оплачивал время, но не пользовался услугами. Он просто фотографировал ее в интерьерах своей квартиры.

Элен Шатрова охотилась за альфа-самцами.

Она писала восторженные комментарии под идиотскими постами. Когда на неё обращали внимание и начиналась переписка в мессенджере, она начинала свою игру.

Ей удавалось забраться в самую душу мачо из сети, при этом не дав номера телефона и прислав одну-две целомудренные (но какие!) фотографии.

Опытный интернет-соблазнитель следовал за ней, как рыба за блесной.

Именно эта недоступность, загадочность затягивала и привлекала.

Альфа-самцу хотелось победы.

О, как веселилась Элен, когда один придурок летел на встречу к ней в Брюссель, где она якобы находилась, а другой приезжал зимой по указанному адресу, в плаще на голое тело и сланцах.

Это была его месть. Его сладкая месть.

Однажды после репетиции он заехал в «Азбуку вкуса», чтобы купить кое-какие продукты. Около входа стояли в кружок какие-то люди. Он увидел голого мужчину, который, видимо, упал (или выбросился) с одного из верхних этажей.

Подняв голову, он наткнулся взглядом на табличку «Гризодубовой ул. 1 а».

Это был знакомый адрес. Вчера он (вернее Элен Шатрова) написал (вернее написала) очередному придурку, что будет ждать его внизу, а тот (придурок) должен голым спуститься по балконам на землю.

Он с ужасом посмотрел на безжизненное тело.

На спине страдальца была до спазмов знакомая татуировка дракона.

Он зашёл в магазин и решил взять бутылку хорошего вина.

То ли отпраздновать. То ли помянуть.

– Извините, – симпатичная блондинка пристально смотрела на его руки.

– Что? Что такое? – он занервничал. – Я беру вино и иду в кассу!

Она улыбнулась:

– Вы (она назвала его псевдоним, под которым он выступал в оркестре виртуозов)?

– Да, – растерянно ответил он.

– У вас очень красивые руки, – сказала она, сделала шаг навстречу, и осторожно коснулась его пальцев.

Горячая волна пробежала по телу, и....

Впервые он не услышал звука рвущихся струн.

Дельфинчик

Она точно знала, что аватарка не его, но продолжала переписываться с ним в мессенджере.

Она тоже пряталась за псевдоним, хотя фото было ее – прошлый Новый год, она в блестящем мини, удачно подчеркивающим высокую грудь, длинные ноги и скрадывающем широковатые бедра.

Он писал ей всякую приятную чушь. Ей нравилось. Ей вообще нравились сильные, напористые (но не наглые) мужчины.

А вот рефлексирющие половозрелые юноши, типа соседа по лестничной площадке, раздражали.

Очень раздражали.

Мужчина, заинтересовавший ее, с торсом из предпоследнего Men's Helt, гордо красовавшемся на его аватарке, был другим.

Ироничным, остроумным, интеллектуальным.

Он был из тех, кто просто приходит и берет то, что ему нужно.

Она сначала даже засомневалась, действительно ли эту фотографию она видела, когда была в парикмахерской и ей случайно попался на глаза мужской журнал.

Потом зашла на сайт Men's Helt и поняла, что не ошиблась.

Его эсэмэс волновали ее. Особенно когда он рассказывал в них о своих снах.

Конечно, эротических.

Конечно, с ней в главной роли.

Она читала их, и мурашки бежали по спине, соски твердели, а низ живота начинало сладко сводить.

Как-то он прислал ей: «С добрым утром, моя принцесса!» и фотографию, где его рука держала чашку с капучино, пенка которого была в виде сердца.

Она увеличила фото и долго его рассматривала.

Ей понравилась татуировка в виде симпатичного дельфинчика, уткнувшегося носом в большой палец.

«Может быть, встретимся?» – написала она.

«Хорошо», – ответил он и пропал из Сети.

Весь вечер и весь следующий день его не было.

Ей стало грустно и одиноко. Она даже всплакнула, но быстро взяла себя в руки и решила, что пойдёт в клуб и оторвётся:

«А что, суббота, почему бы, например, не выпить текилы?»

Когда, невероятно красивая, она выпорхнула из подъезда, то столкнулась с соседом.

Семья соседа переехала в их подъезд год назад. Она периодически видела юношу, который восхищенно смотрел на неё, то и дело нервно приглаживая коротко стриженную челку.

«Вот придурок!» – думала она каждый раз и, гордо подняв голову, проплывала мимо.

Она специально шла не торопясь, слегка покачивая бёдрами, чувствуя, как сосед завороченно смотрит ей вслед.

Кстати, она никогда не здоровалась с придурочным соседом.

«Привет, принцесса!» – сказал он спокойно и уверенно.

Она остановилась, словно натолкнувшись на невидимое препятствие, и внимательно посмотрела на него.

Даже не на него, а на руку, которая, как всегда, приглаживала коротко стриженную челку.

Даже не на руку, а на симпатичного дельфинчика, который уткнулся носом в большой палец.

Анастасия ЖИРНЯКОВА

Родилась в Ростове-на-Дону. Получила экономическое образование. Работает журналистом. Автор сборника стихов «Красная полоса» (2016). Публиковалась в литературных журналах и альманахах, неоднократно занимала призовые места в поэтических, прозаических и журналистских конкурсах.

Живет в Ростове-на-Дону.

КАПУСТНЫЙ ВАНЮША

Деревушка спала, уютно укутанная чёрным одеялом осенней ночи. И только окна третьей с краю избы, известной всем как изба Егориных, тускло светились от угасающих огарков свеч.

Роды были очень тяжёлыми. Деревенская повитуха сбилась с ног, бегая вокруг молодой девки с разметававшимися по белым сугробам подушек густыми длинными косами цвета гречихи. Сгорбленная скорее от тяжести прожитых лет, чем от возраста старуха, её мать, стояла на коленях в красном углу и скороговоркой бормотала молитвы, изредка выходя в сени, где волновались остальные домочадцы, и на задаваемый стариком вопрос, который волновал всех: «Ну что, Татьяна, ну что?..» — только причитала и утирала щёки углом расписного платка.

На третье утро решено было позвать знахарку — ведьму-травницу, живущую на отшибе к лесу, подальше от деревенских. Второпях запрягли телегу. Меньшой брат роженицы, Матвеюшка Егорин, разрываясь между тревогой за сестру и жалостью к любимому коню Серко, с тяжёлым сердцем хлестал и без того идущее крупной рысью послушное животное, надеясь добраться до лесного домика и обратно как можно скорее.

Знахарка прибыла вовремя. Несколько часов она не переставая плела таинственные заклинания, обращаясь то ли к Богу, то ли к Дьяволу. Но вся семья уже была готова надеяться хоть на того, хоть на другого...

Травы и наговоры облегчили боль, и роженица перестала метаться. Мальчик появился на свет синюшным, еле дышащим.

Отец новорождённого в это время находился далеко от дома — по возрасту он был призван на службу. Шла война. Сейчас она грохотала где-то далеко и была для жителей этой деревни скорее словом, нежели ощутимым событием. Однако то, что война идёт, молчаливо отразилось на укладе жизни: во всех дворах оставались только старики, женщины и дети.

Егорины, измученные бессонным ожиданием, прижавшиеся друг к другу на лавке в сенях, как стайка замёрзших птичек, наконец вздохнули с облегчением. Жива! Жива всё-таки наша Февроньюшка!..

Февронья была всеобщей любимицей и младшей из четырёх дочерей, одной из двух сестёр, оставшихся при родителях. Крепкая, бойкая дивчина с не по-крестьянски тонкими, красивыми руками обжигала радостным огнём бирюзовых глаз. Когда она танцевала, тяжёлая коса очерчивала танцующую кругами, и будто невидимые икры сыпались из-под быстро отстукивающих по деревянным доскам каблуков. В умении острословить и шутить она не знала себе равных среди подруг, умея при том никогда никого не обидеть, не задеть за живое. А её залиvistый смех украшал звёздной россыпью каждые деревенские посиделки.

При всей своей любви к гулянкам Февронья была толковой помощницей по хозяйству, успевая и то и другое. Охотно возилась на огороде, нежно любила цветы. Каждая травинка радовала её весной, каждый листочек на дереве она готова была ласкать как родного. Её приводила в восторг жизнь во всех своих проявлениях.

По старшинству замуж её выдавали последней. Свататься к Роне пытались многие. Побаяваясь, обращались к её отчиму. Отчим, полюбивший и взявший в свой дом мать Февроньи – вдову с шестью детьми, был человеком внешне суровым, но к домочадцам относился по-доброму. Детей Татьяны от первого брака он воспитывал как своих, прижимая руку к груди, называл родными. Девушек не отдавал замуж, не спросив их согласия. Поэтому решающее слово всегда оставалось за невестой.

Не один раз устраивались для Февроньи смотрины. Наконец ей приглянулся широкоплечий молодчик из погорелой хаты, сирота. Открытое выражение лица и широкая добродушная улыбка Михаила вызывали симпатию у любого, кто видел их. Невеста и жених несколько раз обменялись взглядами. И хотя Февронья каждый раз опускала глаза – невидимая связь, как молчаливый сговор, успела установиться между ними. Поэтому в ответ на вопрос отчима: «Люб ли тебе Михаил?...» Февронья лукаво улыбнулась, отвела глаза и тихо ответила: «Люб, батенька».

С того дня девушка вплетала в косу две красные ленты вместо одной – в знак помолвки. Другие деревенские парни смотрели вслед невесте с теперь уже безнадёжным восхищением.

Свадьбу сыграли пышно. Молодые остались жить в родительском доме, поскольку своего у Михаила не было. Парень влился в семью, будто всегда и был тут, крепко подружился с мужем средней сестры Марфы (пара тоже жила под материнским крылом, старшие дети Татьяны успели отселиться), оказался работающим и внимательным к своей супруге. В молодой семье царили мир и лад. Старушка-мать день за днём не могла радоваться их счастью.

Вскоре Февронья раскрылась с другой, прекрасной, доселе незнакомой её родным стороны. Она с горячим нетерпением – и одновременно ангельским терпением – ожидала своего первенца. Мечтала о мальчике как о самом заветном подарке. Иногда она садилась на лавку и, замирая, рассеянным, но в то же время будто сосредоточенным на чем-то невидимом для остальных взглядом подолгу утыкалась куда-то вдаль, при этом заглядывая словно бы внутрь себя и ведя мысленную беседу с растущим внутри неё живым существом.

Все соседи и близкие любовались этой новой, притихшей Февроньей, весь ослепительный свет которой, раньше так щедро раздариваемый

людям, теперь перестал искриться, равномерно и мягко рассеявшись над всем её существом. Родные были уверены, что из неё выйдет прекрасная мать.

Один только раз всколыхнуло этот удивительный свет, будто от дуновения ветра покачнулось пламя горящей свечи. Февронья была тогда на восьмом месяце. Всю деревню переполошило небывалое много лет кряду происшествие: на пороге зажиточного дома утром нашли младенца-подкидыша. Судили да рядили всем поселением, но так и не сошлись на том, кто же могла быть его мать. Февронья, Марфа и Татьяна были тут же. Марфа всё норовила кивнуть на нелюбимую ею соседку. Татьяна только слушала, волновалась. Младшая – тоже слушала, скользила бирюзой своих глаз по лицам испуганно, впервые – с недоверием.

Поздним вечером, перед сном, когда Татьяна уже собиралась укладываться и сматывала пряжу, Февронья, за вечер едва проронившая два слова, тихо спросила у матери:

– Мамочка, да как же это можно, чтобы свой ребёночек оказался не нужен?

При этом она не поднимала глаз и с какой-то невнятной опаской обеими руками легонько обняла свой внушительный к тому времени живот, будто защищая от недоброжелательного внешнего мира. Мать вздохнула и даже ненадолго перестала сматывать нитки.

– Всяко бывает на свете, Февроньюшка... Всяко...

– Как же так? – совсем тихо пошептала она, так, что близкие её уже не слышали. На следующий день она, казалось, стала прежней и всё так же ждала рождения своего малютки.

...Эти двое бессонных суток раскололи напополам священное ожидание. Крохотный младенец дрожал в колыбели всем телом, хрипло хватая воздух. Февронья лежала на кровати рядом, неподвижная, как покойница, и, казалось, совсем не дышала. Овал её обескровленного истончившегося лица обозначали на вываренной белизне подушки только косы, казавшиеся тёмными в ранних осенних сумерках.

Мать Февроньи, посевшая к своим сорока пяти годам, отошла от колыбельки и склонилась над дочерью. Осторожно вытерла влажной прохладной тряпкой лоб спящей. Украдкой вздохнула. Что-то теперь будет?..

Притихшая семья, стараясь не шуметь, укладывалась спать. Старик с неожиданно резким кряхтеньем залез на печь, старуха шикнула на него: чего шумишь! «О-хо-хох...» – едва слышно отозвался старик и повернулся поудобнее на другой бок. Изба погрузилась в предрассветную тишину, нарушаемую только сиплым дыханием спящих да еле слышным хрипом младенца.

...Первые лучи красного не выспавшегося солнца вернули лёгкий, едва заметный румянец на лицо Февроньи. Одеяло на её груди начало наконец вздыматься и опадать заметно для глаза, бесшумно и равномерно. Этого никто не видел – все спали, утомлённые переживаниями, так крепко, словно не смыкали глаз целый год.

В неподвижности всё ещё серых утренних сумерек, никем не замеченное и не ожидаемое, тем временем случилось ещё одно событие. Новорождённый мальчик перестал дышать.

Через несколько минут после этого, по случайности или по странному наитию, проснулась Февронья. С трудом приподнялась она на кровати. Осмотрелась кругом, и ищущий взгляд её прояснился. Молодая мать встала, подержалась немного на слабых ногах, шатаясь из сторо-

ны в сторону. Несколько неуверенных, но упрямых шагов по направлению к колыбели отняли чуть не все её силы.

Душераздирающий крик, каким не кричат даже мученики, сжигаемые заживо, словно хлыст из обнажённой боли рассёк утренний воздух и разбудил в мгновение ока всё семейство. А также несколько семей из соседних домов.

От этого крика, тяжело взмахивая крыльями, снялся с огромного гнезда на трубе дома аист и улетел куда-то в рассвет. В окно напротив колыбели был виден уменьшающийся, чёрный в розоватом зареве, силуэт птицы. На обжитое, насиженное годами место, которым была для белокрылого соседа труба дома Егориных, аист потом так и не вернулся.

Случайно заметив в окне улетающую птицу, Февронья перестала кричать. Она остекленевшим взглядом проводила аиста, исчезнувшего через пару секунд за деревянной рамой окна, и как подкошенная рухнула на колени. Живая, трясущаяся всем существом своим копна распущенных волос рыдала у колыбели. К ней подскочили – и поняли, что случилось несчастье. Старшая сестра Марфа от ужаса зажала ладонью рот и как зверь метнулась к кровати своего двухлетнего сына. Белокурый малыш, едва проснувшись, уже успел заплакать. Февронью обнимали за плечи, говорили что-то – она ничего не слышала, никого не видела...

Изба густо и разноголосно наполнилась детским и женским плачем, причитаниями, произносимыми громким шёпотом молитвами. Надо всем этим сверху нависало, накрывало, как крышкой, доносилось с печи: «Что ты будешь делать!.. Что ты делать будешь, а!» – это отчим злобно ругался на мирозданье.

Рыдания Февроньи постепенно становились тише, тише, пока не прекратились совсем. Юная мать вдруг резко встала с колен, будто выросла, возвысилась над собственным горем. Гречневые волосы распались посередине, открыв лицо. Страшное это было лицо. Остановившиеся бесцветные глаза смотрели в пространство, превратившись в одни зрачки – бездонные, пугающе-чёрные, как два иссохших колодца.

Её довели до лавки и усадили. Медленно накреняясь, она опустилась на бок, да так и пролежала весь день, не меняя позы. Родным не удалось уложить её обратно в мягкую кровать – у убитой горем молодой женщины не было сил даже на то, чтобы сделать несколько шагов. Попытки накормить её с ложки также оказались безуспешными. Стало ясно, что младшая дочка занемогла.

Пошептавшись о грехах своих тяжких, похоронили некрещённого ребёнка без присутствия матери. Чтобы не волновать лишний раз, при ней не говорили о похоронах.

С того дня чёрная туча поселилась над крышей дома Егориных. Отяжелело и потемнело от осенних дождей опустевшее аистиное гнездо. Погас смех, ранее часто звучавший в бревенчатых стенах. Даже оконца, казалось, стали меньше и день за днём едва пропускали солнечный свет...

Прошёл месяц. Февронья так и не пришла в себя, не реагировала на утешения родных, упрямо молчала, опустив подбородок на грудь и выставив вперёд лоб. Соседки, прищёлкнувая языком, говорили, что младшая дочь Егориных онемела от горя. «Не дай бог вам такого несчастья, не дай бог!..» – обязательно прибавляли они и суеверно стучали костяшками загрубелых пальцев по дереву.

В один осенний день, когда семья собиралась за урожаем на капустные грядки, Февронья тихим голосом попросилась с ними.

– Ожила!.. – охнула мать, и заплакала от радости. – Ожила, детонька!..

Семья радостно шла огородами, то и дело оглядываясь на плетущуюся сзади Февронью. Её не торопили, порой пытались вовлечь в разговоры, натянуто-непринуждённые. Больная не отвечала. Шагала резко, рывками, всё время глядя себе под ноги. Но рады были и этому.

На огороде все принялись за работу. Февронья же неожиданно повела себя странно. Начала ходить между грядок, вертя головой туда-сюда, сосредоточенно высматривая что-то, как если бы уронила на землю какую-нибудь мелочь: брошку, обручальное кольцо... Но брошей младшая дочь давно не носила, обручальное колечко было на ней, а поиски продолжались. Родные глядели с опаской. Не трогали.

...На вечерней заре все возвращались домой, везя в подогнанной отчимом телеге и неся в руках не поместившиеся ярко-зелёные шары капусты. Февронья шла с ними, крепко обхватив ладонями и прижав к себе собственноручно снятую с грядки небольшую капустную головку.

Вернувшись, урожай дружно складывали в сарай на хранение. Впервые за долгое время сдержанно, будто не веря в хорошие перемены, улыбались. Едва успевшая появиться радость, пока ещё окончательно не решившая, забрезжить ей или нет, смутным предчувствием восхода колебалась над головами.

Февронья подошла к родным и отчего-то пугливо заглянула в тёмные недра сарая. Лицо её при этом странно вытянулось, а руки безотчётно сильнее прижали к себе беловатый, ещё даже не набравший зелени, кочан. Мать доверительно протянула руки к её ноше:

– Давай сюда, Ронюшка! Умница, принесла, помогла нам! Положим на зиму!

Чтобы кормить Роню всё это время, матери приходилось уговаривать её на каждую ложку, как ребёнка. Этот тон за последний месяц стыдливо закрепился за занемогшей дочкой, как единственный, с которым к ней можно было обратиться.

– На зиму, – повторила Февронья, и глаза её остро, нехорошо сверкнули. – Не отдам. Ванюшу – не отдам. Никому больше.

– Ронюшка, какого Ванюшу? – дрогнувшим от нехорошо кольнувшего в сердце предчувствия пролепетала мать, – Нет здесь Ванюши! А это капуста... С огорода... Отдай...

– В капусте детей находят. В капусте, ты сама мне так говорила. Я своего сыночка потеряла – я и нашла его снова. Ванюша мой. Ванечка. Ванюша.

– Отдай, Роня. Мы положим... – подошла Марфа, заподозрив неладное, и тоже протянула открытые руки к зелёному кочану Рони.

Девушка рывком отвернулась от родственников, защитив кочан спиной.

– Не отдам. Ванюша!

Мать только всплеснула руками...

* * *

В маленьких селениях слухи распространяются удивительно быстро. Скоро во всех дворах знали, что меньшая дочь Егорина тронулась умом.

Соседки со всей улицы собирались, чтобы поглазеть на то, как Февронья, снова казавшаяся прежней в своей бойкости и искристости, лепит во дворе снеговика, поглядывая на оставленную на лавке у окна капусту и крича ей бодрым, исполненным искреннего счастья голосом:

– Смотри, Ванечка, какой снеговик получается! Загляденье! Какой нос у него смешной, красный весь! Как морковка! Это от мороза. Большой нынче мороз, Ванечка! Да твоя мама его не боится!

И она заливалась золотистым смехом, сияла побирюзовевшими снова глазами и подбрасывала рассыпчатый снег. Он сверкал маленьким облачком над её головой, опадал, украшая платок и полушубок блестками. Неперевязанные лентой косы, поймавшие в свое плетение золотистую солнечную нить, обмахивали воздух вокруг неё пышными кистями, рискуя окончательно расплестись. Матвейка бегал вокруг и помогал сестре катать снежные шары. Для него это была забава!..

Соседки крутили пальцами у висков и сокрушённо, тяжело переглядывались. Проходившие мимо старики – из тех, что остались в деревне, – ширяя в сторону седыми острыми бородами, спугивали их:

– А ну, пошли прочь отседа! Чего, юродивой не видели? Тоже зрелище... Лучше б щи по домам варили! Бабы-дурь!..

Испуганные бабы стайкой отшатывались от каждого такого прохожего, иногда отвечая хлёткой шуткой, и возвращались к оградке, за которой Февронья бережно выносила капусту на мороз, завернутую в стёганое детское одеялко...

Преобразившуюся больную теперь было не узнать. Она целыми днями раскладывала кусочки ткани, мастера из них распашонки и прилаживая их к своей капусте, а по вечерам нежно уговаривала Ванюшу не капризничать и спать, тихо пела ему колыбельные... Марфа, измученная возней со своим беспокойным сыном, раздражалась на сестру: «Вместо того чтоб впустую, лучше б Данилке моему спела да покачала его часок-другой! А то угомону нет никакого...» Но Февронья не замечала никого вокруг и сетований сестры как будто не слышала.

...Тем временем война своей тяжёлой смертоносной поступью дошагала и до деревни, в которой жили Егорины. Хаты были разграблены, коровы и лошади – угнаны для нужд полка, куры – убиты и за раз съедены голодными солдатами. Егорин-старший, в надежде сохранить у себя Серко, додумался вбить коню в переднее копыто гвоздь. Солдатам он сказал, что лошадь хромает и совсем не сгодится им ни под седло, ни в оглобли. Посмеявшись, те легонько оттолкнули старика и вывели Серко на двор. Свистнув, чтобы конь пошёл рысью, погоняли его так пару кругов. Охромевший внезапно для самого себя, Серко с непривычки сильно припадал на правую переднюю ногу. «Тьфу ты, и впрямь хромый! Маета одна...» – рассудили солдаты, и ушли несолоно хлебавши. Остановившийся конь, поводя ушами, смотрел им вслед.

Счастливый Матвейка, наблюдавший эту сцену из-за угла сарая, выбежал на двор и слёту радостными, неосознанными объятиями вцепился в тулуп отчима. «Здорово ты, батя!» – пробубнил он где-то под мышкой у старика.

После нескольких солдатских налётов в деревне почти не осталось продуктов. Пока счастливы, сохранившие остатки муки в погребах, ещё могли печь хлеб, неудачливые обладатели крайних хат уже варили и ели древесную кору. Наступил мучительный голод и ежедневное ожидание оттепели, весны.

По всей деревне от голода начали умирать дети. Во многих семьях, чтобы хоть как-то продержаться самим, переставали кормить слабеньких да хворых младенцев, и те кричали до своего последнего вздоха... Сердобольные бабы переживали за происходящее и вели разговоры. Судачили об этом и Егорины. Февронья не стеснялась, думали, что она

сейчас как дитё малое – не понимает ничего. Поэтому разговаривали при ней.

Семейству Рони этой зимой пришлось, как и всем, туго. В один из беспросветно пасмурных, холодных дней старший Егорин с самого утра долго чесал в затылке – обдумывал что-то. Наступило время обеда, но какой же это обед на всю семью – три чёрствых кусочка хлеба?! И тогда старик решился. Вышел в сени. Намотал на плечо крепкую верёвку. Прихватил топор. Злобно и отчаянно сверкнув глазами на выскочившую было в сени жену: «Татьяна, не трожь!..», поджал губы и, хлопнув дверью, пошёл к конюшне.

Так у семьи появилось мясо – а вместе с ним и надежда дожить до весны.

Мать семейства, вздыхая и радуясь, принялась хлопотать над приготовлением пищи. Марфа взялась ей помогать. Роня, безучастная ко всему, нянчила свой кочан у окна. И только Матвеюшка забился в угол и всё прятал лицо в рукаве, а когда накрыли на стол и кликнули его, неожиданно выбежал из дому – и не возвращался до вечера.

Пару недель прожили сытно. Скоро конина оказалась на исходе, и вот уже есть стало совсем нечего. Марфа с каждым днём всё хищнее поглядывала на Ронин кочан, вместе с которым та хоронилась в погребе во время налётов. Кочан был маленький и уже затасканный. Но в глазах Марфы это была еда.

Однажды старшая сестра не выдержала и внезапно накинулась на ослабевшую от голода Роню:

– Да отдай ты свою чёртову капустину, в доме есть нечего, погибаем все!!

Внезапно Марфа с каким-то нечеловеческим удесятерённым усилием рванула из Рониных объятий кочан, шмякнула об стол и в несколько нервных движений перепилила ножом пополам.

Что тут стало с бедной умалишённой!.. Они кричала, визжала, вопила, вырывалась из рук матери и отчима. Наконец освободилась и волчицей бросилась к сестре в такой исступленной ярости, что Марфа невольно шарахнулась прочь, выронив нож и забыв про недорезанную капусту.

Зелёные половинки, как неваляшки, покачивались на столе. Роня не стала преследовать сестру и склонилась над ними. Дрожащими руками оглаживала она их, попыталась приставить друг к другу как они были – капуста с мягким стуком развалилась обратно. После очередной попытки Роня, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в край деревянного стола, заплакала.

– Хоронить, похоронить надо. Умер, умер, забрали... Ванечка, Ванятка мой, родненький...

Резким движением горемычная сгребла со стола всё, что осталось от её чада, и, пряча лицо, сильно наклонившись вперёд, выставила перед собой одну руку, прямую как таран, толкнула входную дверь и выскочила без полшубка прямо на мороз, прижимая к животу другой рукой две капустные половинки.

...Глухая к уговорам матери и к извинениям раскаявшейся сестры, Роня с остекленевшим взглядом коченеющими руками упорно раскапывала снег, выпавший на метровую глубину. Тонкие красивые пальцы без варежек быстро покраснели, потом побелели, и вот уже их было не разогнуть... Но её это не останавливало. Несущие воду в свои дома соседки, видя такое, опускали ведра. Стараясь не пропустить ни секунды

зрелища, как-то бочком пробежали несколько шагов до чужого крыльца – громко звать подружек – и перебежками возвращались – занимать места у оградки.

– ...Роня! Брось! Прости меня! Прости, Роня! – испуганно бормотала выбежавшая на крыльцо Марфа.

– Февроньюшка, деточка, дорогая моя, не надо, кровинушка, не надо... – лепетала за спиной дочери неисправимо верившая в хорошее мать. Ей до сих пор казалось, что всего только её горячее материнское слово, идущее от сердца, окажется способно достучаться до затуманенного рассудка Рони, растопить лёд, сковавший сошедшее с ума от невыразимого горя сердце. И что если этого до сих пор ещё не произошло, значит, просто пока что было сказано слишком мало слов. Слишком мало горячей силы материнской любви было отдано несчастной Роне. Мать не догадывалась, что горе её дочери никак не связано с её, материнскими, силами и не подвластно им, невосполнимо ими. И если бы только могла, отдала бы ей всю свою кровь, всю жизнь. Но не знала, как это сделать...

– А-а-а! – заревела вдруг не своим голосом переставшая извиняться Марфа. – Довели, до белого каления довели... Тут от голода подышаешь, а эта... – она ухватила за косяк распахнувшейся двери и стала стекать по нему медленными рывками.

К причитаниям матери и редкому бормотанию любопытных женщин добавились Марфины плаксивые всхлипы... Все эти звуки слились в невероятную какофонию, до краёв наполнившую собой, накрывшую будто пёстрой лоскутной скатертью чёрно-белый пейзаж улицы.

И на секунду наступила тишина. Бывает такая особая тишина, когда все звуки в одно мгновение утихают, будто нарочно для того, чтобы чья-нибудь готовая вырваться фраза оказалось всеми услышанной. Среди замеревшего на полуслове испуганного шёпота баб, словно железом по железу, лязгнуло:

– Оставь её, Таня, ненормальная она.

Эта простая фраза проколола пространство, как будто гигантским молотком за один мах вбили огромный железный гвоздь по самую шляпку. Выказалась сердобольная старушка Анфиса со склочным, во все встречающим характером, не удержавшаяся от того, чтобы не прояснить положение. Её казалось, если она не скажет сейчас – от её слов разорвёт её саму, да и Таня никогда не догадается о правде, а больше таких смелых, как Анфиса, чтобы сказать ей, среди женщин и не найдётся...

Татьяна промолчала в ответ. Только посмотрела укоризненно и испуганно, будто Анфиса раскрыла сейчас при её дочери тайну тайн, от которой дочка её рискует умереть прямо на этом же месте.

Роня обернулась на громкий голос. Внезапно осмыслившимися глазами посмотрела на баб – сначала сразу на всех, потом обвела толпу глазами поочередно. От её осуждающего, тяжёлого как свинец взгляда каждая поёжилась.

Февронья медленно заговорила. В её словах с плохо сдерживаемой силой откуда-то изнутри прорывалась чёрная буря.

– Я – ненормальная. Я. Ненормальная! А вы-то?.. Вы-то – нормальные?! Бабы, которые новорождённых детей своих в колыбелях умирать оставляют, потому что и так в семье голодных ртов слишком много?! Бабы, которые детей своих наживают до свадьбы, бездумно, а потом – вечными сиротами на чужие пороги подкидывают?! Капуста?!. Пускай

капуста! Но вы... Вы так живого человека полюбить не можете, как я своего Ванюшу капустного любила!! Каждый волосок на его голове по тысяче раз целовать была готова, всю себя ему отдала, только им снова и дышать начала! Вы-то, вы-то – нормальные?! Любить, любить... Вот вы чего не умеете...

Согнувшись пополам, юродивая что-то продолжала бормотать, перемежая слова всхлипами, но уже неразборчиво... Обхватив за плечи, Роню завели в дом. Она еле переставляла ноги.

Её усадили у печки, поближе к теплу. Обмороженные руки удалось отогреть в ушате едва теплой воды. Пытались вытереть ей заплаканные, разгоревшиеся, как при лихорадке, щёки. Но когда мать дотронулась до воспалённой кожи, она как громом поражённая отняла руку и стала креститься. Из бирюзовых глаз Февроньи текли обжигающе-ледяные слёзы...

* * *

До весны дожили тихо. Получили известия о гибели ушедших на войну мужа Рони и мужа её сестры. Марфин Данилка подрос и стал реже плакать. Февронья больше не показывалась на улице.

И только один раз нарушила она собственный придуманный, одной ей понятный запрет.

В тот прозрачно-безоблачный день в окне она увидела пролетающего аиста. Деревянная дверь, удивлённо скрипнув, выпустила затворницу прямо в весну.

...А Февронья бежала босиком по глинисто-коричневым лужам и кричала, впившись двумя бирюзовыми точками в безграничное, бирюзовое высокое небо:

– Аист!! Ты!! Это ты, проклятая птица! Верни мне Ванюшу! Ванечку моего верни!

Анастасия РОГОВА

Родилась в 1980 году в Москве. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького, факультет прозы. Критические статьи и рассказы печатались в журналах «День и Ночь», «Вопросы литературы», «Волга». Работает журналистом, редактором. Живёт в Москве.

ЧЕПЫЖСКИЙ ПЁС

Осеннее утро начиналось медленно. Но солнце пришло, и сразу стало тепло и приятно. Он встал, потянулся и легкой трусцой побежал по Прешпекту. Солнце светило по-летнему, от земли подымался пар. Березы сохранили еще зелень листвы, но местами сверкала позолота. Утренняя свежесть и светозарность Прешпекта, как всегда, наполнили светом и его голову.

Он весело подпрыгнул и понесся по аллее, все увеличивая и увеличивая скорость, пока не оказался перед воротами. Здесь он насторожился – за воротами обычно кучковались собаки, прибившиеся к кафе и магазину. Собаки эти были упитанные, нахальные и задиристые. Азарта связываться с ними у него не было – светлая прогулка по Прешпекту настраивала на благодухный лад, поэтому он повернулся и юркнул на тропку, ведущую к Верховой беседке.

Беседка пряталась между деревьев. Он любил это место – если вскарабкаться по ступенькам, что само по себе не очень-то удобно, то можно увидеть далеко-далеко вокруг. Он забрался наверх, встал, оперся на перила и стал высматривать, где и что происходит.

Ничего особенного не происходило. Утро как утро, но он знал, что именно сегодня, в этот один из первых дней осени, в усадьбе будет происходить нечто, что нарушит размеренный и привычный ритм жизни. Будут люди – очень много посторонних людей. Вообще сюда приходит много посторонних людей, в основном это дети. А есть несколько дней в году, когда посторонних бывает особенно много. И сегодня как раз такой день. Ему не нравилось, когда в усадьбе появлялось так много лишнего народа. Когда он был моложе, он пытался против этого протестовать, хотел выгнать всех этих незнакомцев, которые снуют туда-сюда, всюду заглядывают и шумят, но ему не дали это сделать. Не очень приятное чувство – не быть хозяином в собственной усадьбе, но нужно уметь смиряться с обстоятельствами, это и есть житейская мудрость.

Осматривая окрестности утром, пока еще не начали прибывать люди, он вдруг заметил у нижнего пруда белое пятно, которое двигалось

вдоль берега. Пятно его очень заинтересовало, он быстро спустился на землю и бросился к пруду. Пока бежал, потерял пятно из виду, заметался по берегу, и вдруг увидел – на противоположном берегу крался к воде белый кот. Он хорошо знал этого кота – из множества кошек, расплодившихся в усадьбе, этот белоснежный кот отличался особой надменностью и нахальством, так как являлся любимцем девушки-экскурсовода. Он знал, что вообще все коты, равно как и собаки, и лошади, и чужие люди – неприкосновенны, знал, но все равно надеялся, что рано или поздно ему подвернется случай навести переполох и задать кому-нибудь из них трепку. Коту он с удовольствием задал бы трепку прямо сейчас, но их разделял пруд, в котором холодная затхлая вода была сплошь затянута изумрудной ряской. Прыгать в такую воду не хотелось, а пока обежишь пруд, кот успеет удрать. Кот это тоже прекрасно понимал, поэтому не обращал на него внимания. Кот зачем-то старался подобраться поближе к воде – то ли хотел поймать лягушку, то ли еще что. Смотреть на кота было противно и бессмысленно. Поэтому он побежал дальше, сначала вновь вышел на Прешпект, потом погнал вверх, к большому дому.

По пути он задержался – так приятно было выбежать на вспаханные грядки, упасть на разрытую, прогретую солнцем землю, растянуться во весь рост и поваляться, глядя в небо. От земли шла приятная прохлада. Он перевернулся на живот и едва не уткнулся носом в червяка. Червяк вяло ворочался, пытался зарыться обратно в грядку. Он подумал, понюхал червяка и, неожиданно для себя самого, проглотил его. Во рту остался вкус земли, и был ли это и вкус червяка, он так и не понял. Но уже пахло едой так, как пахло каждое утро, и он бросился бегом к дому, точнее, к летней кухне, где готовили завтрак.

Он успел как раз вовремя, чтобы получить свою порцию. Когда он поел, то задумчиво посмотрел на дом. Наверное, приятно было бы жить внутри, как многие. Хотя, как раз в этом-то доме уже давно никто не жил. Люди поодиночке и большими группами заходили в дом, и выходили из него, но никто из них там не оставался. Дом его давно интересовал, но внутрь он попасть не пытался, после того, как однажды совершил неудачную попытку, закончившуюся полным провалом. Тогда он успел увидеть только темные комнаты с низкими потолками и больше ничего интересного. В доме пахло старыми вещами и было очень холодно. Наверное, там хорошо находиться в жару. Но все же дом продолжал его манить.

Сытость располагала ко сну. Он решил немного подремать и отправился к конюшне. Там под крышей лежало сено, на котором можно было уютно свернуться и без помех отоспаться.

Сквозь дрему он слышал, как на конюшне волнуются лошади, как кричат у реки овцы, потом к этим привычным звукам присоединились детские пронзительные голоса, громкая музыка, топот и шарканье многих шагов, все это навалилось на него, затеребило ему уши, потянуло за них, и сон пропал.

В усадьбе было шумно. Пахло цветами, резиной, одеждой и еще черт знает чем. Он носился по всей территории, принохивался. Осмотрел все. Потом устал и развалился на вспаханной земле. Мимо постоянно проходили люди. Они разговаривали, вертели головами. Некоторые замечали его, смотрели, обращались к нему. А он смотрел на них. По-хозяйски, из-под бровей. Ему было очень выгодно лежать на вспаханной земле и смотреть на людей, которые проходили перед ним,

словно выражая ему свое почтение. С некоторыми из них он встречался взглядом. Юркие и острые глаза людей выражали сходные чувства – им очень хотелось оказаться на его месте. Полеживать на тепло распаханной земле, ожидая, пока не позовут на обед. Бегать, куда хочется, а не куда надо. Но он смотрел на людей сурово. Он их не уважал, потому что они все занимались не тем, чем надо, и он этого понять не мог. Люди с их глупой суетой были ему безразличны.

После обеда целая толпа людей грудилась в одном месте, и собралась в кучу много-много роз и других цветов. Все это сооружение люди потащили в парк. Он не пошел за ними, так как знал, к чему это все приведет – цветы зачем-то навалят на грядку, которая расположена у самого оврага. Это он видел уже давно, когда только появился в усадьбе. Идти к оврагу ему было совершенно незачем, туда редко кто ходил, кроме людей, так как там ничего интересного и полезного не было.

Поэтому он снова побежал к большому дому. Из кухни пахло съедобным. Он уселся рядом с порогом и стал терпеливо ждать. Вскоре появился один из сторожей, заговорил с ним и, разумеется, вынес миску.

Пока он ел, к кухне подошла молодая девушка, экскурсовод. Он знал всех экскурсоводов, рабочих, сторожей, садовников, конюхов, меньше знал других людей, которые никогда не копались в земле или не занимались хозяйством, а сидели в домах. Эта девушка ему не нравилась. От нее пахло резко и противно, она ходила по земле неуверенно и часто спотыкалась, а все потому, что из ног у нее торчали высокие палки. Она все время вертелась, громко и пронзительно смеялась, а главное, обожала белого кота. Она брала это бесполезное и наглое существо на руки, вносила в дом, откуда его самого всегда гнали, и не давала с ним расправиться. Кот прекрасно осознавал свое преимущество и нарочно вертелся на глазах, зная, что его всегда спасут.

Сторож и девушка заговорили; он ел и краем уха прислушивался к звукам их голосов.

– Я все время наблюдаю за этим псом, странный он какой-то, – звучал тонкий женский голос. – И какой он огромный, черный. Совсем не похож на наших остальных собак. Появляется утром неизвестно откуда и пропадает вечером. Где он живет? Может, он чей-то?

– Да нет, ничейный он, тут отирается, я его давно знаю, – отвечал мужской, спокойный, приятный голос. – Он здоровый, в стае не бегает, одиночка. Но с нашими собаками вырос вместе, свой у них. А с теми, которые у магазина живут, у них война.

– А куда он по ночам убегает? – снова заговорила девушка. – Ни разу его тут вечером не видела.

– Да я знаю, – тянулся мужской голос, который так приятно было слушать, особенно приятно, когда ешь, – я как-то раз вечером ехал на Буяне с полей, со стороны Чепыжа, и он мне по дороге попался. В Чепыж бежал. И я потом его соследил – в Чепыж он на ночь уходит.

– А почему?

– Кто ж его знает? Собака, кто его поймет.

Он доел, вскинул голову и посмотрел на сторожа. Ему очень нравился этот человек. Иногда он приходил к конюшне, или к сеновалу, или к домику обслуги – туда, где мог его встретить, садился поблизости от него и смотрел, как этот крупный мужчина работает. А в перекур он подходил иногда совсем близко и разрешал трепать себя по ушам и гладить. Но делал он это только тогда, когда никого рядом не было. А здесь вертелась девчонка, от которой противно пахло какой-то приторной

дрянью и у которой был противный высокий голос и шерстинки белого кота на пальто. И которой тоже очень нравился этот крепкий и спокойный человек. Но человеку девчонка не нравилась, ему нравился большой черный пес, который иногда приходил к нему помолчать.

Он повернулся и побежал прочь. За дом, сначала по тропинке, потом свернул в лесок. Бежал быстро, наперегонки с сумерками.

Уже в полумраке он добрался до зарослей кустарника, нырнул в лазейку и пробрался до своего логова – среди густо сросшихся кустов, старых сучьев, сушняка. Эту берлогу выстлали мягкие мертвые листья и хвоинки. Дождь сюда не попадал, и спать здесь было одно удовольствие.

Он положил голову на лапы и прикрыл веки. Он видел перед собой темноту, в которой его глаза различали далекие контуры усадьбы. И лес вокруг, и дышащую грудь освобожденных от посева полей.

В усадьбе гасли огни. Темные дома замирали. Только кое-где острая искорка указывала, что сторожа не спят, а рабочие по каморкам смотрят телевизор. Но он видел только большой господский дом. Сквозь дрему и тьму смотрел он и видел то, чего не видел никто, кроме него: как загораются в окнах дома свечи, как льется из окон живая музыка рояля, как детский смех звучит во всех комнатах, как танцуют тени людей, как выходят на балкон то мужчины с трубками, то женщины в светлых платьях, как дом весь становится живым и теплым, и вот он уже входит в двери и бегут ему на встречу маленькие ножки, и встречают его возгласами радости, а наверху звенят приборы и голоса гостей зовут хозяина присоединиться к веселому застолью в его открытом доме...

Николай КРАЕВ

Родился в 1956 году в посёлке Керженец Борского района Горьковской области. Окончил среднюю школу. Служил в армии. Работал лесником, вздымщиком, трактористом, кочегаром. Это первая публикация его рассказов. Живёт в посёлке Керженец.

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

Солнце играло в светло-зелёной листве густых тополиных веток. Валерка бодро шёл по летней утренней улице посёлка, и солнце бежало рядом с ним, мелькая в просветах листвы. Он невольно улыбался, настроение было что надо. Успел искупаться на ближайшем водоёме, в несколько больших глотков выпил целый литр парного молока. Мать специально поставила после утренней дойки.

Он впервые спешил на станцию, где собирался рабочий люд для отправки по узкоколейной железной дороге на торфяные поля. Валерка родился и вот уже семнадцать лет жил в этом небольшом рабочем посёлке, вся жизнь которого связана с добычей полезного ископаемого – торфа. Начиная с мая и кончая сентябрём, когда солнце сушило торф, шёл сезон – самое горячее время. Все взрослое население, его отец тоже, работало на полях. Если погода позволяла, добыча торфа велась круглосуточно. Валерка с малых лет привык к постоянному далёкому урчанию тракторов и к облакам коричневой пыли, вздымающимся где-то у горизонта над осушенными и разработанными болотами.

Позади школа, экзамены, выпускной бал. В это время большинство его одноклассников, особенно девчонки, бурно обсуждали предстоящие поступления в техникумы и институты, уже заранее боясь приёмных экзаменов. Но Валерка, трезво оценив свои возможности, решил не дёргаться. Всё равно ему с тройками и редкими четвёрками в аттестате ничего не светило. По этой причине выглядел он среди сверстников самым спокойным. Про себя размышлял: «До армии поработаю, а там видно будет». Наверное, с его стороны это было легкомысленно, но Валерке казалось, что ещё вся жизнь впереди, и она, конечно же, сулила ему множество всяческих благ в какой-то туманной, не близкой перспективе.

У маленькой кирпичной станции толпился народ. Все ждали самоходного вагона. Валерка стеснялся, робел перед людьми, хотя, конечно же, он многих знал хорошо: всё-таки в одном посёлке живут. Не совсем

ещё свыкся с новой в этой жизни ролью рабочего человека. До этого он был просто мальчишкой, школьником, теперь же ему надо наравне со всеми рано вставать и приходить сюда, на этот плотно утоптаный десятками ног пятак около станции.

Вагон зелёного цвета подошёл, и рабочие с шутками, беззлобными перебранками, не спеша, затолкались в его прокуренное нутро. В середине вагона оставалось небольшое свободное пространство. Здесь обосновались самые заядлые картёжники. Езды-то предстояло десять-пятнадцать минут, но они умудрялись несколько раз перекинуться в три карты на мелочь. Случалось, что за это короткое время эти деньги перекочёвывала из одних карманов в другие. Не оставалось даже на то, чтобы заплатить за обед. Но проигравшие не унывали, пообедают на бесплатные талоны, которые ежедневно, в разгар сезона, выдавались трактористам.

Валерке нравилось чувствовать себя причастным к большому, важному делу. Он знал, что сухой торф отправляется на электростанцию, дающую людям тепло и свет. Часть торфа, слегка просушенного, шла на удобрение малоплодородных земель ближайших совхозов, в частные хозяйства. Читал, что в Японии торфяную массу пропитывают смолами, прессуют и изготавливают мебель. Но ведь это Япония...

Валерка пробился через тамбур к ближайшему сиденью и стал с интересом наблюдать за всем, что происходило. А посмотреть было на что. Занимая чуть ли не два сиденья громоздко высилась тучная фигура начальника поля Василия Степановича Киселёва. Первое впечатление от встречи с новым руководителем у Валерки осталось не самое хорошее. Впрочем, как он убедился в дальнейшем, Василий Степанович со всеми был одинаков. Наверное, природа его раздражительности и порой несдержанности была связана с болезнями и крайне излишней тучностью.

Все к тому же знали, что в посёлке только у двоих из бывших фронтовиков имеются солдатские ордена Славы: у него и у плотника, старика Никанорова, человека с заметным шрамом от челюстно-лицевого ранения. Нечасто рядовых такими орденами награждали.

Все в поселке знали, как в позапрошлом засушливом году, когда пожаром охватило торфяные поля и окрестные леса, Василий Степанович из огня вывез на тракторах людей, всю смену, спас технику, распорядившись притопить в водоеме. Их уж в поселке считали погибшими, а они вырвались из огня, никто не пострадал. Помогли опыт и хладнокровие Василия Степановича, он вообще говорил мало, отрывисто, не любил повторять и рассусоливать. И его слушались, ценили. Это потом он скажет нахлынувшим корреспондентам: «Было положение страшнее, чем на войне, но все-таки не безвыходное».

Тогда в конце августа случилась настоящая природная катастрофа. Пожар за несколько дней смахнул не только лес на многие километры вокруг, но и целый рабочий посёлок по соседству, пострадали села. Родной Валеркин посёлок удалось всем миром отстоять, правда, при этом всё-таки сгорело несколько частных домов и сараев. Посёлок выстоял, люди смогли собраться воедино, да и техники было достаточно. Погорельцам выстроили дом, и они, залечивая раны, с трудом, но призывали жить в квартирах.

В гуще рабочих привлекала к себе всеобщее внимание Дашка Тихомирова, невысокая, плотно сбитая сорокалетняя женщина. От неё года два-три назад ушёл муж, с другой женщиной уехал куда-то в дальние

края, и теперь она жила вдвоем с хулиганистым сыном-подростком. Дашка отличалась бойким, задорным характером и никому не давала спуска. По этой причине с ней никто не рисковал связываться. Она любого заговорит и кому угодно даст отпор. Эта женщина, даже если её никто не трогал, всё равно находила объект для своих острот.

Вот и теперь она прицепилась к мастеру Андрею Ивановичу Кириллову. Это был спокойный немолодой мужчина с добрыми глазами, увеличенными выпуклыми стёклами старинных очков. Рядом с ним на лавочке примостилась опрятно одетая женщина, его жена Вера. По-иному, несмотря на возраст, её никто не называл, даже такие вчерашние мальчишки, как тот же Валерка. Она и в самом деле смахивала на слегка поседевшую, с мелкими морщинками вокруг губ и глаз, девочку-подростка с бледно-голубыми глазами, наивно смотрящими на белый свет.

Эта пара выделялась преувеличенной, как казалось многим, заботой друг о друге, что почему-то являлось поводом для насмешек. Ну а уж Дашка тем более не могла упустить такую возможность в очередной раз почесать свой неугомонный язык при виде этих двоих.

– Ах, Андрей Иванович! До чего же ты мужик внимательный, заботливый. Повезло Верке, ей-богу, повезло! И за что ей такое счастье? Вот мне бы такого муженька – никаких бы забот не знала! Поглядишь на вас со стороны: ровно два голубка, воркуют друг подле друга, пёрышки прихорашивают. Она ему рубашку поправит, воротничок разгладит, а он ей – кофточку. А сам, поди, глазами из-под очков по сторонам стреляет – кого бы помоложе да поглаже пощупать. Ведь у Верки-то что спереди, что сзади ничего не выделяется – доска доской, одним словом. Брось ты её, Андрей Иванович! Переходи ко мне. А уж я тебя уважу! Я ведь не слепая, вижу, как ты на меня исподтишка глаза пялишь. Вчера вот, например, в душевой за мной подглядывал через щёлку в стене. Что? Скажешь, не было этого? Было! Приходи сегодня ко мне вечером. Я тебе такой стриптиз изображу, что ты сразу позабудешь про свою худосочную жёнушку.

И, наверное, для того чтобы подтвердить превосходство своей фигуры, Даша неожиданно поднялась с места и взгромоздилась на колени к смущённому мастеру.

Рабочие в вагоне сначала лишь слегка посмеивались над ее проделками, но тут не выдержали, разом дружно расхохотались.

– Нет, Андрей Иванович. Не приходи ко мне сегодня. Неудобный ты для меня человек. Вот сижу я у тебя на коленях и сползаю, как на салазках. Что-то слишком ровно всё – ни сучка, ни задоринки. Зацепиться не за что. Я, пожалуй, найду кого-нибудь помоложе, поершистее.

Рабочие смеялись, Андрей Иванович тоже добродушно посмеивался, покачивая головой и молча разводя руками, мол, что с этой Дашкой поделаешь. Она кого угодно в конфуз введёт.

Но чаще всего Валеркин взгляд останавливался на лице Линды, поварихи, которая недавно появилась в вагончике полевой кухни. Она приехала в эти края с бригадой украинских лесорубов. Один из них, высокий черноволосый молодой мужчина, был ей то ли мужем, то ли сожителем.

Сама же Линда, судя по характерному тягучему акценту, родом из Прибалтики. На вид ей лет двадцать – двадцать пять.

Самоходный вагон, покачиваясь из стороны в сторону и постукивая колёсами на стыках рельс, подошёл к полевому стану. Рабочие не торопясь направились к большому деревянному строению. В нём

располагались комната для слесарей-ремонтников, конторка, душевая. Над всем этим в целях пожарной безопасности была надстроена башня с конусообразной крышей, своего рода наблюдательный пункт.

Валерка вслед за начальником поля зашёл в конторку и молча стал ожидать дальнейших распоряжений. Киселёв грузно уселся на стул, какое-то время шуршал бумажками и, наконец подняв глаза с красноватыми прожилками, по обыкновению, раздражённым тоном произнёс:

– Пойдёшь на стажировку к Дашке Тихомировой. Покатаешься с ней недельку. По ходу дела освоишь свои обязанности, невелика премудрость. Вот тебе книжка с правилами по технике безопасности. Потом мы тебя с главным механиком проэкзаменуем. Когда всё усвоишь, будешь работать самостоятельно. Всё. Теперь иди на своё рабочее место.

Дашка Тихомирова крутилась возле своего гусеничного трактора ДТ-75Б. Валерка подошёл к ней:

– Меня направили стажироваться...

Дашка презрительно фыркнула:

– Только этого ещё мне не хватало – с молокососом возиться. Ладно. Бери ведро и иди на заправку за бензином.

Сняла с переднего тракторного фонаря измятое железное ведро и протянула ему. Валерка без лишних слов взял ведро и направился к заправке. Это была огороженная горбылём территория, на которой располагались прикопанная в землю цистерна для солярки и небольшое кирпичное сооружение. Дверь была распахнута. Валерка зашёл. Среди бочек с дизельным маслом и другими горючими материалами он увидел худенькую женщину с бледным, невыразительным лицом.

– Вот, за бензином пришёл. Дашка Тихомирова послала. Я у неё стажируюсь.

– Вы его пьёте, что ли, этот бензин? Не успеваю наливать. Она же вчера приходила! Наверное, своему сыночку, обормоту, в мотоцикл отливает.

Немного помолчав, заправщица всё же смягчилась:

– Ивана Кораблёва сынок? Хороший мужик, работающий. Давай ведро, налью пару литров, не больше.

Бензин залили в небольшой бачок, и Дашка с силой рванула шнур на себя. Пускач тут же завёлся, и его громкое однотонное урчание разлетелось на всю округу. Задышал двигатель. Дизель заработал ровно и при этом внушительно, как будто бы чувствовал свою немалую мощь. Дашка посмотрела на Валерку с нескрываемым превосходством.

– Запомнил, как надо заводить трактор? Повторять не стану. Некогда мне с тобой возиться. Меня работа ждёт.

Валерка промолчал, с раздражением подумав про себя: «Нашла чем хвастаться. Думает, что я в этом деле ни в зуб ногой».

Надо сказать, что Валерке приходилось иметь дело с техникой. Он помогал своему отцу заготавливать сено для коровы, дрова для двух печек в доме, и всё это вывозили на гусеничном тракторе. Отец сам управлял трактором, да как управлял – для его трактора не было непроезжих дорог, непроходимых лесных речек. Ещё бы, ведь в войну он командовал танковым расчетом! Иногда отец доверял посидеть за рычагами подрастающему сыну.

Дашка забралась в кабину работающего трактора. Валерка уселся рядом с ней на мягкое, но грязноватое от пыли дерматиновое сиденье. Мелкая торфяная пыль коричневым слоем покрывала всё вокруг: и же-

лезный пол под ногами, и стены, и приборную панель, и смотровые стёкла. Дашка немного протёрла стекло перед собой:

– На мойку сначала заедем, а потом уж ворошилку прицепим.

Валерка имел представление, как устроено торфяное поле. Прошлым летом он и его приятель-одноклассник устроились на временную работу. Они помогали местному геодезисту, неразговорчивой и малосимпатичной женщине по имени Наталья. Таскали за ней по лесам и болотам теодолит со штативом и полосатую линейку-вешку. Ох и набегались они тогда по жаре с комарами и слепнями! Мальчишки обливались солёным потом и без конца пили тепловатую воду, а Наталье хоть бы хны! Идёт себе и идёт, только ноги мелькают в синих рабочих штанах и кирзовых сапогах. Недаром к ней издавна прицепилось прозвище «Лосиха».

Сначала разведка залежей торфа. Потом болото осушается. Роют экскаваторами множество канав, больших и малых. Из любого болота обязательно где-то вытекает лесная речушка. Она углубляется, и в неё потом постоянно уходит лишняя вода. Вся система должна работать чётко и бесперебойно, чтобы не происходило повторного заболачивания.

Специальными мощными агрегатами перемалывают чахлаю болотную растительность и выбирают из болотистой почвы крупный пенёк. Раньше, рассказывают старожилы, было много ручного труда, вербовались на корчевку пня десятки деревенских девушек, за сезон они могли неплохо заработать. Сейчас работает техника. Верхний пласт торфа сначала фрезеруют, то есть измельчают фрезбарабанами, потом торф сохнет под жарким солнцем. Его несколько раз шевелят специальными ворошилками, чтобы лучше просыхал. Следующим этапом местное полезное ископаемое собирают в ровные валки валкователем. И вот тут в ход идут машины для уборки торфа. Это такие объёмные прицепы к тракторам, которые подбирают весь высушенный торф из валков в своё железное нутро. Уборочные машины, наполнившись до отказа, вываливают свою добычу около «караванов» – огромных продолговатых торфяных куч. Там свою работу выполняет агрегат с длинной стрелой, по которой постоянно движется многоступенчатая лента. Она захватывает торф и поднимает его наверх. Караваны растут и в ширину, и в высоту и достигают к концу сезона внушительных размеров. Это непрерывный процесс в течение весны, лета и осени, пока позволяет погода.

Умывшись, трактор стал как новенький. Вода стекала с жёлтой кабины на широкие, для болот, гусеничные траки, отсвечивающие металлическим блеском от постоянного трения о грунт.

Дашка задним ходом аккуратно подогнала трактор к ворошилке. Валерка выпрыгнул из кабины, чтобы прицепить. Для этого требовалось направить тракторную «серьгу» точно на кольцо прицепа и соединить их шкворнем – толстым металлическим штырём. Подобную сцепку пареньку приходилось не раз проделывать и раньше, так что с этим он справился легко. Дашка одобрительно кивнула головой в заднем окошке, и Валерка ловко запрыгнул обратно в кабину. Поехали!

Потом они до обеда мотались по секторам и картам со своим широким, неповоротливым прицепом.

Сектор – это часть разработанный площади. Она, в свою очередь, делился на карты – широкие, длинные полосы, разделённые канавками. Вот по этим-то картам и ползали взад-вперёд тракторы, фрезеруя, вороша, а затем и собирая готовый торф. В общем, работа не особо сложная, но утомительная, пыльная, да еще эта жара, липкий, едкий пот стекает ручейками по всему телу, заливает глаза...

К полудню все рабочие собирались около железного вагончика-столовой, откуда доносились дразнящие запахи кухни.

Молодёжь, раздевшись до пояса и фыркая от удовольствия, плескалась под прохладной струёй ручного водяного насоса, кто-то один качал воду, а другой – умывался.

Валерка с разбега бултыхнулся в тёмную, нагретую жарким солнцем воду. Это было настоящим блаженством! Он поплавал в водоеме туда-сюда, потом у берега принялся руками энергично, со всех сторон, смывать с себя торфяную грязь и солёный пот.

У окошка раздачи он наблюдал за молодой поварихой с непривычным для этих мест именем Линда. Та, раскрасневшись от кухонного жара, выглядела так привлекательно, что многие молодые мужчины откровенно заигрывали с ней.

Особенно усердствовал в этом слесарь-сварщик Анатолий Кирпичёв, мужчина лет тридцати. Валерке он был хорошо знаком, как и большинство жителей родного посёлка. Он казался ему малосимпатичным из-за грубоватого поведения. Анатолий был среднего роста, поджарый, смуглый, свитый из сухожилий и мышц, без единой капли жира, словно его долго и основательно высушивали на солнце. Наверное, он мог бы вызывать к себе интерес, если бы не его глаза – острые, злые, отталкивающие. Во всём положительном он всегда находил что-то плохое. Понятия добра и зла как будто слились в его сознании, и зло явно преобладало.

Через неделю Валерка, сдав экзамены по технике безопасности, встал, как говорится, на самостоятельную стезю. Ему дали гусеничный трактор, внешне такой же, как у Дашки, но требующий небольшого ремонта. Для начала пришлось выкинуть один трак из гусеницы, которая сильно провисла и уже не подтягивалась.

По этому поводу немолодой уже, лет пятидесяти, слесарь дядя Петя Лагутин то ли в шутку, то ли всерьёз поинтересовался у новоявленного тракториста:

– Ты с велосипедом или мотоциклом дело имел? Когда цепь растягивалась, ты что делал? Правильно. Звено выкидывал. Тут, парень, такая же петрушка, только ключ пошире да молоток потяжелее.

Ключ для натяжки гусеницы оказался большим и увесистым, а вместо молотка – кувалда, которой пришлось выбивать палец, соединяющий между собой тяжёлые плоские траки. Слесарь Лагутин помог Валерке отрегулировать сцепление и тормоза. Заменили нерабочую свечу зажигания в пускате, добавили дизельное масло в картер, прочистили воздушный фильтр, залили воду в радиатор и, наконец, завели двигатель.

Валерка залез в кабину и испытал свой трактор на ходу, делая крутые развороты почти на месте то влево, то вправо. Рычаги и педали исправно работали, а гусеницы не слетали со своих мест.

– Ну что ж, работать можно, – подвёл итог дядя Петя. – Ты, главное, парень, не тушуйся. Следи за маслом, вовремя заправляйся соляркой, не ленись продувать воздухоочиститель, и всё будет как надо.

Он постепенно втянулся в новый для себя ритм жизни. С утра он наладил ездить на торфяное поле на отцовском мотоцикле, стареньком, но надёжном Иж-49.

Валерке ещё не исполнилось восемнадцати, и он заканчивал работу на час раньше. При этом отправлялся не домой, а на сенокос. Траву Валерка и его отец косили на старых, давно заброшенных торфоразработках и по обочинам канав, густо заросших метликой, иван-чаем и

сочной ярко-зелёной осокой. Отец работал на другом, отдалённом от посёлка, торфяном поле и приезжал на сенокос позднее, уже под вечер, и Валерка один часок-другой косил, сушил и собирал сено в небольшие аккуратные копны.

После прохладного душа в конце рабочей смены, когда разгорячённое тело освобождается от пота и пыли, накопленная за день усталость куда-то улечуливается. Дышится легко и свободно, и эта домашняя обязанность не в тягость, а скорее наоборот – в удовольствие. С ритмичными махами косой туда-сюда разминаются все мышцы, и хочется идти и идти, не останавливаясь, вперёд, срезая раз за разом зелёную с золотистыми метёлками траву.

За Валеркой с некоторых пор стал бегать его молодой, полугодовалый пёс по кличке Пират. Как ни отпугивали его, он всё равно увязывался за мотоциклом и, глотая пыль, мчался сзади до самого полевого стана. Там он тоже пытался было бегать за трактором, но очень скоро понял, что занятие это неблагодарное и, более того, опасное для жизни. В конце концов пес нашёл самое благоразумное решение, стал дожидаться своего хозяина в благодатной тени кухонного вагончика, из которого всегда так заманчиво пахло чем-то съестным.

Повариха Линда наверняка подкармливала пса отходами с кухни. Это Валерке не очень нравилось. Появилось что-то вроде ревности, потому что Пират частенько крутился возле неё, умиленно заглядывая в глаза и помахивая лохматым хвостом.

Как-то Валерка остался в послеобеденное время возле слесарной мастерской для ремонта.

Дядя Петя выправлял искорёженный прицеп и, по обыкновению, слегка брюзжал себе под нос:

– Не трактористы, а лётчики какие-то. Врубят седьмую скорость и носятся по всему полю, как сумасшедшие. Нет бы притормозить на повороте. Какая тут техника выдержит? Эх, молодозелено! Никакого соображения. Один ветер в голове...

Сварщик, протянув провода электросварки, заваривал разрывы и трещины в повреждённом железе. Время от времени он приподымал защитную маску над головой и постукивал молоточком, сбивая шлак с готового шва. Валерка крутился рядом, помогая то слесарю, то сварщику.

Но вот ремонт завершён. Все трое уселись кто куда, так сказать, «перекурить». Но, как оказалось, никто из них табаком не баловался, и сидели они просто так, отдыхая и переговариваясь на любые темы, какие в голову придут.

В это время к Валерке подбежал его молодой пёс. Он, как будто бы чувствуя свою вину, уткнулся ему в колени сырым чёрным носом и, легонько покусывая, заюлил всем телом.

– Ну, что, предатель! Променил своего хозяина на кухонные объедки? А, Пират?

Тут Валерка заметил, как через дорогу, разделяющую столовую и слесарную мастерскую, идёт молодая повариха. Она была в лёгком летнем платье, открывающем чуть выше колен крепкие загорелые ноги. Рабочая смена для нее закончилась. Они со своей помощницей, высокой женщиной средних лет, перемыли к этому времени всю посуду, прибрались влевой кухне. Помощница с ведром и каким-то узлом в руках направилась в сторону гаража и уселась там, на скамеечке, в ожидании прихода транспорта.

Линда подошла к нам. Несмотря на прибалтийский акцент, выглядела она далеко не бледной уроженкой Севера. Скорее её можно было принять за жительницу знойного юга откуда-нибудь из Сочи или Анапы. Смуглая, с тёмными, выразительными глазами. Тёмно-русые волосы с золотистым отблеском потоком падали на её загорелые плечи. Да она настоящая красавица, эта самая повариха!

Анатолий Кирпичёв весь напрягся при виде молодой женщины. Валерка давно уже подозревал, что она ему не безразлична. А после одного случая он убедился, что этот неугомонный сварщик просто без ума от неё. Кирпичёв был женат, у него был ребёнок, хорошенькая пятилетняя девчушка с кудрявыми, как у куклы, светлыми волосами. Валерка не однажды встречал странную на первый взгляд пару супругов Кирпичевых на улицах посёлка и в клубе, где почти ежедневно крутили кино. Почему – странная? Да уж очень разные они были и внешне, и по характеру, хотя, как говорят, противоположности притягиваются.

Супруга Анатолия отличалась излишней полнотой. Раньше, до замужества и до рождения дочери, она была обыкновенной, привлекательной и стройной девушкой, разве что несколько высоковатой. Характером выдалась в своего отца, крупного и покладистого мужчину, который старался избегать любых конфликтов с окружающими. После родов, вероятно, в её организме произошёл какой-то гормональный сбой, и она быстро набрала вес. Надо сказать, Наталья (так звали жену Кирпичёва) просто обожала своего ненаглядного Толика. А этот Толик, находясь под градусами, постоянно ввязывался в ссоры, а порой и в драки с такими же поддатými мужиками, Наталья как будто бы ослепла от любви и ничего не замечала или – не хотела замечать? Кто знает, что происходило в её душе.

Однажды, совершенно случайно, проходя мимо открытых дверей вагончика-кухни, завешенных марлей от мух и комаров, Валерка услышал странный диалог между поварихой и сварщиком Анатолием:

– Уедем куда-нибудь подальше отсюда, завербуемся на Север. В золото тебя наряжу.... Работать буду как проклятый, сварщик я первоклассный. Бросай ты своего хохла. Кто ты ему? Никто! А мы с тобой поженимся и жить будем как люди.

– Убери руки, слышишь! Да ты мизинца одного его не стоишь! Вот скажу ему: с какими речами ко мне подъезжаешь, он тебе все ноги переломает, – испуганно и вместе с тем сердито отвечала ему повариха.

– Ну, это мы ещё посмотрим – кто кому, – хвастливо продолжал Анатолий. – У меня сил на троих таких, как твой, хватит.

Послышался звук громкой пощёчины. Зазвенели упавшие ложки и тарелки. Валерка испугался, что его застукают, и поспешил отойти от вагончика. Анатолий почти тут же вылетел из-за марлевой занавески и с красным, как мясо варёного рака, лицом торопливо прошёл мимо Валерки, вполголоса зло, не выбирая слов, выражаясь в адрес поварихи.

Линда остановилась напротив Валерки. Пират оторвался от хозяина и подбежал к ней, повиливая хвостом, но потом, как будто бы одумавшись, снова вернулся к его коленям. Повариха, улыбаясь, обратилась к молодому человеку с просьбой, неожиданной и странной, на первый взгляд, для женщины:

– Валерий, разрешите мне прокатиться на вашем мотоцикле? Вы не бойтесь, я умею водить. Меня отец ещё в детстве научил. Правда, я заводить не решаюсь сама, слишком туго, опасаясь обратной отдачи.

Валерка не ожидал ничего подобного и потому несколько оторопел. Зато Кирпичёв тут же принялся зубоскалить:

– Давай, Валерка, свой драндулет кому попало, потом будешь его по запчастям по дороге собирать. Баба – она и есть баба. До первого столба, может, и доедет.

Валерка неожиданно для себя самого согласился:

– Ладно! Сейчас мотоцикл подгоню из гаража.

Слесарь Лагутин удивлённо посмотрел на него, но ничего не сказал, лишь покачал головой.

Он вывел свой Иж, завёл двигатель и, усевшись на жёсткое сиденье, подкатил к Линде. Она уверенно забралась на сиденье, пока Валерка придерживал мотоцикл за газовую ручку, не давая ему заглухнуть, крепко вцепилась в руль, со знанием дела выжала до отказа рычаг сцепления и включила ногой первую передачу. Женщина проехала немного вперёд и тут же врубила вторую скорость. «Ну, сейчас навернётся», – со страхом и запоздавшим раскаянием подумал Валерка. Однако ничего подобного не случилось. Повариха проехала метров двести по широкой, наезженной тракторами дороге, развернулась и на вполне приличной скорости примчалась обратно. При этом её лёгкое летнее платье завернулось на ходу и обнажило полные женские бёдра.

Валерка заметил, как при виде этой волнующей мужской взор картины у Анатолия потемнели глаза и зашевелились ноздри, словно у кровожадного зверя, почуявшего добычу. Да что там говорить! У Валерки у самого заметно усилилось сердцебиение, как будто он только что пробежал стометровку.

– Ну, как? Получается у меня? – подъехав и заглушив мотоцикл, задорно с раскрасневшимся лицом и горящими от пережитого маленького приключения глазами прерывисто заговорила Линда

– Молодец, девка! Утёрла мужикам нос, – одобрил дядя Петя и, собрав инструмент, медленно побрёл в гараж, где была тень, и гулял прохладный сквознячок. Кирпичёв молча последовал за ним.

Линда поставила мотоцикл на подножку, боком уселась на сиденье и стала теребить по лохматой шее вновь подбежавшего к ней Пирата. Молчание затянулось. Валерка чувствовал неловкость, но не знал, о чём разговаривать с этой хотя и молодой, но старше его на несколько лет, женщиной. Первой заговорила она:

– У моего отца тоже был мотоцикл. Мы жили тогда всей семьёй в лесном хуторе. Отец возил меня и мою младшую сестру в школу в большое село, за пять километров, на своём мотоцикле. Тогда-то я и уговорила его научить меня управлять мотоциклом. Хорошее время тогда было!

– А как ты здесь-то оказалась? – любопытствовал Валерка, но тут же спохватился, подумав, что не его это дело. Повариха и не собиралась выворачивать перед ним душу и только лишь неопределённо махнула рукой: – Так уж получилось...

Видно, вспомнив что-то не очень приятное из своей биографии, она заметно погрустнела, слезла с мотоцикла и, поправив платье, зашагала к своей помощнице, одиноко сидевшей вдали на скамейке.

По вечерам Валерка, как и многие его односельчане, посещал поселковый клуб, чтобы провести время за игрой в шашки или домино и посмотреть очередной художественный фильм. Вот и сегодня, судя по афише, собирались крутить интересное кино. Хорошенько промыв

волосы, Валерка оделся во всё чистое, относительно новое и, вполне довольный своим видом, отправился в клуб.

Фильм привезли двухсерийный, индийский, и по этому случаю народу в клубе и на улице перед ним собралось немало. Наши люди любят всё иностранное, в том числе слезливые индийские фильмы. Наверное, привлекают яркие, непривычные картины чужой, совершенно иной жизни с зажигательными танцами и заунывным пением под аккомпанемент незнакомых музыкальных инструментов. Женской половине, конечно же, подавай неземные страсти, чтобы к концу фильма обязательно пустить горючую слезу.

Валерка ещё издали рассмотрел Линду в обществе украинских лесорубов. Она стояла рядом со своим сердечным другом. Это был степенный, высокий, крепкого сложения молодой мужчина с длинными чёрными усами, тянущимися по бокам бритого подбородка с заметной ямочкой посередине. Он с первого взгляда вызывал к себе уважение. Недаром именно он руководил бригадой, прибывшей в эти края для спешного спиливания подгоревших лесов, пока их окончательно не испортил жук-короед, откуда-то издалека.

Посмотреть индийский фильм пришли и супруги Кирпичёвы. Анатолий был заметно навеселе, все бордовое и злее становилось его лицо. Он только и искал повода, чтобы к кому-нибудь придраться. Хорошо знавшая неистовую натуру своего супруга, жена Наталья то и дело старательно одёргивала его.

Небольшой зрительный зал был наполнен до отказа. Валеркино место в ряду оказалось позади Анатолия, а его – позади высокого, широкоплечего бригадира пришлых лесорубов. Погас свет, и на белом квадрате экрана замелькали первые кадры занимательного зрелища. Кирпичёв, давно искавший причину затеять ссору, наконец-то её нашёл и, нисколько не стесняясь многочисленных свидетелей:

– Эй, ты! Убери голову! Ничего из-за тебя не видно! – то и дело тыкал он в спину сидящего впереди мужчины.

Тот оглядывался, но терпел, не отвечая на явную грубость и старательно пытался опуститься пониже.

Зрительный зал в клубе не имел наклона, потому что одновременно служил и танцплощадкой. С этим неудобством все давно уже смирились. Однако пьяный сварщик никак не успокаивался. Наталья пыталась его урезонить, но, похоже, того окончательно понесло.

Валерка, конечно же, догадывался, что главной причиной раздражения Кирпичёва был всё-таки не сам лесоруб, а сидевшая рядом повариша Линда, которая в своё время дала ему отпор.

Анатолий в полный голос продолжал донимать соседа:

– Свои леса смахнули, теперь за наши взялись. Кино смотреть не даёте. Мотайте все отсюда в свои края! Кто вас звал!

Соседи стали громко шикать:

– Эй, вы там! Успокойтесь, наконец-то! Не на базаре – фильм идёт!

Линда придвинулась головой к своему кавалеру и шепнула:

– Пошли отсюда. Всё равно ведь не отстанет.

Длинноусый парень попытался возражать, но потом, видимо, согласился с ней, и они, стараясь не шуметь, поднялись со своих мест и двинулись к выходу.

Кирпичёв неожиданно тоже встал и последовал за ними.

Валерка чувствовал, что добром это не кончится, и зачем-то тоже покинул зрительный зал.

То, что произошло дальше, потом долго не укладывалось в его голове.

Взбешенный Анатолий подлетел к бригадиру и неожиданно резко, изо всей силы ударил того костистым кулаком по лицу. Удар был подлый, и усатый хохол его совсем не ожидал. Мужчина зажал ладонью скривившееся от острой боли лицо. Валерка видел, как между пальцев потекла алая липкая кровь.

– Сволочь! Урод! Ты что наделал! – закричала повариха и бросилась помогать своему приятелю.

– Я сказал – уделаю! Вот и уделал! А ты не верила! – пританцовывая на месте со сжатыми кулаками, злорадствовал Кирпичёв.

Из клуба запоздало выбежала его жена Наталья и запричитала:

– Ой, матушки! Толя! Что же ты наделал? Тебя же, дурака, опять посадят!

Надо сказать, что Анатолий Кирпичёв уже отбывал срок года три-четыре тому назад. Ему дали тогда год за хулиганку. Но, видимо, это не пошло ему на пользу.

Линда достала носовой платок и попыталась остановить кровь на лице своего друга. Они вдвоём медленно направились в сторону местной больницы – похоже, повреждение было серьёзным.

На следующий день Кирпичёв, как ни в чем не бывало, приехал вместе с другими рабочими на торфяное поле. В небольшом посёлке новости разлетаются мигом, и все уже были в курсе новых «подвигов» неугомонного сварщика. Кто-то посмеивался по этому поводу, а кто-то неодобрительно покачивал головой.

Сам же Анатолий был явно не в духе. Возможно, страдал от похмелья, возможно, чувствовал, что вчерашняя дикая выходка не пройдёт ему даром, а скорее всего – и то и другое.

Валерка заливал в радиатор трактора воду из ближайшего водоёма, когда заметил, как к гаражу лихо подкатил на своём новеньком «Урале» местный участковый Владимир Миронов. Его подтянутая, молодцеватая фигура излучала отличное здоровье и полную уверенность в своих силах.

Участковый числился сразу за тремя рабочими посёлками, ему частенько приходилось перебираться из одного населенного пункта в другой, из другого – в третий. Но это Владимира, похоже, нисколько не тяготило, потому что он всегда выглядел свежим и бодрым. Мундир сидел на нём как влитой, сапоги блестели, лицо с аккуратными чёрными усиками гладко выбрито, а затылок под форменной фуражкой – ровно и коротко подстрижен.

– Здорово, земляки! – громко поприветствовал он рабочих, стоявших у гаража.

– Здорово, коль не шутишь! – кто-то ответил ему. Дашка Тихомирова подошла к капитану, шутливо отдала ему честь, подняв ладонь к виску, и озорно спросила:

– Ты, Володя, случайно не за мной приехал? А то я всегда готова к тебе под арест суток так на десять.

Рабочие засмеялись очередной Дашкиной шутке. Миронов тоже улыбнулся сначала, но потом произнёс уже вполне серьёзно:

– Да нет. Мне нужен Кирпичёв Анатолий. Где мне его найти?

– Да где ж ему ещё быть, как не в своём убежище? В слесарке сидит, наверное, – предположила Дашка. – Как уйдёт туда с утра, так и не показывается до обеда, если сварочных работ нет. А сам он на работу

никогда не напрашивается. Лежит-полёживается у себя на топчане. Хотела бы я так же поработать без пыли, без шума, в тенёчке, с журнальчиком в руке. Благодать! Только сегодня он что-то квелый.

Участковый в сопровождении особо любопытных направился к неказистому дощатому строению, где, действительно, на топчане возлежал Кирпичёв. Глаза у него закрыты, но веки подрагивают. Одной рукой прикрыл лоб, словно защищаясь от чего-то – голова наверняка болела.

– Вставай, Анатолий! Со мной поедешь.

– Это куда? По какому праву? – взвился было Кирпичёв, вскочив с топчана, но тут же сник, вдруг окончательно осознав, что дела его плохи.

– Бумага на тебя пришла о нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Бондаренко А.О., – усмехнувшись в усы бодро, почти весело сообщил капитан. – Ты зачем мужику челюсть сломал в двух местах и, главное – за что? Ведь он, как говорят, тебя и не трогал вовсе. Ну, теперь, учитывая твою прошлую судимость, ты так легко не отделаешься – года три, не меньше. Собирайся, поехали! Оформлять тебя буду.

Валерка наблюдал издали, как враз поникший и ссутулившийся Кирпичёв усаживался в синюю коляску мотоцикла. Милиционер с первого же толчка завёл «Урал», вскочил в седло, и они умчались, сопровождаемые клубами лёгкой торфяной пыли.

Люди у гаража не расходились.

Дашка Тихомирова то ли с иронией, то ли всерьёз затараторила:

– Тут неземной любовью попахивает, страстью к женщине.

– Знаю, чем пахнет, – дерьмом! – откликнулся рассудительный дядя Петя Лагутин. – Жили себе люди, не тужили, никого не трогали. Квартировали мирно. Никто об них плохого слова ни разу не сказал. Занимались своим делом, труженики они. Нет! Влез в чужую жизнь, как в чужой дом, натоптал и нагадил. Вот как я понимаю! А ты говоришь страсть – некуда класть...

В это время из своей конторки выбралось грузное тело начальника поля Василия Степановича Киселёва.

– Это что тут за сборище такое? Новгородское вече, тоже мне! Вам что, делать больше нечего?! А ну-ка марш все на работу!

Грозного начальника не только уважали, но и слегка побаивались. Не часто, но бывало – возьмет в руки палку и шархнет по спине какого-нибудь задремавшего в рабочее время бездельника. Но никто не жаловался. Киселёв – начальник строгий, но справедливый, и дисциплина у него железная. Киселёв подозвал к себе мастера Андрея Ивановича Кириллова и хмуро поинтересовался:

– Повара сегодня у нас нет? Как людей кормить будем?

– Помощница одна управится на этот раз. А так – надо узнавать: будет, не будет дальше работать повариха, – с готовностью доложил мастер. – Кстати, теперь мы ещё остались и без сварщика – тоже нужна замена.

Линда так больше и не появилась на полевом стане. На её место прислали новую повариху, хорошо известную всем Полину, женщину неопределённых лет, по слухам, страдавшую запоями, но между ними – хорошую кухарку.

В один из августовских дней на маленькой железнодорожной станции появилась неожиданный для Валерки его одноклассница Варя Галкина. Увидев её, он сильно удивился:

– Привет, Галкина! А ты как тут оказалась? Ты же вроде в институт поступала?

Варя как-то сразу стушевалась и неохотно призналась:

– Поступала, да не поступила – не хватило баллов. Вот устроилась к вам учёщицей торфа, но на следующий год буду снова поступать. Я упрямая, от своего не отступлюсь.

– Опять – в педагогический?

– Да. Обязательно – туда.

Перед Валеркой возник образ их классной руководительницы Марии Ивановны. Она преподавала русский язык и литературу. Эта невысокая, сухонькая женщина с добрым и почему-то всегда усталым лицом отличалась между тем твёрдым характером. Она не притворно, а по-настоящему искренне переживала за своих воспитанников. Старшеклассники ценили её, хотя иногда между собой по-доброму посмеивались: для учителя изящной словесности Мария Ивановна была несколько косноязычной. Например, она любила цитировать М. Горького: «свинцовые мерзости». Однажды Валерка для интереса подсчитал количество этих повторений за один урок. Получилось не менее двадцати раз.

Зато она была хорошим организатором. Под руководством Марии Ивановны ребята посещали музеи и театры в областном городе, ездили по «Золотому кольцу» и ставили спектакли в местном клубе. А какой выпускной вечер она им организовала! Директор и завуч, которые её недооценивали, вынуждены были признать – это лучший выпускной вечер за всю историю школы. И никто не знал, что у этой женщины с твёрдым характером большое сердце. Почти сразу же после того памятного вечера у Марии Ивановны случился инфаркт, и ей пришлось покинуть любимую работу.

С середины сентября зарядили дожди, сезон добычи торфа закончился. Валерка цеплял к трактору длинные деревянные сани. На них рабочие накидывали жерди, доски и полиэтиленовые трубы и сами потом усаживались сверху. Уезжали в поле ремонтировать полуразрушенные мосты через канавы. Старайся, не старайся в такие дни – всё равно один «голый» тариф в зарплату идёт. Бывало и так, что, забравшись подалее от начальственных глаз, рабочие устраивались на сухом месте и подолгу играли в карты.

Валерка и Варя, как бывшие одноклассники, держались вместе и как-то незаметно сблизились друг с другом.

В октябре Валерке пришла повестка из военкомата. Его, как и троих других, поселковых ребят призывали на срочную службу в армию. Прощайте, родные края, на целых два года!

Сергей КУПРИЯНОВ

Родился в 1959 году в Южно-Сахалинске, окончил Харьковский политехнический институт, по профессии – инженер-механик. Увлекается политикой, историей и кинодраматургией. Публиковался с рассказами в небольших журналах. Живет в Харькове.

НАГАРТАВ

Шум моторов разорвал напряженную августовскую тишину. И по селу прокатилось: «Немцы! Немцы! Немцы!» Разлетелось по дворам, от дома к дому, и стихло, будто утонув, где-то в Весуне. О войне знали. Знали, что она близко, кто-то подался на восток, за Днепр, в основном это были евреи из Нагартавы, небольшого еврейского хутора, который со временем разросся в поселок и примыкал к селу, отделенный речкой. К местным, которые жили и работали здесь, прибавились евреи, бежавшие от войны из-под Винницы и Белоруссии. Навьючив свой скарб на поводья, отправились, как цыганский табор, вмиг потеряв оседлость, нажитое и построенное. Добравшись до Днепра, переправиться не смогли, переправы уже бомбили, а те, что остались, были заняты военными грузами, и беженцев отгоняли часовые. Большинство вернулись назад в Нагартав.

Те, кто остался в селе, отдали мужчин в РККА, надеясь, что они их и защитят и не допустят, чтобы вражий сапог топтал их щедрые сады, серебряную от ковыля степь, пил их весуньскую воду.

Когда авангард колонны въехал в село, жители выходили к дороге посмотреть, какие они, эти немцы, как они выглядят. Колька, выскочив из хаты, помчался на звук моторов, оставляя в теплой и пышной, как мука, пыли свои босые отпечатки. Он вначале бежал навстречу машинам, затем остановился и, замерев от испуга, понесся обратно, через огороды и задние дворы, обгавкиваемый тощими сельскими собаками. Он остановился, спрятавшись за сараем, и из-за угла стал разглядывать движущуюся неведомую силу.

В машинах ехали солдаты вермахта, усталые и запыленные, без интереса смотревшие на унылый, выжженный августом сельский пейзаж. Машины проползли в край села к МТС, остановились. Гул моторов стих и сменился возгласами и перекрикиванием солдат. Жители, не заметив ничего необычного, разбрелись, возвращались к своим занятиям.

Колька вышел из укрытия и медленно побрел к дороге, обжигая босые ноги, подпрыгивая и стараясь ступать на траву.

– Колька, ты чего тут ходишь? – из-за каменного забора выглядывала голова Зойки.

– Ты немцев видала?!

– Тю... видала. У нас офицер будет жить! – Зойка сделала важное лицо.

– Брешешь! – Кольку поразило, с какой значительностью она произнесла это.

– Сам ты брешешь!

– Что? А вот это видала?! – Колька достал из обрезанных широких отцовских портков перочинный нож, раскрыл его и в кулаке покрутил перед Зойкой. – Страшно?

– Только жаб колоть! Ха-ха-ха!

– Ну, я тебе...

Колька попытался залезть на забор, но тут же передумал, потому что в ту же секунду раздался оглушительный Зойкин визг, который стремительно удалялся и затих за хлопнувшей дверью.

– То-то же... – Колька покрутил ножом и пошел дальше.

К сентябрю «новый порядок» понемногу обжился, и местные почти не замечали каких-либо радикальных изменений в своей жизни. Они продолжали заниматься своей повседневной крестьянской жизнью, невзирая на изредка проходящих вялым строем немцев или проезжающие через село румынские обозы, с запряженными в телеги тяжеловозами с мохнатыми ногами.

Заработала и школа. Колька злился, думал, учиться не будут и всех детей отправят в какой-нибудь лагерь, пока война не закончится. Он возвращался из школы, засовывая нос во все примечательные места. Сначала он застрял, наблюдая за бреющимся немецким фельдфебелем, затем играл со щенком, швырял булыжники на проселок, покрытый легкой светлой пылью, от чего образовывались небольшие фонтанчики, которые Колька сопровождал звуками разрывов и летящих снарядов.

Станный шум нарастал со стороны Нагартавы. Нестройное гулкое топанье, как будто гнали стадо коров. Но Колька точно знал, что там не может быть никакого стада. Он помчался к дороге и вдаль заметил колону людей, которую вели несколько солдат и офицер.

Конец колонны замыкали несколько «своих».

Быстро сориентировавшись в обстановке, Грыцько Свищ, завмаг с Нагартавы, сколотил дружину, которая безошибочно отыскивала евреев и тех, кто жил в Нагартаве, и тех, кто перебрался в село или в Снегиревку. Вскоре всех евреев сначала собрали в «народном доме», а затем повели на край села, где, как им сказали, будут распределять и вывозить в Николаев на работу.

Колона приближалась. Люди несли с собой какие-то вещи, узлы, чемоданы. Кто-то нес перевязанные стопки книг, глобус. Молча, не переговариваясь, колона топала по брусчатке, издавая злоеющий шум своими башмаками, сапогами и туфельками.

– Софа! Софа! Куда это вас?! – соседка спрашивала модистку Софу, у которой шило все село.

– Говорят, повезут на станцию, а потом в Николаев!

– Ну, дай бог... – соседка кивнула, утерев слезу и перекрестилась.

Невдалеке показалась Зойка. Увидев Кольку, спряталась за мать. Тот погрозил ей кулаком, а в ответ увидел высунутый язык. Зойка заметила

подружку в колонне. Она шла, держа мать за руку, опустив голову, с небольшим узелком в другой руке.

– Галя! Галя! Ты выйдешь сегодня гулять? – Зойка приветливо махала рукой.

Галя подняла голову, взглянула на неё и опустила опять. Посмотрела и её мать. И многие проходившие в той колонне, взглянули на Зойку недоуменными взглядами, как спросившую глупость.

– Ну и ладно, – обиделась она и пошла прочь.

Колька побежал параллельно дороге в сторону МТС. Было интересно, зачем собрали всех евреев и зачем их будут куда-то везти. Он подбежал к последней хате, за которой начинался пустырь, а за ним был двор МТС. Сквозь штакетник увидел, как солдаты поставили два стола; они что-то выкрикивали, расталкивая колонну, разделив ее на две группы. Каждая группа выстроилась в очередь к своему столу. Было плохо видно, и он решил поменять свой пункт наблюдения. Перелезши через изгородь, побежал к кустам, которые росли на углу забора станции.

– Ты куда, сучонок?! – на него несясь здоровенный мужик с белой повязкой на рукаве. Колька, вначале замер, а потом пустился со всех ног, сверкая голыми пятками, подальше оттуда. Запыхавшись и убежав довольно далеко, он остановился, оглянулся и залез в густой кустарник смородины. Погони не было. Колька перевел дух, очень страшным ему показался дядька. Невдалеке послышался разговор. Колька затаился, прислушался. Голоса были детские и знакомые. Он высунул голову из кустов и увидел, как в сторону МТС идут двое пацанов, Степа и Васька.

– Эй, – сдавленным голосом окликнул Колька, – пацаны!

Те остановились, вращая головами, не понимая, откуда их зовут.

– Я здесь! – Колька вытянул руку.

– Ты шо в бабы Кати у двори робышь? Вона ж вбье!

Колька встал во весь рост, взглянул в сторону МТС и выбрался из кустов.

– Вы куда? – полушепотом спросил Колька

– До дому, – Степа соображал, к чему весь этот таинственный тон, – а шо ты шепочешь?

– Вы до МТС не ходить...

– Чому? – вставил Васька.

– Тому... немцы там.

Мальчишки переглянулись.

– Я сам тикал. Там дядька, страшный, усатый, за мной как погнался! А я как драпану! Вот... – Колька сделал такое свирепое лицо, что двое его друзей отшатнулись назад.

– А шо вони там забулы, на МТС? Там же ничего нема.

– Они туда евреев с Нагартavy привели...

– Зачем? – Васька смотрел непонимающим взглядом.

Колька пожал плечами.

– А вы откуда? С рыбалки?

– Ага... трошки верховодки наловили, – Степан протянул котелок, продемонстрировать улов.

Колька заглянул в него и покачал головой.

– Не богато...

Они еще немного постояли, раздумывая, как пройти, и решили не искушать судьбу, обойти МТС другим путем.

Солнце уже свалилось со своего дневного пьедестала, разогрев землю, деревья, степь, крыши домов. С чувством выполненного долга

взирало на свою работу, застыв над посадкой, за которой начиналась Нагартав, чтобы нырнуть за неё и упокоиться до завтра. Воздух наполнился запахами и звуками ранней осени.

Мальчишки шли, переговаривались, делясь своими представлениями о войне и её будущем, когда услышали звук машин, а затем сухие автоматные очереди, внезапно, волной, накатившие и через несколько секунд так же, внезапно, стихнувшие. Как эхо, продолжались одиночные pistolетные, то ли ружейные выстрелы. Стихли и они. Мальчишки замерли, даже несколько ссутулились, вжав головы в плечи.

– Айда, подывымось, – Степан, как самый старший, принял решение.

– А как поймают? – У Кольки все еще стоял перед глазами здоровый дядька с повязкой.

Они увидели, как проехала колона машин от МТС.

– Айда! – уверенно сказал Степка.

Он сложил свои удочки и котелок под кусты, отошел немного, посмотреть, не видно ли спрятанное и, махнув рукой, увлек ребят за собой.

Озираясь и вздрагивая при каждом постороннем и неожиданном звуке, мальчишки добрались до забора МТС. Они смотрели сквозь штакетник на пустой двор, где на месте людей валялись какие-то пожитки, тряпки, раскрытые и разломанные чемоданы. Вечерний ветерок лениво гонял по двору какие-то бумажки.

– А де ж жида? – Степан сделал недовольную физиономию.

– Откуда я знаю...

Раздалось два выстрела. Мальчишки пригнулись и спрятались в кустах.

– Це з балки, – уверенно сказал Васька, – точно, з балки.

– Айда, – Степан вылез из укрытия и направился в сторону оврага.

– Ты куда? – Колька спрятался глубже в кусты.

– Пишли до дальнего колодезя, а там побачим.

Предложение показалось дельным, и Васька с Колькой вылезли из кустов. Они обошли овраг с другой стороны и на четвереньках подползли к краю, прячась в высокой траве. Слышны были отдельные возгласы. Около десятка мужчин с белыми повязками что-то забрасывали лопатами. Работали торопливо, изредка останавливались и утирали пот. Среди них был Грыцько Свищ и Коваленко, бывший бригадир, остальные были незнакомы.

Начало смеркаться. Свищ остановился, воткнул лопату, походил, позаглядывал.

– Хорош, мужики! Трошки притрусили, и ладно. Хай и за це спасыби скажуть!

Все дружно засмеялись, бросили работать и стали подниматься наверх, помогая себе лопатами. Через минуту они скрылись за холмом, а мальчишки встав из укрытия, спустились в овраг. Степан остановился перед незасыпанной большой ямой и деловито осмотрелся.

– Шо воны копалы? Дывысь, патроны... багато, – Степан поднял несколько, позвенел ими и бросил в яму.

Колька прыгнул вслед за ними. Как только он коснулся земли, почувствовал под ногами что-то мягкое, неустойчивое, словно болотная зыбь. Он чуть не упал, рукой оперся о землю и тут же отдернул её, испугавшись, будто уперся во что-то знакомое. Он оглянулся, из земли выглядывала человеческая кисть. Колька отшатнулся. Ему почудилось, что под ним зашевелилась земля. Он в панике выскочил из ямы и устоялся на Степана, что-то шевеля губами.

– Шо? – Степан внимательно вглядывался в глаза Кольки, пытаясь разгадать причину его тревоги.

– Там кто-то есть, – чуть слышно прошептал Колька. Под волосами забегали мурашки.

Глаза Васьки округлились, и он медленно попятился назад.

– Та ну тебе, Микола... – Степка, овладев собой, отодвинул Кольку в сторону.

– Кажу, кто-то е...

Они усталились на засыпанную яму, вглядываясь в каждый подозрительный бугорок. Колька нашел взглядом место, куда уперся рукой.

– Вон, вон, дывысь!

Там, куда показывал Колька, земля шевельнулась и кисть стала заметнее. Пальцы сжались и застыли. Внутри него похолодело. Степан тоже отпрянул от края, переглянулся с друзьями, и они не сговариваясь сорвались с места и, спотыкаясь, падая, поползли навстречу оврага, цепляясь за траву, подгоняемые неведомым холодным ужасом.

Они отбежали от оврага довольно далеко. Остановились отдышаться. Колька вытирал руку об траву с каким-то неистовством, будто испачкал, а на самом деле пытался стереть то чувство, которое осталось от прикосновения к чьей-то руке в яме. Он все еще ощущал это тепло.

– Це жидив пострілялы, – сделал вывод Степан, – я чув, шо нимци их усих повбывають.

– А за шо? – спросил Васька.

– Кажуть, в них золота багато...

– Шо, и у Гальки Кальмус? – Колька спросил недоверчиво. – Еи мать батрачила. Даже до нас заходила, просила, нема ли работы... какое ж золото?

Степан только пожал плечами и ничего не ответил. Было уже темно, и мальчишки разбрелись по домам.

Поэзия

Эд ПОБУЖАНСКИЙ

Родился в 1968 году в г. Черновцы (Украина). Детство и юность провёл в г. Единец на севере Молдавии. Окончил факультет журналистики Молдавского государственного университета (специализация «издательское дело») и Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького (мастерская Юрия Кузнецова). Работал на радио, в газетах и журналах. Автор ряда поэтических сборников, многочисленных публикаций в периодике. Стихи были переведены на румынский, украинский и армянский языки.

Член Союза писателей России. Основатель и главный редактор издательства «Образ». Живёт в Москве.

И ЗАХОЧЕТСЯ ВДРУГ ВОЗВРАТИТЬСЯ НАЗАД...

Буфет

Остаётся последний экзамен,
И потом хоть на край земли!
А в буфет на ж/д вокзале
«Жигулёвское» завезли.

Предприятие общепита
Примирило меня со страной,
И буфетчица Афродита
Возникла из пены пивной.

Мы с друзьями тут пиво пивали
И мечтали о жизни иной,
И такие волшебные дали
Открывались из этой пивной.

Где дружки мои? Были да вышли,
Никого с четырёх сторон.
...Я прислушаюсь к голосу свыше
И, допив, поспешу на перрон.

Книга

Жил поэт – вся душа нараспашку!
Не унять молодецкий запал!
Он и бражку любил, и Палашку
И стишки между делом кропал.

А однажды он выкинул номер:
Вдруг лицо обратив к небесам,
Прошептал что-то, замер – и помер.
Был и нет. Книжку вот написал.

Ничего не оставил он, кроме
Книжки этой – в две скрепки тетрадь.
Где-то есть и с надгробием холмик –
Даже имени не разобрать.

Этот холмик зарос медуницей
В окружении мраморных плит.
И к нему, словно дикая птица,
Одинокая книга летит.

Дантист

Дантист угрюм с утра, как Данте:
Он смотрит в полость ротовую,
Как будто в бездну роковую,
Кряхтит и не даёт гарантий.

Ему давно осточертели
Пульпиты, кариесы, пломбы
И дух нечистый, дух утробный
В обмякшем от наркоза теле.

Но он всё сделает как надо:
Забытый главврачом и Богом,
Допишет он алмазным бором
Поэму собственного ада.

Набат

Всё старо, как тавро или карты таро,
Но когда я дорогой окольной
Выйду утром, – нагонит, возьмёт за нутро
Поминальный набат колокольный.

И захочется вдруг возвратиться назад,
И прощенья молить Христа ради
Только лишь потому, что такой же набат
Слышал мой безымянный прапрадед.

Но уйду, и меня не окликнет никто,
И лишь будет звучать ещё долго
Этот бой колокольный –
Как будто рингтон
В телефоне уснувшего Бога.

Муха

То понос, то золотуха,
То ещё какая дрянь!
Не кружи над ухом, муха,
Не буди в такую рань.

В голове темно и сухо,
Соловьи молчат в груди,
Тяжело под мухой, муха,
Цокотуха, не гуди!

Ля комедия финита,
Разнесён на щепки лес!
Бац! – а Главный по пиитам
Мне письмо прислал с небес.

Пишет Он: «Не кисни духом,
Жизнь твоя – и грех, и смех!
Рассмеши меня...» А муха –
Просто точка в том письме.

Том-ям

*Александр Лебедеву
Поэт Александр Лебедев пригласил меня
на обед и угостил чудесным том-ямом
(тайским супом на кокосовом молоке) соб-
ственного приготовления.*

Том-ям в том доме шей сытней и гуще,
Но друг тамбовский не посмотрит косо,
Ведь всем известно, что в московских кушцах
Всегда есть кокс и спелые кокосы.

Щи да окрошка – вот харчи поэта,
А тайский суп – лишь манифест протеста,
Но я, конечно, умолчу об этом
И ложкой подберу со дна подтексты.

А у меня ни лома нет, ни ляма,
Зато есть том затёртый Мандельштама,
Да миска среднерусского том-яма,
Да целый мир от САО до Сиама.

Божество

Я не виновник торжества,
Моя вина лишь в том,
Что я любовник божества
И с ним делю свой дом.

Мой дом похож был на кабак
И даже на вертеп.

Но божество сказало: «Ах!
Ты столько претерпел!»

Оно сказало мне: «Пора!
Забудь, что было до,
Мне по душе твоя нора,
Но время вить гнездо!»

Теперь повсюду волшебство:
Сияет дом, как храм!
И мне прощает божество
Нытьё, питьё и храп.

Дудка

Когда казалось, что хана
И бездна впереди,
Мне кто-то сунул дудку: «На!
Попробуй подуди!»

Дуда-тростинка не труба,
Не флейта, не гобой,
Но вдруг она,
Взлетев к губам,
Шепнула: «Будь собой!»

Авось и я стране сгожусь,
А если нет – свалю.
Как за соломинку держусь
За дудочку свою.

Нехитрой музычкой поди
Не вывести всю дурь,
Но что есть воздуха в груди
Я буду в дудку дуть!

Татьяна СТОЯНОВА

Родилась в 1990 году в Кишиневе. Училась в Московском государственном университете печати. Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Наше поколение», альманахе «Я и все», в «Литературной газете». Автор сборника стихотворений «Матрешка», который выйдет в свет в начале 2019 года.

Работает в «Редакции Елены Шубиной» (АСТ). Живет в Москве.

Из сборника «МАТРЁШКА»

Из цикла «СТРАННИЦА»

Вавилон

*...ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда
рассеял их Господь по всей земле (Бытие, 11:9).*

Если ты в меня больше совсем не влюблён:
Посади в самолёт и отправь в Вавилон.
Там на башне никто не зажжёт огни
На мой всхлип полуночный: «Özlerim seni», –
В пустоту между швами кирпичной кладки.
Я за пазухой прячу словарь украдкой
И твержу по утрам: «Băn seni severim», –
Когда глажу голубку по сизым перьям.
Здесь никто никогда мой язык не поймёт.
Здесь у каждого свой раз-говор, раз-вод.
Здесь у каждого свой бес-толковый словарь.
Здесь никто никому ни Господь, ни царь,
Ни слуга. Подчиняться никто не привык.
Не достроена башня: забыт праязык.
Словари не помогут возвысить дом
Нам до неба: расстанемся, разбредём-
ся по разным квадратам земли.
Языки нас рассорили, размели.
Отделив друг от друга, язык – неделим –
Въелся в кожу. Так въелся мой – «ana dilim».
«Tatlı bal» – говорят. А по мне: «Acı su».
Я его, как проклятье, в себе несусь.

Если ты в меня больше совсем не влюблён:
Посади в самолет и отправь в Вавилон.
Здесь никто никогда так, как ты, не поймёт.
Если умер язык – ни к чему перевод.

Словарь (перевод с гагаузского языка):

- *Özlerim seni* [Ёзлерим сени] – я скучаю по тебе;
- *Bän seni severim* [Бян сени северим] – я люблю тебя;
- *Ana dilim* [ана дилим] – родной язык;
- *Tatlı bal* [тамлы бал] – сладкий мед (аллюзия к стихотворению Dionis Tanasoglu «Ana dilim»);
- *Acı su* [аджы су] – горькая вода.

Странники

Посвящается гагаузам, которые покинули дом

Мы странники странные, нет у нас дома –
Ни в тёплых ладонях, ни в чреве земли.
Наверно, поэтому с тайной истомой
Мы крест перелётов несли.
Мы тихие странники, нет у нас слова –
Ни в *limba natală**, ни в *ana dilim**.
Наверно, поэтому звука родного
Не слышим, когда говорим.
Мы странники беглые, нет нам свободы –
С оборванной нитью в руке.
Наверно, за это, ступая сквозь годы,
Мы прокляты быть налегке.

* Перевод с молдавского и гагаузского языков – «родной язык».

Страница

Что если я вдруг сорвусь и уеду?
Ключ от квартиры оставлю соседу,
Платя закину в рюкзак за спиной,
Страницей стану под стылой луной.
Что если я не вернусь в эти стены?
Тем, кто бездомен, земля – Ойкумена.
Дом мой утерян, как детство, как сон,
Где у детей моих много имен.
Что если я исхожу все пути,
Что если счастья нигде не найти?
Странники – те, кого кружит земля,
Чтоб возвратить их на круги своя.
Что если выход для нас – это вход?
Что если мир от войны не спасёт?
Время ведёт меня влёт по спирали.
Близость – преодоление дали.

Из цикла «ПОСВЯЩЕНИЕ ОТЦУ»

Пастушечья песня

В твой кушак заткнут острый нож,
Свист хлыста гонит вдаль овец.
Снилось ночью, как ты бредёшь
По Буджакской степи, отец.
Хлебом с солью твой пах кожух.
Табакотом отдавал колпак.
У отары огонь потух,
Подала Миорица знак.
Лэутары воспели ночь,
Соловьи засвистели в такт.
Я хотела тебе помочь,
Но не знала, не знала *как*.
Пастухи замыслили смерть,
Два врага прокрались в твой сон.
Распласталась рекою твердь.
Уносил дух во тьму Харон.
Мне осталось беречь твой нож
И стеречь всех твоих овец.
Каждой ночью во сне бредёшь
По степи ты со мной, отец.

Словарь:

- «*Миорица*» (рум. *Miorița*) – румынская и молдавская пасторальная баллада, считается одной из вершин фольклора.
- *Лэутары* (рум. *lăutari*) – традиционные молдавские и румынские певцы и инструменталисты.

Просыпайся, дочка

Спрячь меня под одеяло –
Заспанным клубочком.
Я твой голос вспоминала:
«Просыпайся, дочка».
Стук в окошко, клубы дыма,
Кашель с хрипотцой.
Кажется, была любима
Я одним – отцом.
Но любовь не держит силой –
Связанных живьём.
Кажется, что я любила
Только отчий дом.
Кажется, любовь – сильнее
Смерти, и несет,
Как в клубочке скарабея,
Жизни вечный ход.
Спрячь меня под одеяло –
Заспанным клубочком.
Я твой голос вспоминала:
«Просыпайся, дочка».

Из цикла «СОЛНЦЕПОКЛОННИЦА»

Такси

Захлопнулась дверь такси. Зажала ладонью рот.
Пальто запахла. В тиски зажало живот – так тесно.
Пора мне тебя отпустить. Я видела всё – наперёд.
Так «горлом идет любовь», в одной башлачёвской песне.
«Лови её ртом», – он пел. Мой рот онемел, как гроб
Господень – завален камнем холодным. Застыл язык.
Три дня и три ночи плоть, как розгами, бил озноб.
Прости меня, Господи: я – твой самый плохой ученик.
Пора отпустить любовь. Стаканы тесны и узки.
Стекло не преломит свет и не исказит полос.
Тебя отпустила я. Без слов и без слез – по-русски.
Визжали колеса. Душу. с собой. ты. мою. увёз.

Таинство

Глоток вина. Пустой подъезд. Стена. Целуются в беспамятстве. Она,
как пламени язык, обнажена под черным платьем.

Белая луна вошла во тьме – он, приподняв подол, в тот самый миг.
почти. с ума. сошел.

И замер, опустившись на колени – так. совершают. жертвоприношение.
И, прикасаясь к коже над чулком – горячим, изможденным языком,
Он словно поклонялся божества велению – в движениях слепых.
Он словно причастился – тайн святых: единства тела и души родства.

Отпусти меня

Отпусти меня жить в монастырь.
Я – слепая. Господь – поводырь.
Отпусти, меня там уже ждут.
Я – бездомна. Господь – приют.
Отпусти меня, рушится плот.
Я – тростинка. Господь – оплот.
Отпусти, наш очаг остыл.
Я – жаровня. Господь – мой пыл.
Отпусти меня жить у крестов.
Я – ловушка. Господь – улов.
Отпусти меня, мир затих.
Я – немая. Господь – мой стих.
Отпусти меня славить Бога.
Колесо – я. Господь – дорога.

После дождя

Умытый мир. И смиренно облака
Скользят по глади неба – пеной мыльной.
И синь небес нам стала так близка,
Что в каждой луже скрыт ее посыльный.

И горным хрусталем искрит асфальт.
И луч слепит в таком прозрачном свете,
Что мы, прищурившись, сложить из смальт
Осколков сможем – жизни разноцветье.
Так чистота разлита меж людьми,
Как молоко парное из стакана.
Умытый мир. Возьми его, возьми.
Пока еще светло, еще так рано.

В улье

Как будто пчела, дремотно жужжит-дребезжит вагон.
И медом лучистым в сотах квадраты искрят окон.
Вот станции луг: роится, кружа перелетный люд.
То пыль, то пыльца клубится, на крыльях ища приют.
Слетаются в улей пчелы и тайну несут с собой,
Что мир опылен. И новый продолжится круг весной.

Уточка

Уточка качается чёрная – в волне:
Счастье не кончается – на тебе и мне.
Уточка качает нам – белой головой:
Смерть не начинается – ни тобой, ни мной.
Уточка ныряет – головою вниз:
Люди начинают – маленькую жизнь.
Уточка пропала – в голубой воде:
Люди мир приводят – за руку – к беде.
Уточка выныривает. Плещется прибой:
Мир не разделяется – на чужой и свой.
Уточка запуталась – в камыше сухом:
Люди обретают и теряют – дом.
Уточка, как лодка, свой – нашла – причал.
Всплеск любви – и проблеск света засиял.
Уточка качается – чёрная в волне:
Счастье не кончается – на тебе и мне.

Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН

Родилась в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончила Петрозаводский государственный университет. Работала учителем русского языка и литературы, возглавляла Центр развития образования Петрозаводска. Кандидат педагогических наук, лауреат премии Президента РФ в области образования и науки (1996).

Автор ряда поэтических книг и публикаций в российских литературных журналах, в газетах «Российский писатель», «Литературная Россия», в «Литературной газете». Секретарь правления Союза писателей России. Главный редактор журнала «Север». Живет в Петрозаводске.

НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО...

* * *

Мелким бисером
Ветки расшил
Замечтавшийся первый снег.
Месяц звезды во тьме раскрыл
И стряхнул их
На ленты рек.
Троп нехоженных белизна –
Долгожданная чья-то страсть.
А кому-то и нужен знак –
След чужой – чтобы не пропасть.
Будет новой моя тропа,
Удивит предстоящий путь.
Только след бы мой не пропал,
А помог хоть кому-нибудь.
Первый снег так отважно чист,
Первый снег так щемяще бел.
И горяч – потому искрист.
...Обжигаться – вот мой удел.

* * *

Вновь с разбега – в янтарную Ладугу!
Словно конь молодой, ретивый,
Запряженный в хрустальную радугу,
Машет август сосновой гривой.

Увези меня в грезы летние,
Увези меня в воспоминания.

Вячеслав КАРТАШОВ

Родился в 1969 году в г. Балахне Горьковской области. Окончил Нижегородский областной колледж культуры. Специалист по развитию Балахнинского музейного историко-художественного комплекса. Живет в г. Балахне Нижегородской области. Первая публикация – 1984 год. Поэт. Дипломант премии «Северная лира» (2008), Всероссийской премии им. Бориса Корнилова (2009), лауреат премии «Навстречу дня» им. Бориса Корнилова (2011).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

СЛОВНО ВЕЧНОСТЬ ГЛЯДИТ ИСПОДЛОБЬЯ...

* * *

В мареве летних полдней
голосом незнакомым
осень зовет меня тихо.
Чувствую – это она.
Непроходимой болью
копится в горле комом.
Странно душе и дико,
хоть и нельзя не знать.

Тянется ночь к восходу.
Клонится жизнь к закату.
Время посеет камни –
вызреют сон и явь.
Зной или непогоду,
гул громовых раскатов...
Внемлю.
Ты так нужна мне,
краткая жизнь моя.

Лето здесь

Слипшись кронами,
тихо седеют березы.
Им, бесспорно, идет
горьковатых туманов роса.
И не хочется думать,
что это прощальные слезы
разбросали по листьям
всполошенных птиц голоса.

Мне не августа жаль,
что пылает на ветках рябины,
что упал спелым яблоком
в жухлые травы межи.
Просто парусом рваным
по ветру летит паутина.
Просто как-то тревожно
туман по оврагам лежит.

Знаю наверняка,
что придут за дождями морозы.
И растопит снега
беспощадным трезвоном капель.
И привидятся вновь
мне прощальные слезы березы.
И в носу защекочет
туманного августа прель.

* * *

Мутное утро
в долины стекает с небес,
стелется мелкопузырчатой пеной тумана.
Сладко в груди оттого,
что мне холодно здесь.
Жарко в душе.
И от этого больно и странно.

Искренне видеть
и не умиляясь любить.
Много ли счастья в пустом созерцании чуда?
Чувствовать кожей,
как солнце выходит в зенит.
Вечной дорогой пройти в никуда ниоткуда.

...Мутное утро росой растеклось по траве.
Небо светлеет,
из серого сделавшись синим.
Кто-то слегка прикоснулся к моей голове.
Я оглянулся
и понял,
что
это – Россия.

* * *

Мнится,
что усталости оковы
не порвать ничем и никогда.
Кажется,
что не подняться снова,
только...
поднимаюсь, как всегда.

И вперед.
В пучину дел и буден.
В жернова забот и суеты.
Пусть сомненья есть,
что отдых будет
или миг, чтоб дух перевести.
Но не в отдыхе огульном радость.
В праздности ли к счастью верный путь?
Жизнь дана,
чтоб чувствовать усталость.
После смерти сможем отдохнуть.

* * *

Синий вечер на Волгу упал,
по воде распластавшись кругами.
Солнце-воин в густой краснотал
опускает багровое знамя.
Тишиною контужен простор,
словно Вечность глядит исподлобья
на раскрытый небесный шатер,
распростертый над Миром Любовью.

ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН-2018

В Большом Болдине подведены итоги II Международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин» – совместного проекта фонда «Русский мир» и государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино». В 2018 году он состоялся во второй раз. Участники – молодые авторы, чей возраст достиг 18, но не превышает 35 лет. Жюри конкурса рассмотрело сотни рукописей, поступивших из России, Италии, Венгрии, Сербии, Казахстана, Молдавии, Болгарии, Таджикистана, Литвы, Узбекистана и с Украины.

Как обычно, представляем читателю работы наиболее ярких авторов.

Александра ШАЛАШОВА

Москва

ЗВОНЧЕ ЖАВОРОНКА ПЕНЬЕ...

В городе кричат.

Станция «Библиотека имени Ленина» закрыта для входа и выхода пассажиров. Внимание. Станция «Библиотека имени Ленина» закрыта.

Я останавливаюсь. От шарфа пахнет старыми духами – и после стирки не выветрились. На тротуаре стоит мужчина – без куртки, в тёмном пиджаке. Его машина рядом. А прочие сигнализуют так, что колоколов храма Воскресения Словущего не расслышишь.

– Чёрт знает что, – говорит мужчина.

Я не знаю. Я говорю:

– Да, «Библиотека» закрыта.

Мужчина кивает:

– Сейчас танки пойдут.

Какие танки – разве сейчас война? Или скучно ему, скучно в синем красивом «Ниссане» – вот и вышел посмотреть на деревья, на тоненькие листики каштанов, свежую зелёную краску лавочек, красные кирпичи храма. Нет, колоколов не слышно.

– Какие танки?

– Наши. Какие. Из-за танков дорогу и перекрыли.

Я поворачиваюсь к Арбату и жду танков.

У меня нет зонтика, и волосы выбились из-под капюшона толстовки. Капли хлипкие, тоненькие. Целый день. Мужчина в костюме вглядывается в горизонт. Машины неподвижны.

На обочине – милиционер в длинном плаще. Он видит машины, но ничего не может сделать.

– Надо было на метро, – мужчина плюёт в дождь, в пыльные тополинные серёжки. А я в восемь лет ими полные карманы набивала.

– А почему танки-то?

Мужчина не знает. Ему холодно. По тротуарам, по остановкам, деревьям – пёстрые ленты, точно огородили место преступления. Место преступления – Москва.

– На параде много танков будет, – хлопает дверью машины.

Я остаюсь одна.

Я вышла из дома третьего мая, в день репетиции парада Победы, а станция «Библиотека имени Ленина» закрыта для входа и выхода пассажиров.

Поэтому иду пешком. Я иду по Арбату, поворачиваю на Смоленскую площадь, потом – на Смоленский бульвар. Там легче, спокойнее.

Двор открыт, и звонить не понадобилось – верно, кто-то переезжает и выносит мебель из подъезда, потому что железная дверь распахнута. И камень положили, чтобы так открытой и оставалась.

Пять этажей я бы по лестнице прошла, но она сказала – лифт. Я еду.

Она ждала.

– Возьмите тапочки.

Уходит в зал, не ждёт.

В коридоре – жёлтое кресло и торшер. Ни книжки, ни журнала – пыльно, пожухлая пыль прибита к полу. Пахнет сорго, размоченным в ведре. Открывали тут окна, вытряхивали плед с кресла?

– Свет включите, не болтайте по темноте, – снова появляется на пороге комнаты.

Свет включается просто. От света останавливаются пылинки в воздухе, высвечиваются, проступают поочередно – крашенная в белый дверь, ещё дверь, деревянная, закрытая на замок.

– Вы что же, без зонтика ходите? – смотрит на мои мокрые волосы. – Садитесь.

Прохожу в старухину комнату.

За годы яркие окна покрыла пыль, а медовый паркет исчиркала мебель.

В комнате старое пианино с тёмной лакированной крышкой – красивое, с немецкой надписью. Книжный стеллаж завален советскими журналами. На нижней полке тоненькая Библия в глянцевой обложке – из тех, что печатают баптисты. Дали возле метро? Сказали – бесплатно, узнайте Бога? Она удивилась, но взяла. Муж повертел в руках, сказал – перевод странный. Но выбросить нельзя, поэтому поставили в книжный шкаф и забыли. Только я теперь вспоминаю.

На табуретке – растрёпанные нотные тетради.

– Садитесь, ну же, – она нетерпеливо смотрит. – Буду спрашивать.

Она высокая, тонкая. На халат наброшена тёплая розовая кофта с продранными локтями, грязная. Под халатом – спортивные брюки. Топить ещё не перестали, да и в комнате тепло – но от медленных движений по дому не чувствует рук, набрасывает свои и мужнины вещи.

– Лет вам сколько?

– Двадцать три.

– Взрослая женщина, вам бы ребеночка нянчить. Чего пришли?

– Петь хочу.

– В двадцать три? И давно хотите? Я вот с пяти лет хотела. Мама, говорю, я буду певицей, как ты, – и топала ножками по полу, пританцовывала. А вы?

Я не знаю. К обоям приколоты булавками фотографии – красивая женщина со светлой косой; парень в гимнастёрке с грустной улыбкой. И снова – женщина, парень – и ещё один, в обычной одежде, лохматый, рассеянный. В кадр не смотрит, а куда-то за край, на обои.

– Вы москвичка?

– Нет.

Виктория Ивановна берёт со стола очки в тонкой золотистой оправе. Дужки замотаны синей изолентой.

– Приезжая, значит. Трудновато придётся, хотя я и мало за уроки беру – пятьсот рублей. Поможет кто, а?

– Поможет.

– Муж есть?

Мужа нет.

Она отворачивается, протирает очки подолом розовой кофты.

– Вставайте, распоёмся. Руки куда? Опустите. И вставайте так – в уголок, за пианино.

Я пою. Она играет трезвучия. И вдруг останавливается, разворачивается резко – седенькая косичка бьёт по щеке:

– А вы чего так орёте? У соседней девочка маленькая, спит. Кто вас так научил?

Никто. Она больше не играет.

– Ну, милая, кто же вам сказал, что так петь надо? В двадцать три года? В бухгалтеры бы пошли. В бухгалтеры, – бормочет под нос, умолкает. Смотрит перед собой, на фотографию женщины со светлой косой. – Мама моя, покойница, и на смертном одре пела. А вы что?

В серванте нет всегдашнего хрусталя, посуды старой, красивой – пустые зеркальные полки, только несколько одинаковых фаянсовых тарелок. Подарили к фарфоровой свадьбе – не доставали, откладывали. Не нравились, или детям берегли, или попросту забыла? – но пыль легла, и не стереть никому.

И похожа Виктория Ивановна на женщину с фотографии – только глаза яркие, даже в очках. Яркие, заполошные: посмотришь – и стыдно, что пришла, а не умею ничего, и что двадцать три года, и что дождь и грязь со Смоленского бульвара на кедах принесла.

– Ну, который же месяц?

– Какой месяц?

– Какой месяц ходите ко мне? Второй?

– Я же в первый раз.

– Да, да. Точно. Где-то видела вас. Сколько лет? Восемнадцать?

– Двадцать три.

Сидит одна, в огромной квартире, где портреты, иконы, книжки, будильник, пыльные кружевные салфетки, нет телевизора и радио, нет детей, нет маленькой лохматой собаки, нет мужа, нет звонков от старых приятельниц.

– Двадцать три. И мне было двадцать три. И Вася был... или как его?

– Ещё рубашка мягкая, пуговка верхняя на ниточке держится.

Я жду.

– Да вы как дышите? – она вдруг кричит. – Плечи поднимаете? Идите, слушайте, как дышу. Слышите?

Берёт за руку, заставляет наклониться. Пахнет неприятно застиранной тканью, синтетикой, несвежей рубашкой – сухо, оловянно, по-стариковски.

Так в метро от пенсионеров пахнет – стараюсь не садиться рядом, и не притрагиваться. Боюсь старости, боюсь пятнышек – точное заразное это, страшное.

Но держит за руку, не отпускает.

Дышит ровно, глубоко. Тихо.

– Поняла? А ты как дышишь? Плечи ходуном ходят. Певица низом дышит, животом. Дыши.

Я стараюсь дышать животом, но от запаха, крика, острых ногтей – теряюсь, делаю глупо, быстро.

– Ладно, садитесь. Всё равно толку нет. Вы, деточка, домой идите – и дышите, дышите. Ходите там за детьми, по дому убирайтесь – дышите. А то это что такое?

– За какими детьми?

Старуха отмахивается. Молчим. Стрелки на старинных часах движутся громко. Наверное, наш час вышел.

– Давайте на следующий раз договоримся?

Она встаёт и приходит с отрывным календарём.

– Сейчас какой месяц? Ноябрь?

– Май.

– Ага, май... ну хорошо. Когда вы хотите прийти?

– Послезавтра?

– Приходите. Я-то дома. Пока на дачу не забрали.

Я обуваюсь в коридоре. Не забрали – значит, дети есть. И отчего тогда на фортепиано тряпки и на стёклах – пыль, в прихожей – одни комнатные тапочки, рваные и цветастые?

– Двадцать три... Да я пела, кажется, с ползунков. Как лежала в картонной коробке, в комнате, общей на троих, в общежитии московской консерватории – мама положила, так и лежала. И мурлыкала себе под нос. А вы – двадцать три. Ну куда это годится.

Старуха качает головой, отчего очки съезжают на бок. И очкам лет сто, как и ей – заношенные, склеенные.

А звали её Викой давно, но ей каждое слово помнится.

* * *

– Вот и девчуля обрадуется, да? – Сашка наклоняется над маленькой, строит смешную рожицу – но Вика сидит сосредоточенная, не обращает внимания на этого смешного. – Серьёзная девчонка у тебя. Потом у неё будете по струнке ходить.

– Да уже, – Лида вытирает пыль с подоконника. Стол потом только придвинуть к окну – и усядется весь пятый курс, и место останется. С композиторского вообще только Сашка один.

Сашка подходит к столу. Останавливается, кашляет – но не как при простуде бывает, а как-то по-другому. Сердце. Такое сердце, что по лестнице быстро ходить нельзя.

– Да что ж сама консервы открываешь! Давай мне.

– Это рыбные.

– Так что же, что рыбные? Рыбные легче открывать?

– Да приноровилась.

Консервы с завода «Баргузин» давно днём с огнём в Москве не найти – с трудом достала где-то. Бойтся, что Сашка неуклюжими тоненькими руками – не мужскими, жалкими – станет открывать, уронит.

– Ну да. Точно, – он кивает несколько раз. Лида поднимает голову, перебрасывает назад короткую косу: остригла три года назад, и не выросли по-настоящему. Под шапкой, под косынкой – не видно. Ничего. А вот в комнате сразу въявь неладное – ведь и коса должна быть, и рыба, и свет, и цветы.

Вика смеётся. Настоящую кровать достать не смогли – на ночь Лида с собой кладёт в кровать, а на день – что придумаешь: взяла и застелила картонную коробку из-под холодильника байковым одеялом.

Лида хочет двигать стол – берётся за край, но Сашка встаёт от коробки, помогает:

– Лучше хлеб режь. Наши скоро будут.

Лида режет половинку черного на треугольники.

– На Герцена не была?

Она была. В нотном отделе была, во дворике на лавочке сидела. Страшный июль в этом году – липы пожухли и опали, и окурки на пыльном газоне. Списки прошедших конкурс вывесили на доске особой – и весёлые мальчики в гимнастёрках толпятся возле, ищут свои фамилии.

Тот мальчик, верно, не нашел. Кивнул кому-то, побрёл на трамвай. Блестит латунная звезда героя, светится тихо. Когда играл – смотрели, переглядывались. И вроде хорошо играл, прозрачно, ясно. Но что сделаешь. Конкурс.

Трамвай едет медленно, тянется по Бульварному кольцу. От июля кружится голова.

Лиде говорили – восстановишься, зазвучишь. После всего к работе возвращаются, певицами вырастают.

А в зеркале что? Лида смотрит. Низенькая, белая, грустная – никогда не вырастет в певицу. И не потому, что поздно, а так. Есть ровно постриженная чёлка, белёсые губы, скоро муж с друзьями придёт – вон доченька играет бахромой розового одеялка. Всё.

А голос, чуть живот расти стал, сделался надтреснутым неприятно, неглубоким. В общаге не распоешься – пошла к Софье Олеговне, рассказала. Показала. Уже и заметно было.

Софья Олеговна помолчала. Пожала плечами – куда с пузом-то. Запретила приходить. Как хочешь. Запретила петь. Родишь, отлежишься – явишься.

Лида явилась. А потом и вовсе не до того стало.

Вика сидит в коробке, руки поднимает – точно обнимает кого.

– Саш, Иван и задержаться может.

– Ну так что ж?

– Посидишь часок с Викой? Я быстро обернусь.

Лида теребит тонкую хлопчатобумажную косынку.

– А Иван придёт – что сказать?

– Что я к Софье Олеговне. Сашка. Мне ведь диплом петь.

За окном голуби, голуби. Дождя нет и до конца недели не будет. Тополиный пух лежит на подоконнике – ветер ворошит-тревожит.

– Саш. Ну как я потом пойду? Иван же с ней не останется. Придёт – что ж вы, не найдёте разговора? Да она рядом живёт – по улице пройти. Я два года не пела, Саш.

– Почти три.

Вика спит. Только сидела на кровати – и вот сморило, опустилась, потяжелела головка белобрысая.

В коридоре шаги – кто-то идёт на кухню, к лестнице, на площадку – цветы выставлены в больших кадках, подвляли за весну – полить, обиходить. Каждая комната в очередь поливает. И Лида.

– Сашка, так можно?

– Иди, что ж. А старушка – ничего, что в праздник придёшь?

– Ничего. Звала.

Лида сразу засомневалась, что звала. Косынку сняла. Звала ли? Или пришли – муж, старичок-писатель, сын, что по возрасту на фронт не попал, – и внук, который попал, и не сказала старушка в последнюю встречу – как, есть ли весточка, весточки?

А вернулся теперь, наверное. Радио слушает.

Лида повязывает косынку, убирает челку и выходит в коридор. Дочку бы поцеловать. Некогда.

Лида бежит по коридору, стучит маленькими каблучками. Туфли давнишние, девчачьи – на десятый класс мама купила. Десятый проходила, и лето, и потом три курса. А сейчас только бы радоваться, что не износились – так, на ремешке кожа поистерлась.

Лида выбегает на улицу.

На крыльце общежития – нет, не показалось. Стоит. Курит.

Иван – светленькая льняная рубашка с зашитым правым рукавом. Сама зашивала, а не привыкнет никак.

Взяла рубашки разом, села на полу. Нитки попросила. И шила, шила, до вечера шила, плакала – шила.

Ваня кивнул.

– А кто тебе – сигарету? – спрашивает Лида. Обычно сама ему прикуривала

– Никто. Ты куда?

Иван смотрит. У него пробила с той недели рыжая жесткая щетина. Сбрить не дал. Сказал – обвыкнуться надо, смириться. Не смирился.

– Я Вику с Сашей оставила. Спит.

– Саша твой... – не договаривает. Окурок висит в уголке рта. Лида тянется поправить – он дергается весь, лицом, руками. Раньше не было. Спокойно бы стоял, улыбался. Даже лицом изменился.

– Саша твой... – смотрит в сторону, – ну да спасибо ему. Иди, пой.

– Честно?

– Честно.

Он вынимает левой рукой изо рта окурок, бросает с крыльца. И тогда Лида целует мужа – тихо, легонько. От Вани пахнет загаром, дымом, теплом, хозяйственным мылом.

Он отстраняется, неловко достает из кармана – маленький брусочек, завернутый в промасленную бумагу.

– Вот, отнеси ей.

Обычно Лида резала и хлеб, и масло – две трети оставляла на семью, остальное Софье Олеговне несла. А в урожай – и яблоки, и картошку. Мама присылала. Самый первый раз Лида, стесняясь, положила у неё в квартире на сервант проволочную сетку с яйцами.

– Это что? – спросила старушка.

Терпеть не могла всего этого – маслица, нежностей, сплетен. Выше. Всегда выше – соседок по коммуналке на целую голову, в очереди, на улице, везде. На седую голову выше, убранную гребнем с растрескавшимся перламутром.

Это так. Вам. Мама мне денег не присылает. Зато есть яйца. Масло тоже бывает. А хлеб мы всегда в столовой берём, он там нарезанный лежит. Хотите – и вам будем носить.

Лида боялась – покачает головой. Скажет – заberi. И пришлось бы забрать, и не приходиться больше.

Но старуха точно не заметила – проводила, дверь открыла.

А в другой раз молча вернула проволочную сетку из-под яиц.

Лида иногда думала – а не потому ли подвел голос, когда Викой тяжёлая была? Что нечего принести, совсем нечего – делили с общагой общий стол, собирали с каждого.

А работа вечерняя, на которую теперь все пошли, тяжело давалось – хотелось ночью хлеба, и хлеба, и Вика плакала в животе.

А потом Вика родилась, а Ваня вернулся, и на улице поливают горячий асфальт, чтобы пыль опустилась.

Она берёт масло. Целует Ваню ещё раз.

– Я скоро.

И бежит Лида в один из арбатских переулков, вспоминает – вот и решётка, шиповник, деревянная дверь, пятый этаж, коврик пёстрый под дверью. Это соседи положили, не она.

Лида звонит два раза. Это условные.

Но никто не открывает.

Лида ждёт. Три часа дня – некуда ей выходить. Муж, старичок, может, и на работе, и внук – на работе, а ей – некуда. Обыкновенно Софья Олеговна сидела и перечитывала книжки из старой мужниной библиотеки. Чуть не дореволюционной ещё. У неё даже Библия есть. Лида видела.

Долго-долго звонила, а потом за дверью кто-то зашаркал, заскулил.

Замерла, остановилась. Кто-то ковыляет, стучит палочкой. Дверь тоненькая, из досок – слышно. Дышит тяжело, навзрыд.

Но когда Софья Олеговна открыла дверь, Лида остановилась на пороге.

В прихожей пахнет сыростью, слезами, затхлым.

– Здравствуй, Лидочка.

У Софьи Олеговны другое лицо. Морщинки заострились, словно бы землей присыпали.

Под глазами набухло красное.

И когда Софья Олеговна побрела в комнату – не ждала ответа, не удивилась, что Лида через год пришла – Лидочка поняла, что не надо было приходить.

– Здравствуйте. Что?

В зале старое пианино с тёмной лакированной крышкой.

Лида садится в дачное кресло из стертых светлых прутьев.

Старуха садится за пианино – бездумно, автоматически. На ней тёмное уличное платье с обтрепанным подолом. На подоле крошки, лепестки – что-то июльское: новая летняя жизнь, задевшая, прогремевшая.

Сломившая?

Старуха качает головой.

– Что, Коленька?

Плачет.

Не знает, что сказать.

Лида приносит ей чашку с водой. Коленька. Внучек. Жил в этой же квартире – мрачный, хмурый. Они и не говорили никогда. Готовился держать экзамены в университет. Радио слушал.

– Коленька.

У старухи остренькие плечи дрожат. Верно, оделась на улицу – платье, чулки. Брошка в виде бело-голубого парусника с маленьким якорьком. Оделась, достала туфли из шкафа – да защемило сердце, оборвалось. Слезы горло сжали. Так и просидела на полу, если бы не Лида. Услышала звонок. Слезы стёрла. Палочку с пола подняла.

Старуха пьёт воду плоточками.

– А Иван?

– Вернулся.

– Здоров?

– Здоров.

Про руку не сказала. Почему-то показалось – не нужно совсем.

– Да ты, поди, родила?

– Родила. Давно.

– Сына?

– Дочку, – улыбается Лида.

Они не поют, сидят. Под окнами поливальная машина брызжет водой – нарядно город украсили, вымыли асфальт. Светлые люди ходят, и пиджаки щётками чистят, и календула цветёт на клумбах.

Лида обнимает старуху за плечи. Молчат.

– Мне нельзя долго. Сейчас ребята собрались – посидеть, вспомнить...

– Идите, идите. Хотя вы же позаниматься хотели?

– Нет, не хотела. Да я и сиплю что-то – не выздоровела. Я спросить, как вы.

– А, если спросить...

Лида встаёт, поправляет юбку. Вынимает из сумки масло и кладёт на крышку пианино.

– Что это, девочка? За что же? Ведь мы не занимались...

– Да нам всё равно много – Ваня много купил! Килограмм! Им теперь премию выписали.

И сама не знает, зачем врёт.

– Премию? А Коленьке тоже выписали?

– Наверное. Наверняка выписали. Я узнаю, хотите?

Старуха качает головой. Что ж теперь. Лида понимает. И стыдно, что наговорила. Премия. Ей пришлось занимать денег на стрептоцид, потому что у Вани швы воспалились.

Обувается в коридоре и выходит на Смоленский бульвар. На бульваре дождь.

Почти бежит, и страшно – долго шла, долго под дверью стояла, разговаривала. Вдруг Вика проснулась? Она теперь днём не больно-то спит. Куда с ней Саше?

В комнате поют тихонько. Света, Аня, Ваня, незнакомый высокий паренёк, девочка-второкурсница с длинными тёмными косичками, Саша – с Викой на коленях.

– О, а вот и мамашка. Плодоягодное будешь?

Смеётся.

Ваня захмелевший, расхристанный – берёт за руку, сажает с девочками. На столе – хлеб, сливовый компот, рыбные консервы, кислица. За алым плодоягодным ребята и ходили, пока Ваня курил на крыльце.

Лида забирает Вика от Саши. Отчего-то маленькие его, слабые руки крепко и хорошо привыкли держать ребёнка.

– Не плакала?

– Нет. Только кумушки ей спать не давали – затанули, видишь ли, песни.

Девчонки смеются.

– И всего-то пару романсов спели. Тихонечко.

– Да ну вас, пойте, – улыбается Лида.

Они тянут Даргомыжского на два голоса, тихо. Саша танцует – сидя, незаметно: запрокидывает голову, что растрёпанные рыжеватые волосы падают на плечи. Не стригся давно. Надо сказать. На нём клетчатая рубашка со странным круглым воротничком. Не иначе – отцовская. Об одежде не заботился – случалось, и Ванины старые вещи донашивал.

Родители его с Севера – металлурги. Деньги присылали, к дорогому врачу водили – чтобы выслушал сердце, чтобы сказал. Сказал – аритмия. Ждите. Саша вырос, и ждать стало нечего.

Лида смотрела на Сашину рубашку. Поймала Ванин взгляд.

И вспомнила нитки, пустой рукав, папиросы «Ракета» – и ответила взглядом чистым и спокойным. Я не виновата. И в том, что он целыми днями у нас в комнате, – не виновата.

Комнату дали, когда она уже на втором месяце была. Ждали, маялись, коменданту писали что ни день.

И вот дали ключи – от угловой на втором этаже: огромной, тридцатиметровой, светлой. Обои стёрлись и слезли лоскутами, но ничего – собрались, сварили клейстер, подклеили. Перенесли картонные коробки с нотами, тетрадками.

Завели веник, железный совок. И перестали скидывать со стипендии на общий стол, зажили своим домом. А когда Ваня уехал, Лида стала с девочками по-прежнему и еду покупать, и разное по мелочи. Даже хотела в старую комнату вернуться – койка-то пустует, и теплее со всеми.

Остановило только – ведь узнает комендант, что пустует комната, отберёт. А Ваня вернётся – куда вернётся? В девчачью комнату на четыре койки?

Но кроме картонных коробок в их новой семейной жизни не было ничего. Только из комиссии принесли кровать – девчонки скинулись, мальчики принесли. Матрасы старые вместе положила – вышла настоящая двуспальная, широкая.

А через месяц Сашка привёз маленький столик и деревянные прикроватные тумбочки – красивого и дорогого дерева. Соврали вместе – ДСП, мол.

И теперь Ваня смотрит. Я не виновата.

– Ладно. Ребёнка надо спать укладывать, – говорит Ваня. Девчонки виновато переглядываются – сейчас-сейчас, вы уж извините. Засиделись. Прощаются, обнимают Лиду.

Остаются троём.

Сашка не видит, что девчонки ушли. Он – глазами в нотную бумагу: не в настоящую нотную, а так. С того года её совсем не стало, и они изловчились сами делать: возьмишь обычный лист, хоть обёрточный, и сидишь-чертишь линейками: пять, и пять, и пять. И огромный школьный угольник пригодился.

Огрызком карандаша водит. Не видит ничего.

– Что? – поднимает глаза. – Громко?

Ваня качает головой. Это у Саши в голове звучит – никто не слышит.

– А куда девочки делись?

– К себе пошли. Поздно.

– А. Слушай, Вань. Можно у вас переночевать? Стулья сдвину – усну. Не хочу сейчас – по лестнице.

– А что, болит?..

Лида тревожно всматривается. Лицо его серенькое, в рыжеватых пятнах-веснушках. В Ташкенте сильно обгорел – с рыжины, с непривычки. Маслом мазали, спасали. А до сих пор кожа не сошла.

– Да так, – неловко. От Ваниных глаз неловко. Хоть и не выгонит, поверит.

– Вань, можно?.. – Лида тихонько качает Вику. Нужно убирать со стола, и Ваня уже составляет вместе чайные чашки, испачканные плодоягодным. Моют посуду они по старой холостяцкой привычке Ивана: эмалированный таз берёшь, составляешь всё грязное. Доходишь до раковины в туалете, который на каждом этаже – не надо в кухню спускаться. Льёшь в тазик из крана воду, качаешь из стороны в сторону, чтобы на каждую чашку-ложку попало. Споласкиваешь другой водой, чистой.

Главное – слишком-то тарелки не пачкать, а то не отмоешься. Масло, к примеру, не отмывается.

– Зачем стулья, – говорит Ваня, – матрас есть.

– Ага, – Саша расстегивает пуговицы на рубашке. Под взглядом Ивана остановился, опомнился – зашёл за дверцу шкафа, стал раздеваться там. – Где матрас – покажете?

Ваня идёт к шкафу – Лида кидается помогать, привстаёт на цыпочки.

– Ты чего?

– Я помочь...

– Нечего тут помогать. Дочь лучше ко сну переодень.

А лицо упрямое-упрямое.

Лида отходит. Ваня снимает матрас – от непривычки к тяжести рука дрожит.

Удержит, думает Лида. Сильный. Всегда был.

Но матрас падает.

Ваня смотрит на разжавшуюся ладонь – точно она его предала.

Сашка выходит из-за шкафа в майке и в брюках без ремня.

– Спасибо. А как раскладывать?

Лида торопится, показывает. Иван идёт к выключателю. Ждёт.

Саша ложится на матрас прямо в льняных мятых брюках.

В Ташкенте не стеснялся. И девчонки не стеснялись – их поселили в пустующей школе, неподалёку от железнодорожного вокзала. Поставили раскладушки в кабинете обслуживающего труда – где стояли вдоль стен швейные машинки, лежали перепутанные нитки, лоскутки.

Но Ваня был в траншее, когда жену и консерваторию всю эвакуировали в Ташкент. Девочек, белобилетника Максима – который после полиомиелита и ложку-то как следует держать не может – и Сашку. Хлипкого, рыжеватого – но нормального.

А что там в траншее было – Ваня не рассказывает.

Сашка в вытянутой хлопковой майке – худой, сутулый. А в городе были продукты – молоко, мясо, картошка. Но забывал, не видел – и ел, только если она приносила. Он разминает плечи – тянется вверх. Странно впалая грудная клетка – косточки тоненькие, ровно у птицы.

Иван поворачивает выключатель и идёт в темноте к кровати. Вику Лида кладёт в середину, ближе к себе.

– Ты принял лекарство? – говорит Лида темноте.

Темнота пахнет вымытыми тарелками, банками из-под рыбных консервов, вином, теплом, двухнедельным постельным бельём.

Темнота не отвечает.

– Заснул твой, – говорит Иван. Он лежит прямой, жёсткий.

Молчат.

– Пора Вике кроватку сделать, – Лида приподнимается над подушкой – тихонько, чтобы не разбудить, – ты зачем так?

– Он тебе точно бездомная собака. Жалко?

От плеча Ивана пахнет тёплой кожей и больницей – немного. На ночь он снял рубашку, но темнота скрадывает и рубцы, и обмороженную тёмную кожу. Кажется, в нём вообще ни капельки того, прежнего, не осталось.

– Он нам молоко козье носил. В паёк молоко не входило, нужно было у местных менять.

– Тут-то кормили?

– Кормили.

Детский сад сделали в бомбоубежище – а готовили на старой кухне, и нянечка на санках через пол-Москвы везла овощное пюре, варёную рыбу и разведённый чай в кастрюле. Молоко привозили прокипячённым, холодным: успевало остыть.

Взрослым в заводской столовке никакого молока не было. Лида увидела – коса расти перестала. Совсем. На заводе пролетел год – не заметила. Пошла как все.

А раз студенткой числилась – не держали, когда повезли в Ташкент. Уволили сразу, потому как работа временная.

– Так любой бы носил. Женщина с ребёнком. Ну? – сказал спокойнее. Пожалел – и не Сашку, а её, Лиду. Молоко. Про молоко не подумал.

Представил старушку-техничку, которая с бидонами, привязанными верёвками к саночкам, шаркает-скользит по голому асфальту. Потом будет остывшую картошку из кастрюли раскладывать по тарелкам. Лиде пришлось отнести в детский сад и полотенце, и ложки. И простыни стирать брала к себе. За это в садике было чисто и хорошо – а некоторым родители тарелок не давали, так дети из Викиной голубенькой и ели. Лида смотрела-смотрела – потом весь сервиз принесла. Воспитательница всё – спасибо, спасибо. В комнате из сервиза осталась одна, и в ней лежит накрытый льняной салфеткой хлеб.

Лида опускает голову на подушку.

– Вика и болела мало. Только животом один раз.

Лида тихонько гладит дочкины тёмные волосы. Немного выются на концах – и в кого, неясно. У них-то прямые, соломенные, гладкие. Лида хотела к свадьбе на бумажки и сахарную воду завить – два часа держались, а потом всё одно пришлось косу плести. Она тогда ещё длинная была, коса. Хоть и негустая.

– А что ж она у тебя не разговаривает?

Он-то ждал, когда впервые над дочкой наклонился. Страшный, небритый – спасибо, руки помыл. Сел на корточки, улыбнулся – и ждал, что скажет, узнает. И всё равно, что не видела ни разу.

А Вика не сказала – плакала.

Сначала обиделся, ходил по комнате, на Лиду не глядел. А потом понял, что дочурка-то не только ему – а ещё никому полсловечка в три года не сказала.

– Да рано ведь ещё, Вань.

– Четыре года почти. Пора бы. К врачу носила?

– У нас был детский врач, но его мобилизовали скоро. Но говорю – болела мало.

– А если дальше молчать будет?

Лида не верит. Как это – молчать? Она пела всю жизнь, и теперь будет – Вика заговорит, запоёт – неизвестно, что скорее. Будет мурлыкать перед зеркалом, дядю Сашу радовать. А дядя Саша раздышится – обрадуется маленькой.

Сашка смешно дышит во сне – неглубоко, со всхлипами. Лида привыкла, прислушалась, теперь засыпать, не слыша – странно, непривычно, пусто.

– Была у старушки? Пели?

Лида качает головой, забывая, что в темноте не увидеть.

– Коленька, – говорит она.

Что?

Ваня несколько гулких секунд боится, что она перепутала, мужа другим именем назвала – ведь полстакана остывшего молока раз в неделю, несколько месяцев на МЭЛЗе, в цеху радиоламп, засыхающие на ветвях яблоки в Ташкенте – и вот уже не голосистая Лидка, светлокосая Лидка, а другая, тихая.

– Коленька у неё был.

– Муж?

– Внук.

Вика возится во сне, стонет.

Мы не пели. И хорошо, что не пели. Можно думать – вдруг голос вернулся, зазвучал?

Ведь страшно. Как ходили в детский театр – пианист играл знаменитый, из Ленинграда эвакуированный. Он москвичей и позвал. На вокзале встретились. Он, Гольдберг, предложил – ну спойте пару романсов, нежных. Чтобы людям отдохнуть, умилиться.

Она обрадовалась – неужели и здесь, куда привезли от голода, можно достать для концертмейстера ноты, можно выйти в актёрский зальчик – и петь по жару громко-громко, как раньше?

Но когда они пришли на репетицию и Лида тихонько попробовала распеться в коридоре – и вдруг из заметила, как из темноты смотрит зеркало. А там – тёмная, страшная, больная. Потому что Вика осталась в школе с однокурсницей, которая петь не захотела.

Попробовала распеться – перехватило горло, занемело, загло. Лида извинилась перед Гольдбергом, отговорила чем-то – и побежала. А узбеки оглядывались на бегущую женщину, языками цокали.

Будут две немые – мать и дочка.

* * *

– Виктория Ивановна, так я приду послезавтра?

– Почему – послезавтра?

Она возится с цепочкой на входной двери. С площадки пахнет чистящим средством. Окна в доме зашторены плотно, поэтому я не слышу, кончился ли дождь. Наверное, нет – промокну, пока до метро дойду. А раньше на 9 Мая всегда тучи разгоняли. Но ещё рано – может, завтра разгонят.

– Мы же договорились. Пока вы на дачу не уехали.

Старуха открываем дверь, всматривается в коридор – никого. Электрического света нет – от окон светло. Потолок высокий, и окно высокое. Дождь кончился.

– Так я, может, скоро уеду... Скомандуют – собирайся на дачу. И сразу поеду. Внуки не хотят, чтобы я дома летом кисла. Но вы позвоните. Может, не уеду. Внуки пока ничего не говорили.

Я выхожу на площадку. Хоть бы внуки не приезжали – потому что до послезавтра буду представлять, как снова иду бульваром, поднимаюсь по лестнице, называю своё имя и возраст, рассказываю, как хочу петь – и что поздно, наплевать, и что способностей нет – тоже.

Но внуки не придут. Потому что на стене одни черно-белые фотографии – девушка с косой, парень в гимнастёрке. Внуков нет, потому что нет фотографий.

– Ну вот, и светло снова, – старуха кивает на просветлевшие окна. И вдруг ни с того ни с сего начинает петь – прямо на площадке, в голос:

Звонче жаворонка петь, ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья, небо полно красоты....

Я повернулась к ней и не заметила ни розовой растянутой кофты, ни жиденькой седой косички, ни отросших грязных ногтей, ни старческих веснушек – потому что голос был ровно тем, что звучал в залах и пятьдесят, и сорок, и тридцать лет назад.

Соседская дверь чуть приоткрылась, и кто-то выкрикнул – непонятное, нерусское.

Мне стыдно – точно помешали людям, точно громко кричим в автобусе.

Виктория Ивановна грозит кулаком закрытой двери.

– День, мол, а у них детишки спят, – бормочет. – Я младенцем в любом шуме спала. Мама пела, репетировала – вечно пела: и когда полы мела, когда блузочки перешивала – а мне хоть бы хны.

– Хорошо. Спасибо вам, – она кивает и закрывает за мной дверь. Дверь тоненькая, а шагов не слышно – смотрит в глазок.

На Смоленском бульваре всюду тополиные серёжки. Вырасту ли я и стану ли, как она, петь на площадке, в огромной квартире с двумя закрытыми на замок комнатами, с бумажной иконкой святого, без внуков, без всех?

И не будет ни очереди на почту, ни семечек, ни корвалола?

Пуškai не будет. Я на всё согласна.

Ирина МИХАЙЛОВА,
Люберцы, Московская область

ПОДВИГ

Артем выводит буквы старательно, медленно, черточку за черточкой.

Перед ним образец – прописи, еще оставшиеся с первого класса, и он смотрит в них, чтобы его буквы были хоть чуть-чуть похожи на те, что там. Но они не похожи. Кособокие, мелкие, одна буква залезла на другую, вместо «и» – сплошные палочки. Он зачеркивает все слово, злится, зачеркивает сильнее, нажимает на ручку так, что рвется лист. Вырывает лист, мнет его в белый, с синими полосками, комок и начинает писать заново.

Тетрадь разлинована ровно. Красные поля угрожающе близко. Он боится зайти за них, не успеть перейти на новую строчку. Однако успевает, переносит слово вовремя и тяжело вздыхает, словно от физической усталости.

– Не мельчи. Пиши большие буквы. Видишь – как здесь.

Рядом с ним – дедушка. Мальчик бы не старался так, если бы не дед. С мамой не выходит. С мамой можно закапризничать, захалтурить и ничего в итоге не написать. Но дед... Дед такого не прощает. Он сидит рядом и смотрит.

Артем пишет, доводит букву до самой верхней черты и, когда получается, украдкой косится на деда. А тот следит за его рукой.

– Давай-давай, не останавливайся, строчка еще не закончилась.

И внук начинает писать быстрее. От этого сбивается, вздыхает, переворачивает страницу и начинает опять.

* * *

Артем сейчас в четвертом классе. Его все время ругают за почерк. В школе сложно. Там нужно писать быстро и понятно. У него же получается что-нибудь одно. А всё вместе – нет.

И в школе нет дедушки. Только одноклассники. Помочь – некому.

– Опять, гляди, буква куда уехала, – говорит дед.

Артем смотрит – и действительно, линия перечеркнула букву ровно пополам.

– Букву любить надо и уважать. Она живая. Если перечеркнешь букву – это как человека. Мы на войне письма писали на коленках – и то старались.

Мальчик не понимает, как это – «любить букву»? Разве ее можно любить? Вот маму, бабушку или деда – можно. Это другое дело. Их он любит, поэтому сидит терпеливо и выводит свои буквы.

* * *

Дедушка живет с ним всю жизнь. Сколько Артем помнит себя, столько помнит деда. Бабушку с мамой он тоже помнит. И папу. Но они есть почти у всех его одноклассников. А вот дедушка – лишь у некоторых. И у него. Поэтому это выделяет его, он не как все. И когда спрашивали: «У кого есть дедушка?» – Артем поднял руку и обернулся. Всего несколько человек еще подняли. Он был доволен.

Он тогда пришел домой и сказал:

– Дед, тебя нет ни у кого. Только у меня.

– Ну конечно, только у тебя, – смеялся тот, – у кого же еще?

– Нет... ну мама у всех есть и папа. А дед – только у меня.

– Прямо уж ни у кого? – усомнился дед.

– Ну, еще Макс, Дашка и Толян руку подняли. И больше никто.

Дед как-то погрустнел. И Артем тогда еще решил: наверное, нехорошо думать, что он такой редкий, что таких мало осталось. И он сказал:

– В других классах, может, есть. Я не спрашивал.

– А ты спроси, – подмигнул дед, – может, и правда только трое и осталось?

И засмеялся.

Все это показалось внуку странным. Дед то грустит, то смеется. То радуется, что он такой один, то нет. Артем пожал плечами и решил, что не будет спрашивать.

* * *

А сейчас дед сидит рядом и говорит, что буквы надо уважать.

– Ведь слово – что такое? – рассуждает он. – Это целая жизнь. Вот скажешь «лес» – и появляется перед глазами твоя деревня. А «река» – и сразу вспомнишь, как купаться с тобой ходили.

Да, купаться с ним все время ходили. И рыбу ловили. Все лето на даче. Один раз от мамы досталось и Артему, и деду. Когда утром ушли, а явились к обеду. Бабушка всю дачу обегала. А они сидели на их секретном месте, о котором никто не знал, и дед говорил:

– Рыба тишину любит. В той стороне реки людей много, рыба сюда и уходит. А тут никого. Сейчас рыбы наловим!

– А почему о нем никто не знает, ты же знаешь?

– Ну я! – Дед усмехнулся. – Я уже сколько живу! Все знаю.

– Все нельзя знать, – сказал Артем, – никто всего не знает.

Он тогда боялся, что дед обидится. Но тот не обиделся.

* * *

Артем выводит слова «лес» и «река» много-много раз. Целую строчку.

Дед встает и идет к окну. Уже темно (осенью темнеет рано), дед шурится, всматривается куда-то. Мальчик отвлекается, тоже хочет глянуть в окно, узнать, что там.

– Куда ты смотришь? – спрашивает.

– Никуда. Пиши давай, и получаса не сидим.

Артем опять пишет. А дед все смотрит в окно. Артем часто так его застает. Он словно бы спит, а сам глядит в одну точку.

– Ну ты так долго будешь? – кричит ему тогда внук.

Но дед поворачивается к нему не сразу.

– Что шумишь? Задумался я.

– Не задумывайся так, мне не нравится, когда ты так задумываешься.

– Ну хорошо, не буду, – смеется дед.

Он вообще всегда смеется. Он ничего никогда серьезно не говорит. Скажет – а сам смеется. Ответит – и смеется. Артема это ужасно раздражает. Он хочет, чтобы его воспринимали как взрослого, а не смеялись. И злится на деда. А тот и этого как будто не замечает.

* * *

Только один раз дед не смеялся. Когда к нему пришли из журнала. Пришли разные люди. И старые, и молодые – всякие. Зашли – сели за стол – говорили. Долго говорили. Тогда дед был строгий. И Артем казался сам себе совсем еще маленьким.

– Твой дед – настоящий герой, – сказали гости Артему.

– Почему? – удивился мальчик.

– Он подвиг совершил. Неужели не рассказывал?

Вечером он спросил у деда:

– А ты какой подвиг совершил?

Но дед опять лишь отшутился:

– Какие все совершали – такой и я совершил.

Артем обиделся и решил больше не писать слова вместе с ним.

Когда дед пришел к нему в комнату, внук не сел за стол, а лег на диван и отвернулся к стене. Дед молча приблизился к окну, взял стульчик и стал смотреть на улицу. Так и просидел положенный час, какой они обычно писали с Артемом.

На следующий день было то же самое. Потом тоже. И всю неделю.

Дед не ругался: он никогда не ругался. Просто сидел, а после уходил.

Через неделю Артем сдался. И когда дед пришел опять – уже был за столом с тетрадкой.

Дед достал прописи и стал привычно следить, как Артем выводит букву за буквой. И привычно исправлять: «Это не то, эта буква не туда ушла, эта вкось поехала». Мальчик переписывал одно и то же слово снова и снова.

* * *

Это уже потом он узнал, что дед в конце войны на подступах к Вене один взял в плен двух немцев. А на следующий день, в разведке, засек огневые точки противника и дал целеуказание для их уничтожения.

Отец рассказал.

– А что такое «целеуказание»? – спросил Артем.

– Цель, значит, верную дал, – ответил отец.

А еще Артем узнал, что дед первым форсировал Малый Дунай, вел неравный бой и вышел победителем. А затем принял на себя командование и продолжал бой. За что и получил Красную Звезду.

При жизни деда Артему об этом не рассказывали.

* * *

Дед его никогда не хвалил – как бы внук ни старался.

– Ты и так должен делать хорошо, – говорит он. – Плохо делать не разрешается.

– Кем не разрешается? Тобой?
– Да хоть бы и мной!
– А когда тебя не будет, то можно плохо делать?
– Когда не будет – тоже нельзя!
– А как ты узнаешь?
– Я все узнаю! Буду в окошко к тебе заглядывать. И если увижу, что не пишешь в положенное время, то сразу все узнаю.
– Я окно закрою! И вообще перееду!
– А я и через закрытое. У меня повсюду будут глаза.
Артем больше не знал, что сказать. Глубоко внутри он верил, что дед и правда все видит, даже если окно закрыть.
– А ты когда-нибудь умрешь? – спросил однажды мальчик.
– Умру, – ответил дед, ни на секунду не задумавшись.
– И как же будет?
– А вот как: меня возьмут и вот так разрежут. – И он показал пальцем вдоль живота.
Артем зажмурился.
– Не бойся, – сказал дед, – это уже не больно будет.
Тогда Артему стало как-то не по себе. Что вот дед скоро, наверное, умрет, а все-таки сидит с ним и пишет буквы. Целый час в день. Это же так много! А мог жить для себя.
С тех пор внук старался научиться писать лучше и быстрее, чтобы дед отдохнул и не тратил с ним время. Но быстрее и лучше никак не получалось.
– А так хорошо? – спросил Артем и полюбовался на ровное, красивое слово, написанное четко в своей строчке.
Дед ему не ответил.

* * *

– Тём, отдохни. Бабушка пришла, посиди с нами.
Вошла мама и встала около. Заглянула в тетрадку:
– Хорошее слово получилось. Молодец.
Сын посмотрел на нее. Обвел глазами комнату. Больше никого не было. Деда не было.
Мама взяла тетрадь.
– Очень хорошо, – сказала она. – И в школе так же пиши.
– Ладно!
Он закрыл свою писанину и вылез из-за стола.
– Пишешь? – спросила бабушка на кухне. – Деда теперь нет – с тобой заниматься. Давай сам.
– Ладно! – опять сказал Артем.
А сам подумал: глупая бабушка, не понимает ничего. Дед есть, всегда будет, говорил же – в окно смотрит. Вдруг Артем замер.
– Сейчас приду! – крикнул он.
Побежал в комнату, раскрыл тетрадь на хорошем слове – и вернулся обратно.
Дед посмотрит – пусть видит.
Тетрадка осталась лежать на столе открытая, со словом, ровно уместившимся в линейки на листе бумаги.

Анастасия РАСПОПИНА, *Нижний Новгород*

Девоптица

Пусть тебя не обманут наряд мой и шлейф волос:
Сердце твёрже, чем камень, и правда – в алмазных гранях.
Сто смертей позади и сто взлётных седых полос...
Милосердие – в граммах, и только для тех, кто ранен.

Мало проку владеть серебристым моим пером:
Прихожу, исполняю желанье и вновь свободна.
У меня от рожденья бессрочный контракт с добром –
То, что вечно, прекрасней того, что сегодня модно.

И в сотысячный раз всё по-прежнему будет так –
Мои честные крылья бесчестию не послужат.
Выбирай тех несчастных, которым цена – пятак,
Кто позволит развлечься и даст себя съесть на ужин.

Чтоб меня приманить, ты опять разложил костёр,
Твои люди с сетями соврут и не покраснеют,
Мне дано избежать незавидной судьбы сестёр,
Ведь и смех мой жемчужней, и небо моё синее.

Пересвет

Он приходит в болезни и горе, в последний день,
И роняет из уст тёплый жемчуг и самоцвет,
Смутно памятный всем, как отец Александр Мень
Или наш нестареющий юноша – Пересвет.

У него нет вопросов, упрёков и «как же так»,
И сокрытые правды столь ясно ему видны,
Что теряются смыслы всех выпадов и атак,
Испаряется зависть к ничтожным делам земным...

Он приходит и просит: «Давай же, открой глаза,
Сделай шаг свой на воду, на облако, в синеву,
Аметист и сапфир мой, кристальная бирюза!»
Улыбаюсь, шагаю, взлетаю – и так живу.

Всем моим братьям

Мы выплывем, брат мой? Ответом – и «нет», и «да»:
Надежда коварна: расслабит, собьёт с пути.
Земля по обратную сторону «никогда»,
Тебя не достичь, но как можем мы не грести?

Мой брат, рассекающий вечности океан,
Чтоб дать мне дорогу и вновь отвести волну,
Тебя донесу я до берега дальних стран,
Когда ты устанешь и тихо пойдёшь ко дну...

Кричат альбатросы, и в тёмных воронках – смерть:
Там щерятся скалы, вздымаются буруны...
Безмолвны небесный простор и земная твердь,
Но мы спасены, разумеется – спасены.

Мужские реплики

I

«Я тебя выставлял, как картину в багетной раме,
Но держал, как соломинку, счастье своё и зная.
Я шептал: “Дорогая, родная моя цунами,
Приходи разбиваться о мой причал!”»

II

«Без тебя у меня распадается свет на кванты,
Постулаты не вечны, горят и трещат константы,
Небо, павшее наземь, ушиблось – зовёт Атланта...
Я беседовал с Богом, но Он молчал».

III

«Ты добра... Не возлюбленный твой, но ближний,
Я вернусь, прилечу, я приеду в твой нежный Нижний
И опять забегу за твоими стихами в книжный:
Суждена книге полка, а тьме – свеча!»

IV

«Ты права – из спектакля не вышло толка,
Я согласен Окой быть, когда ты Волга,
Я не праздновал жизни преступно долго,
Полной грудью вдыхая и хохоча...»

V

«Это вовсе не я, кто покинет планету Горький,
Будет “Ретро-FM” петь о бабнике нашем Борьке,
Проводница в берете под цвет пионерской зорьки
Даст сигнал уезжать – за началами всех начал!»

Имя мне

Позовут – и умчишься, неся свой ранец,
Набирая в грудь воздуха перед бранью...
Не держу. Обещаю полёт и танец,
Потому-то и имя мне – Состраданье.

Не боюсь я дороги, ведущей криво,
Не страшусь золотой седины осенней...

Закрываю глаза и лечу с обрыва,
Потому-то и имя мне – Воскресенье.

Дан отсчёт всем финалам и всем началам,
Таймер скрыт в не дошедшем последнем байте.
Это лучше всей музыки, что звучала –
Вот поэтому имя мне не давайте.

Предвечному и земному

Ты всё знаешь: какую себя скрываю,
Сколько в связках поющих моих ключей,
Где права я и где не вполне права я,
Где шумят водопады, а где – ручей.

Если Тот, на которого уповаю,
Снова выберет в казнь мне седую сталь,
Защитишь ли меня, голос свой срывая,
Говоря, что я твой дорогой хрусталь?

И в какую бы ночь ни ушли трамваи,
Ты же сменишь маршруты их на «рассвет»?
Если станет пунктиром моя кривая,
Ты заполнишь все пропуски твёрдым «нет»?

Будет домик у моря на длинных сваях,
Будут крупные хлопья ночной пурги...
Я – живая, любимый. Твоя. Живая.
Если можешь, пожалуйста, береги.

Фарватер

Это не для меня – быть унылым блюзом,
Мне гораздо милей оставаться смехом:
Я – из рек, что весною ломают шлюзы,
Я – из гор, что всегда порождают эхо
(Не коварных, зовущих скорей сорваться,
А из тех, что дают пропуска в закаты).
Я – связной, поставщик межпланетных раций,
Я – паромщик, возящий людей без платы.
Я не стану пустыней с колючей пылью,
Ни болотом, ни омутом и ни мелью.
Я – фарватер, семь футов твоих под килем.
Я – твоя, чтоб всегда оставаться Целью.

Берегиня

У меня не полки – лишь коренья, листва и травы,
У меня не вино – чистых горных ключей вода...
Если я и царица, то этой глухой державы –
Так какого же лешего вам приходить сюда?

Впрочем, знаю ответ: вам мерещится запах мёда
И молочные реки – кисельные берега...
Мой узорчатый меч-кладенец никому не продан,
Он – для лучших из лучших. Я – правильна и строга.

Понимаю, что можно меня победить обманом,
Но украденный меч не послушен и не остёр,
И не бьёт он врага, а наносит владельцу раны:
В его стали булатной – волна колдовских озёр.

Просто будьте честны – я отдам вам его без слова,
Просто будьте правдивы – до самых границ души...
Небеса распахнутся для песни святой и новой,
И убитый услышит: «Воскресни. Живи. Дыши».

Каллиопа

Он сидит за газетой и хмурит высокий лоб,
Но охотнее слушал бы песнь парашютных строп,
Никому не судья, не хозяин и не холоп –
Лютый зверь непротоптанных диких троп
Убеждает себя: «Я – серьёзен. С собой – владею!»

Она бьётся, как лава о стык литосферных плит –
Пламя плещется в ней и вода перед ней горит,
В ней поют и цветут острова её – Кипр и Крит,
Отпечатки балов на колене нежнейшей из Маргарит
Поцелуями мёртвыми грешными холодеют.

Он давно доказал, что не властна над ним судьба –
Он отнюдь не из тех, кто способен ходить в рабах,
Но он помнит, насколько сильна она и слаба,
Её имя грустит, словно соль, на его губах,
Потому что он видит не женщину, а Идею.

Дарина ЛЫСАКОВА, Донецк

Чужаки

А там – только снег, и снег...
И серой полыни шарф,
Рассеянный гордый бег
Осколком небес в руках.

А там, в этих диких горах,
Попавший в капкан туман,
Танцует на волчьих следах
Проросший в снегу дурман.

А там – голубая былль,
Вуалью на горных хребтах.
И красные корни жил
Потерянных в этих снегах.

Холодный, безбрежный круг –
Замерзшей луны печать.
И сотни корявых рук,
Согбенного леса рать.

А там, высоко над землей,
Где плавится неба край,
Во льду комариный рой
Рассыпанных птичьих стай.

Полозья на теплой золе
Скрипуче кусают тишь,
И луч на багряной коре
Как беличья шуба рыж.

Цепочка оленьих следов
На шее обрыва крутой.
Вдруг тень между сосен рогов...
Чужой.

Владислав АСЕЕВ, Москва

Я люблю тебя

Я люблю тебя. Это едва ли секрет и новость,
Ведь об этом дрожат каждой клеткой мои стихи.
О любви не кричат – криком полнится сердца полость
Наяву и во сне. Я однажды проснусь глухим.

Я люблю тебя так, как сумеет любой мужчина,
Если он за тебя не боится пойти ко дну,
Если ты – его жизни единственная причина
И причина отдать её лишь за тебя одну.

Я люблю тебя. Что бы мне с неба дары ни дали,
Ты всегда будешь лучшим подарком, что дан судьбой.
Жизнь сулит: исписаться поэтам, износ деталям,
А я счастлив, что буду в итоге испыт тобой.

Я люблю тебя. Ты – это повод бросать привычки,
Изменять своим слабостям и, наконец, порвать
Эти рабские цепи и к жизни найти отмычки.
Ты не повод стремиться к великим, ты – повод стать.

Я люблю тебя больше, чем каждое из мечтаний,
И чего бы они ни сулили мне, в медь трубя,

Пожелай – я любое предам из своих исканий,
Только я никогда не посмею предать тебя.

Я люблю тебя. Я был тобой огранён и сделан,
Твоя ласка нарезом прошла по мне, как фреза.
Я покорен тебе, будто самый могучий демон,
Чью бездумную силу смирили твои глаза.

Я люблю тебя, даже едва находясь в сознание.
Я мечтаю о нас, даже если болит в груди.
Я дышал лишь тобой, когда вдруг подвело дыхание,
И прошёл эти тысячи льё под щитом из льдин.

Я люблю тебя. Пусть я годами твержу об этом,
Я напому ещё не десятки, но сотни раз.
Как простому мужчине и в точности так поэту
Услаждает язык повторение этих фраз.

Я люблю тебя. Знай, мне не нужно ни страстной клятвы,
Ни любой из похожих отчаянием бравад.
Я срезаю букеты цветов стихотворной жатвы,
Чтобы выстелить ими дорогу в наш райский сад.

Я люблю тебя — это читается строк не между,
И я верю, как прежде, в тот ветер, что нас спасёт.
Награди эту исповедь светом улыбки нежной.
Я люблю тебя, милая. В общем-то, вот и всё.

Coup de grace

Господа, мы ведь каждый немного из Сан-Франциско,
Да и время бы с радостью отдали в депозит.
Я листал каталоги судьбы, воровато рыскал,
И остался лишь с тем, что в груди моей – сквозит.

Мы всё ждём, потираем ладони и просим шанса,
Новых лет, понедельников, чистых листов, весны.
Позади оставляем дома, спешно выючим ранцы
В долгих поисках самой освоенной целины.

Наше место под солнцем в цене, словно «метр» в столице,
Всё растёт и растёт. Мы толпимся на полюсах.
А сегодняшний рыночный курс журавля к синице
Отражен, как морщины в стекле на моих часах.

Мы воспитаны сказкой. Засечки, черты, недели –
Как банкноты в бикини Фортуны за стрип анфас.
Мы наивны, как в хосписе. Светом в конце тоннеля,
Проступает, чертой между датами, coup de grace.

Павел ВЕЛИКЖАНИН, г. Волжский, Волгоградская область

Ледяные батареи девяностых

Ледяные батареи девяностых.
За водой пройдя полгорода с бидоном,
Сколько вытащишь из памяти заноз ты,
Овдовевшая усталая мадонна?

Треск речей, переходящий в автоматный,
Где-то там, в Москве, а тут – свои заботы:
Тормозуху зажевав листком зарплатным,
Коченели неподвижные заводы.

Наливались кровью свежие границы –
Ну зачем же их проводят красным цветом?
А в курятнике мелькала тень куницы
В гуще тех, кто верил собственным фальцетам.

Только детям все равно, когда рождаться:
Этот мир для них творится, будто снова.
Сколько раз тебе и петься, и рыдаться,
Изначальное единственное Слово?

Мы играли на заброшенном «Чермете»,
В богадельне ржавых башенных атлантов,
И не знали, что судьба кого-то метит
Обжигающими клеймами талантов.

Мы росли, а небо падало, алея.
Подставляй, ровесник, сбитые ладони!
Вряд ли ноша эта будет тяжелее,
Чем вода в замерзшем мамином бидоне.

Снегопад на Рождество

Сшита рана меж землей и небом
Миллионом нитей белоснежных.
Хоть порою не хватает хлеба –
Чаще не хватает нам надежды.

Вроде бы живем... А что-то надо,
Что словами выразить непросто...
Целый век бы этим снегопадом
Бинтовать душевную коросту.

Спрятал снег осеннюю разруху,
И повсюду вырастают сами
Изваянья добродушных духов
С красными морковными носами.

Ветер всем щелям допел колядки,
Впитываю белых звонниц медь я.
Бьется сердце в поисках разгадки,
Ждущей часа два тысячелетья.

Светом звезд костры-сугробы тлеют,
Чтобы понял одинокий путник:
В мире стало тише и светлее,
В мире стало чуточку уютней.

И не тает вера в то, что снова
К нам блаженство детства возвратится,
И кому-то нужно наше слово
На пустой нехоженой странице...

Сергей КОРОСТЕЛЕВ, Москва

Двадцать второе июня

Пруды давно зацвели. Лето было в разгаре.
Сонный пастух гнал стадо тучных коров.
Трактор гудел. Слышался запах гари
от пылавших в округе костров.

Каникулы в школах. На босу ногу и полу-
раздетыми, с хлебом, что редко когда был черств,
дети почти целый месяц уже не ходили в школу,
до которой несколько верст.

Далеко в городах пыхтели трубы заводов —
попыхтеть приходилось, чтоб выполнить план.
Над шестой частью суши, над головами народов
в небе беззвучно пролетал аэроплан.

Бойкий австриец — он был председатель колхоза —
выдумал строить мельницу, чтобы молоть зерно.
Колхозник несмело твердил, точно под силой гипноза,
что ученье всесильно, ибо оно верно.

Жизнь шла своим чередом. Рождалось тихо веселье
в душах трудящихся, благо что был выходной.
Вдоль деревенских хат тянулось то воскресенье,
долго тянулось и долго стояло стеной.

Дождь не кончался. Втыкая лопаты в сырое,
солдаты рыли землянку, думая, что каждому из нас
уготовано заранее свое двадцать второе
июня, свое воскресенье и свой же закатный час.

Возвращенные имена

Евгений ЧИРИКОВ

Русский писатель, драматург, публицист. Родился 1864 году в Казани в небогатой дворянской семье. Учился в Казанском университете на юридическом факультете, затем перешёл на математический факультет. За участие в беспорядках в 1887 году был исключен и выслан в Нижний Новгород. Испытывал влияние народнических и социал-демократических воззрений. Дважды арестовывался, жил под надзором полиции в Царицыне, Астрахани, Казани, Самаре, Минске. Студентом начал писать в провинциальных газетах. После первых литературных успехов переехал в Москву, затем с 1907 года жил в Санкт-Петербурге.

Октябрьский переворот не принял. В 1918 году отбыл в Ростов-на-Дону, где возглавил литературный отдел ОСВАГАа (пропагандистский орган Добровольческой армии, а в дальнейшем – Вооруженных Сил Юга России во время Гражданской войны), затем в Крым. В 1920 году выехал из Севастополя в Константинополь. В начале 1921 года перебрался в Софию, затем обосновался в Праге, где вместе с В. И. Немировичем-Данченко возглавил русскую колонию. Был первым председателем правления Комитета по улучшению быта русских писателей и журналистов, проживающих в Чехословакии, почетным членом Союза русских журналистов и писателей. Выступал с лекциями, сотрудничал в русских и чешских периодических изданиях.

Умер в 1932 году в Праге.

ЛЕСАЧИХА*

Говорили о русском народе. Говорили русские же люди, но походило на то, будто собрались ученые иностранцы, приехавшие из чуждых дальних стран для исследования малоизвестного человеческого племени: одни хаяли, называли дикарями и варварами, другие старались смягчить свой приговор, подыскивая оправдывающие исторические обстоятельства; только один ученый остался при особом мнении: восхищался русским народом. Его оскорбляли суровые приговоры собеседников, он отрицательно тряс седой уже головой и повторял:

- И все это неверно! Не согласен.
- Ну а вот, например, невежество? Вы его признаете или отрицаете?

* Публикуется по изданию: Чириков Е. Между небом и землей. Париж, 1927.

– Какое именно невежество? Научное? Что мужики не учились у нас в гимназиях и университетах?

– Да просто безграмотность! Темнота, болото всяких предрассудков и суеверий. У русского народа до сей поры живехоньки и лешие, и домовые, и оборотни, и черти, и что угодно. И поля, и леса, и реки, и избы полны всякой чертовщиной...

Седой покачал укоризненно головой:

– Вот вам-то, как писателю и поэту, казалось бы, совсем не следовало рассуждать так, как все прочие интеллигенты, гордящиеся перед своим народом аттестатами зрелости! Все это слишком поверхностные рассуждения...

– Позвольте! При чем же, однако, тут писатель и поэт?

– Вы упрекаете народ в том, что он верит в чертовщину. Тут я – при особом мнении: где Бог – там и черт, где святость – там и чертовщина. В этом бездонная глубина народной мудрости, облеченной в великолепную поэтическую форму. Неважно, как называются два извечно борющихся в душе человеческой начала – Добро и Зло, это все – проходящее, но важна религиозность, проявляющаяся в этой поэтической форме. Поэзия, как вам известно, родная сестра религии. Поэзия, как и религия, построена на вере в Бога, в чудеса, в откровение свыше. Вся наша литература рождена из этой веры в Добро и Зло, и только такая литература носит русский национальный характер, а всякие эти новомодные, украденные за границу школы, – все это так, мыльные пузыри!

Спор разгорелся. Посыпались взаимные упреки. Седой доказывал, что если веришь в Бога, то нельзя не верить и в черта. Это – символика всей философии мироздания и миропонимания, а не дикарское невежество.

– Вы все поклонники монизма и в науке, и в философии, а русский народ природный дуалист, и от дуализма – вся его мудрость. Именно поэтому вы все – чужды духу русского народа и взаимно не понимаете друг друга. Вы материалисты до корней волос и давно превратились в представителей романо-германского племени...

Постепенно спор смягчался остротами и шутками, и, как всегда, не доведенный, по русскому интеллигентскому обычаю, до конца, никого ни в чем не убедил и перешел, в конце концов, на рассказы разных «случаев», в которых принимала участие «чертовщина». И тут писатель-поэт забыл, что он не верит ни в Бога, ни в черта, и тоже поведал одну маловероятную историю, которая будто бы произошла с его дедом:

– По роду-племени мы – лесные люди. Дед мой, а потом и отец – имели наследственное дело: разрабатывали и сплавляли лес по Ветлуге. Я сам еще помню, как мальчиком жил с отцом в лесах целую зиму, до весеннего сплава. Точно в сказке жил! Лес вроде моря... В нем тоже «много тайн погребено». От одной из таких «тайн» и дедушка мой, как потом мне рассказывали, погиб...

– Что же, Леший обошел?

– Интереснее: не Леший, а Лесачиха.

Подвыпившей компанией сразу овладело игривое настроение. Снова начались шутки и остроты... Это еще что за зверь, Лесачиха? Жена Лешего?..

– Не во всех лесах живут эти Лесачихи. А может быть, в других местах их называют иначе. Лесная девка, развратная красавица. Путается

обыкновенно с Лешими, но иногда, для разнообразия, развлекается и с человеком, особенно любит дурачить людей, стремящихся к святости и непорочности, блюстителей всяческого благообразия и строгой жизни. Тут она – такая проказница, что и описать трудно. Оборачивается то в голую бабу, то в красивого инока, то воздвигает келью под елью и является в образе монаха-отшельника, для охотника – перевернется ланью или оленем, для странника по святым местам – нищенкой, старухой. Понимает в каждом человеке слабую сторону и на ней строит свои проказы. Что она чисто русского происхождения – свидетельствует ее пристрастие попариться в баньке. Впрочем, и Леший – большой охотник до этого удовольствия. Само собою разумеется, что такое пристрастие Лешего и Лесачихи к баньке зимой, в трескучие морозы, связывает их узами супружества. Поэтому нередко Лесачиху и считают женой Лешего.

Однако если тут и есть супружество, то весьма сомнительное, случайное... Просто связь по расчету. Леший – старик, а Лесачиха – молодая бабенка, весьма легкомысленного характера, свободолюбивая, в домашнем хозяйстве Лешему не помогающая; Леший живет бобылем круглое лето и зиму и лишь изредка совращается с «правильного пути», или, как говорят в народе, «балует» на старости лет... А так как лес находится в полном самодержавном управлении у него, то, конечно, и брошенные лесорубами бани поступают в его единоличное распоряжение. Зная слабость Лесачихи к баньке, Леший пользуется слабостью этой женщины и взимает с нее подать натурою. Что взять с голой бабенки? А Леший – мужик хозяйственный и скуповатый... С паршивой собаки – хоть шерсти клок!.. Так-то. Это уж не жена!..

Так вот от этой самой подлой бабенки погиб и ветлужский степенный купец, лесоторговец, Вавила Егорыч Карягин, человек пожилой, лет под шестьдесят, но крепкий здоровьем и силой, набожный, строгий в семейной жизни. В ту пору он был уже дедушкой: человек восемь внучат имел... Насчет женского пола – ни Боже мой! До пятидесяти лет, кроме своей законной супруги, Марфы Игнатьевны, никакой женщины не знал и знать не хотел. Как отцы и деды, по старой вере жил, чистоту веры блюл, как свое око, и за детьми приглядывал, чтобы не совратились или в ересь или в какое-нибудь блудное окаянство. Начетчиком был и на память все Евангелие знал. Из себя очень видный старик был: прямо богатырь! Седина серебряная в бороде и в кудрях, а бровь темная, глаза огнем горят, голос басистый и, как заговорит, по всему лесу слышать. Одну слабость имел: раз в год точно от жизни уставал вдруг и недели на две запивал. Но и тут разуму не терял: как почует, что пора блудодействия и греха приходит, – захватит, сколько нужно, зелья проклятого, закусок всяких, воды запас и прикажет себя запереть в зимовнике, чтобы никто этого соблазна не видал и не впал во искушение. Пройдет полоса блудодействия – сейчас в баню, вымоется, выпарится, благообразный вид примет и в село молиться да поклоны отбивать. Не согрешишь – не замолишь! Отмолится и снова за дело. И точно ничего не было. Что пропустил в деле да в трудах – наверстает, вдвойне трудится. Долго в глаза людям не глядит: совестно, и строгость к рабочим оставляет. Ну а потом помаленьку все забудется, и опять прежний «хозяин»: покрикивает, поругивает, во все глаза глядит,

чтобы лени и ротозейства не было. Опять кипит работа в лесу. Опять голос Вавилы Егорыча по лесу зычно гудит...

Много Вавила Егорыч лесу в Волгу сплавил, и плотами, и белянами, и дровами. Много белых сосновых изб по берегам Волги разбросал. По всему Поволжью Вавилу Егорыча знали, от Казани до Царицына, на всех лесных биржах его имя поминали. Одним словом – царь лесной. И богат, и именит был, а новая жизнь, греховная, веселая, что по городам да ярмаркам купцы новые завели, – Вавилу Егорыча не приманивала. По старине жил. Так и говорил: «Пущай молодые поганятся, а я в строгости жил, в строгости и помру!» И вот такого-то лесного кряжа и облюбовала блудливая и похотливая баба лесная, Лесачиха! Забавно ей показалось над богатырем лесным покуражиться да над ним свою женскую силу попробовать. Хотя и нечисть, а все же баба, женщина, сеть дьявольская, как говорится в святом писании праведников жизни... И вот как это случилось.

Хороши леса ветлужские летом: море-океан, без конца, без края, – пучина зеленая. Шумит и днем, и ночью под ветром вершинами, как волнами колыхаясь под голубыми небесами, а в тихую погоду – молчит зеленым молчанием да прислушивается, что на земле делается, да с небесными очами перемигивается. Полон чудес лес весной и летом, потому что в нем всякие волшебные травы прячутся. В лугах теперь перевелись они, а в больших лесах, на трущобных луговицах и теперь найдешь и «плакун-траву», что от слез Богородицы зачалась (когда Пресвятая Богородица по Сыне слезы роняла на матушку сыру землю, от тех слез плакун-травы зарождалась). Затаптала ее грешными грязными ногами люди в лугах, и силу свою она потеряла, а вот лесная плакун-травы и теперь от вражьей силы спасает, все бесы ее боятся и, как дух ее слышат, прочь со слезами разбегаются. Тоже и одолень-травы, и цвет папоротника, и обратим-корень, что девиц и парней привораживает, – все можно найти в дремучем ветлужском лесу. Хорош лес весной и летом, ну а зимой – прямо заколдованное царство! Снежное царство! Огромные сосны и ели – как крыши под снегом, елки – как белые шатры и палатки по лесу раскинуты. Точно замороженный, стоит лес зимой в тихую погоду, а как завертит буря – заскрипят старые сосны, засверкает огоньками снег, сбрасываемый ветром с вершин, задымится лес серебряным снежным дымом – прячась тогда куда ни на есть, а то заметет да заморозит; всего лучше в старый «зимовник» схорониться, а уж прямо благодать, если на брошенную баню наткнешься: накалишь печь сушьем смолистым, да и спи с Богом! Тепло, как в натопленной избе, и никакой зверь не страшен. Одна опасность – на Лешего или Лесачиху, а то и на обоих разом можешь наткнуться! В сваты попадешь – запарят тебя до смерти!..

Так вот вроде этого и с дедом Вавилой вышло. В первый раз он на Лесачиху летом наткнулся. Так было. Объезжал он лес – заметки на деревьях ставил: которые сосны зимой рубить. Верхом был. Однако коня бросать приходилось: разве в чащу пробьешься? Оставит лошадей на тропе, привяжет к дереву или пню старому, а сам углубится и отбор делает: толщину и высоту определяет да метки ставит. Неученый человек, а прямо чудеса делал: высоту любого дерева мог определить безо всякого инструмента! Только палка в руках. Отойдет от дерева, воткнет палку в землю, а сам на землю ложится и глядит на конец палки и на вершину дерева. Раза три

место переменит, потом – готово: соскочит, шаги до дерева пересчитает и высоту обнаружит. Сколько раз мужики с ним спорили, об заклад бились: срубят дерево, саженой прикинут – правильно определил! Только никому он того секрета не открывал. Так вот, однажды летом – дело уж под вечер было – углубился он в лес без коня, с одной палкой в руке, и делал свое дело. То ляжет, то встанет, высчитает и пометку на дереве и в своей книжечке. Вот воткнул он этак палку и пошел дальше – лечь. Лег на траву-то, глядит, а вместо его палки-то голая девка стоит да свою косу русую гребнем расчесывает. Встал, идет: опять палка! Ляжет, поглядит – голая девка во всей натуральности и безо всякого стыда, даже рукой срама не прикроет, бесстыжая. Ну, конечно, опешил человек, понял, что бес соблазняет. Плюнул, перекрестился и бросил это дерево без пометки. Пошел к другому, лег – опять она же! Стоит, да еще и смеется, гадина, греховно потягивается и рукой манит. Красивая – и сказать нельзя!.. Опять плюнул, к новому дереву пошел: опять стоит! Пригляделся уж Вавила, страх-то прошел, посмелее стал, заговорил:

– Отвяжись ты, окаянная, от меня! Видишь – борода серебрится, а ты...

– А ты не гляди, коли что!

– Я на кол гляжу, не на тебя... Не видал я, что ли, голой бабы? Невидаль!

– А ты хорошенько погляди! Таких, наверно, не видал!

Ну и стала она перед дедом красоту свою показывать: и так, и этак повернется, ногу подымет, грудью потрясет, ляжет... Смотрит дед и чувствует, что смущение в нем начинается:

– Без стыда ты и без совести! – попрекает ее, а сам за ухом чешет да оглядывается.

Хочет и манит: руки растопырила – жду, дескать. Ну тут совсем помутилось в душе у Вавилы. Рванулся к ней да и обнял... палку, что сам в землю воткнул. Держит жердь, а Лесачиха под сосной стоит да хохочет. От смеху вся содрогается, унять ее не может. А потом говорит:

– Кто красивее: я или твоя Марфа Игнатьевна?

– Это к делу не относится...

– Э, ловкий! Нет, говорит, меня любить – всех других забыть! Согласен?

– А что будет?

– Если согласен, скинь с груди крест, брось, плюнь на него и ногой разотри, а тогда пойдем со мной к озеру, там во мхах проживем – все на свете забудешь от моей любви да ласки...

Задумался Вавила Егорыч. Совсем было бес одолел: за крестом за пазуху полез, да случай спас – ветер колокольный звон принес из села. Опомился, плюнул, перекрестился да прочь скорее. Чуть не бегом, только поскорее бы от сладкого соблазна уйти: чувствует, что и самому за себя перед таким грехом трудно поручиться. Вышел на тропу, идет к лошади, поднял голову, а вместо лошади опять она стоит! Стоит да смеется...

– Очень, – говорит, – ты мне приглянулся! Никаких, – говорит, – кляत्व я с тебя не возьму и от твоей супруги отречения не потребую... На! Так бери меня в охапку, только крест с груди сыми, потому без этого у нас с тобой ничего не выйдет...

Однако Вавила Егорыч уже себя в руки взял. Смотрит в землю и ругается нехорошими словами.

– Я, – говорит, – человек крещенный по древнему уставу и с нечистью поганиться не буду. Поди ты... откуда пришла!

Да крестным знаменем и осенил ее. И как только осенил – вместо нее оказалась опять лошадь. Сел Вавила Егорыч в седло и марш из проклятого места. Потом очистился телом и душой, попустился, сколько после такого блуда следовало, а покою все-таки долго не было: снится, проклятая, кажную ночь, да и кончено! Жена рядом лежит, а ему чудится, что не жена, а эта самая подлая бабенка лесная. Проснется – огонь вздует и поглядит. Все не верит:

– Ты, Марфуша, тут?

– Ну а кто же?

Рассердится, конечно, женщина со сна. Ночью снится, днем все из головы не выходит. Вспоминается все, как это видение самое в лесу имел, и все раздумье берет: не согрешишь – не замолишь! И как эта полоса найдет, Марфа Игнатьевна не глянется: и стара, и некрасива кажется. Весь день злой ходит, на жену и детей кричит, ничем не угодишь, все – неладно... Смутила, проклятая! Хотя настоящего греха и не вышло, да не все ли равно? Как оно в Писании сказано? «Ежели хотя только посмотришь на женщину с вожделением, и то согрешил уже с нею в сердце своем!»

«Значит, все одно бы уж, разница малая! – думается все Вавиле Егорычу. – Блудник!» И досадно становится: добро было бы из-за чего, а то... А потом бес на ухо и зашепчет: «И дурак же ты, Вавила Егорыч! Семь бед – один ответ, а ты и невинности не соблюл, и сладости греховной лишился, случай какой упустил в жизни!.. А много ли тебе и жизни-то осталось?» А мысли греховные – как пряжа: ниточка за ниточкой тянется да на веретено закручивается, а потом из них можно и веревку скрутить! Стал часто в лес отлучаться. Сядет на коня и закатится. Колесит, колесит по лесу, все надеется, что опять Лесачиху встретит, – нет! Не кажется. Как сгинула. Пробовал и крест с груди скидывать – ничего не выходит. Все около тех мест блуждал – где тогда видение имел. Было в тех местах озеро лесное. Раз приказчик за охотой ходил, брел мимо озера, раздвинул камыши и видит: на другой стороне хозяин, Вавила Егорыч, сидит, словно рыбу ловит – все на воду глядит. А вернется домой – злой, как черт. В этом году вместо одного раза – трижды запивал и запирался, трижды очищался и пост держал и Марфу Игнатьевну совсем от супружеского ложа отлучил и по субботам один стал в бане париться. Думали все – что это для ради праведной жизни, а на деле-то совсем по другой причине: супруга в оголении в памяти видение пробуждала, а от этого сравнения Вавила Егорыч в злобную ярость приходил и последний раз, как вместе в бане парились, Марфу Игнатьевну побил и нагишом из предбанника вышвырнул... Вроде как помутнение в голове произошло. Однако осенью оправился. Точно дожди грешную погань с души смыли, а ветры буйные грешные помыслы раздули на все четыре стороны. Опять стал поласковее, повеселее и даже опять к супружескому ложу возвратился. Сказывали, будто одна старуха какой-то чудесной травой его отпоила, бесовское навязание с него сняла. Весь год благополучно прошел. Хорошо зиму проработал в лесах, большие дела по лесной части заворотил, а как

сплав покончили, домой вернулся – узнать нельзя: помолодел, нрав покладистый, характер веселый, с женой ласков, с детьми говорливый и с людьми приветливый. Все семейные диву давались: словно лет двадцать с плеч скинул! И шутит, и смеется, и прибаутки говорит. И раз вечерком, когда чай пили и разное рассказывали, не удержал своей тайны – рассказал случай этот, как Лесачиху видел! Все рассказал. Кто поверил, а кто нет. И как рассказал, опять сниться стала... А потом запойная неделя подошла. Только неделя-то на этот раз длинная вышла. Неделю взаперти пил да дён пять на воле опохмелялся. Старуха потом говорила, что не надо было своей тайны на люди выносить, – заговорная сила от этого пропадает. А вот он свою тайну людям выдал, опять началось. Проснется ночью, огонь вздует и на супругу законную смотрит:

– Это ты, Марфа?

– Ну а кому тут еще лежать? Окстись!

И пошло все по-старому: на жену не глядит, в баню с ней не ходит, на всех злобствует. И так до зимы. Суровая зима в этом году выдалась... Старики не запомнят такой стужи да буранов и метелей, какие в эту зиму прошли. Вавила Егорыч со старшими сыновьями, как всегда, на зиму в леса уехал. Много мужиков у них на работах в этом году было: большая вырубка намечалась. Два зимовника срубили: для себя и для рубщиков, повесть для лошадей сделали, много провианту всякого запасли, десятиведерный бочонок водки повезли – дело зимнее да тяжелое. Бабу с собой взяли: как же без бабы в таком хозяйстве? Молодую солдатку взяли. Не так, чтобы строгого поведения, да зато – проворная и работница, ни с каким делом не считалась: и обед стряпала, и белье стирала да чинила, и в долгие зимние вечера повеселить умела – хорошо сказки говорила и песни пела, а водочки поднесешь – и попляшет с платочком. И хотя одна баба, а от нее всем удовольствие: нет той скуки, какая без бабы в лесу зимой по праздникам одолевает. Конечно, баба молодая, видная из себя: немало и вздору из-за нее в артели бывало, однако это – беда маленькая: подерутся с ночи, а утром, как на работы идти, опять – дружки. Лукерьей ту бабу звали. Зубы уж очень белые казала, как смеется! Всех она этими зубами дразнила, приманивала. Нравилась, то есть. Ну да разве одни зубы у смазливой молодой бабенки? С зубов только начиналось. Даже и сам Вавила Егорыч мимо нее не проходил без внимания:

– Будет тебе зубы-то показывать! – скажет, бывало, а сам за ухом почешет да вздохнет, молодость вспомнит.

– А чего мне тебе показывать? – пошутит лукавая баба, а вокруг все загогочут, и сразу весело всем станет.

– Ты, Лукерья, вроде как Лесачиха!

– Похожа разя?

– Похожа...

– Одна промежду вами в лесу. Лесачиха и есть! Ну и надоели же мне вы, мужики! Никакой подруги не имею.

– Зато Леших – сколько угодно!

– Больше одна ни за что на свете в леса не поеду! Пропади вы совсем...

Глаза-то наши – дверь для греха: как ни тверд был по женской части Вавила Егорыч, а против женского соблазну и богатырь не устоит.

Заглядываться стал на полногрудую да чернобровую бойкую бабеночку. Очень уж напомнила проклятую Лесачиху. Та тоже очень вертлявая и грудастая была и так же глазами и зубами играла...

– Гм... Чистая Лесачиха!

А Лукерья, солдатская жена, – муж на войне без вести пропал – вроде как вдова, человек свободный. А лета молодые. Конечно, грех-то в глаза тычется. Приметила, что хозяин нет-нет да и скосит глаз свой в ее сторону да за ухом почешет, – лестно стало: ходит перед ним, словно грудь свою на подносе несет, а глаза – в землю: знает, что хозяину в женщине тоже и скромность нравится. Ну и стал бес подыгрывать греху глазоблудия. А тут и Лесачиха снова за свое озорство принялась... Начала, гадина, в Лукерью обертываться! Однава такой случай совершился: Вавила Егорыч среди ночи проснулся – есть захотел! Ворочался-ворочался в зимовнике на теплой печке, а заснуть не может: есть хочет. Он и молитву шептал, и до тысячи считал, чтобы заснуть, – нет сна. И что такое? Поужинал плотно, как и все прочие, прямо, можно сказать, до отвала, а точно и не ужинал: сосет под ложечкой, и кончено. Видит, что покуда не поест, сна не будет, – решил свое брюхо ублаготворить. Вздул огонь, слез с печи и стал искать, шарить кругом – чего бы ему в рот положить. В зимовнике приказчик да два сына спали, а куфарка – в другом, соседнем зимовнике была, с рабочими. Там обед-то стряпали. Ну шарил-шарил – нет ничего, ни корочки. Что ж теперь делать? Не идти же на черную половину да людям спать мешать? Народ – рабочий. За день намучились, а утром чуть свет надо встать да опять – на работу... Положим, можно одну Лукерью потревожить, – все как убитые: не толкнешь ногой, так и не почуют. Однако и Лукерью боится потревожить: хоть и баба, а тоже ведь такой же рабочий человек, день-деньской крутится, а тут еще и ночью покою не дашь! Вышел, это, Вавила Егорыч из зимника на волю, стоит и в раздумье не решается. Разве в окошко постучать: оконце-то как раз в головах у Лукерьи, над настилом. Опять нехорошо может выйти: люди подумают, что блудное дело тут с его стороны. А уж какой тут блуд – голодный человек. Тихая ночь была: слышно, как белки на деревьях прыгают и шишки с сосен роняют. Морозно. Деревя в парчовых ризах стоят – не шелохнутся. Над головой – звезды синими огнями поигрывают. Посмотрел Вавила Егорыч в небеса да вокруг – вздохнул и хотел обратно ползти в дверку зимовника. Только это повернулся к дверке да нагнулся, а позади снежок захрустел, словно шепот осторожный. Идет кто-то. Кому тут ночью ходить? Обернулся и видит – Лукерья из-под сосен бежит да ежится: в одном платышке, только тулупчик внакидку на плечах.

– Лукерья?

– Я, Вавила Егорыч! – приостановилась, ногами от холоду подплясывает.

– Ты что в неурочное время бегаешь?

– До ветру...

– Постой! Принеси мне поесть чего! Под ложечкой сосет что-то...

– А чего дать-то?

– Ну все одно. Что там есть у тебя?

– Да у меня мало ли что есть, Вавила Егорыч! – говорит, а сама жеманится: тулупчик то распахнет, то запахнет и ногами, как застоявшаяся кобыла, играет.

– Принеси чего-нибудь!

– И что вам не спится только?... Сейчас поищу, принесу...

Вавила Егорыч в зимовник заполз, ждет. Лампу вздул, сел к столу. Прошло так минут пять – лезет Лукерья с блюдом да с бутылочкой. И от блюда, и от самой бабенки пар идет: и еда, и сама – горячие.

Поставила блюдо и бутылочку.

– Кушайте на здоровье!

– Никак разогрела?

– А вы уж кушайте!

– А в бутылке что? Уксус али масло?

– Откушайте – видать будет.

А сама стоит, руки под мышки воткнула и покачивается:

– Уж мороз какой! Вся содрогаюсь.

И вдруг это стаканчик еще около бутылки поставила.

– На какой предмет?

Сама налила и подносит:

– С морозцу-то откушайте-ка!

Опустил в стаканчик губу Вавила Егорыч – водка!

А на блюде сердце вареное, пар идет.

– На здоровье! А сердечком-то закусите...

Выпил Вавила Егорыч и сердцем горячим закусил. Хорошо! И как только выпил – кровь заиграла. Мужчина пожилых лет, положительный и строгого обычая, а тут вдруг взял да и подмигнул Лукерье! А та тоже глазом повела и головой на спавших сыновей и приказчика показала: нельзя, дескать, – не одни в зимовнике. А сама еще стаканчик налила и поклонилась. И вот таким манером молча разговаривают и друг дружку понимают. А ведь блудный грех – такого сорта, что всякая препона только ему помогает... Взял это Вавила Егорыч да на лампу и дунул. Погас огонь, в зимовнике – ничего не видать. Только маленькое оконце под потолком маячит. И храп один слышится. Ну вот... в темноте бесам свободнее. Встал это Вавила Егорыч с лавочки да впотьмах руками и норовит Лукерью захватить, чтобы почувствовать. Шагнет направо, а она дышит левее, шагнет влево, она дышит да хихикает правее. Не допускает до себя. Разгорячился Вавила Егорыч, даже озлобился.

– Я ничего... Я только обойму... поиграю... – шепчет.

А она в потемках все шепотом что-то, шепотом да к дверке. Он за ней. Ухватил было за ногу, а тут приказчик во сне заговорил – Вавила Егорыч и выпустил. Прижался у дверки, дыханье затаил – потому срам ведь, если приказчик на таком занятии хозяина пымает! Тихо это стало. И слышит опять Вавила Егорыч шепота за дверкой: вылезла уж она, Лукерья-то. Слышит шепота:

– В секрете от людей надо держать... Чтобы никто не приметил нашей забавы! В Ереминском овраге баня есть... В субботу истоплю – париться там буду... Никому не говори, только сам знай...

И от этих самых бабьих шепотов совсем в голове у Вавилы Егорыча помутилось. Вздул это снова лампу, а на столе ничего нет: ни блюда, ни бутылки со стаканчиком. Что за оказия? С собой, шельма, уволокла! А! Не оставила. А там больше половины недопито. Хотя бы третий стаканчик еще хватить! Началось оно да ровно не кончилось... Обидно. Ну лег и долго в потолок глядел. Про Ереминские овраги думает: далеко это, и пройти туда трудно: сугробы. А баня там, действительно, есть. Года три тому назад там рубка была, и народ

зимовал: баня, помнится, есть. Гм... не пройдешь! Дорог в лесах нет, а только тропы заячьи. Вот придумала бабенка! Оно, конечно, – там в безопасности, никому и в голову не придет, что... В полном секрете все останется... Думал-думал и заснул. А как заснул, сны блудные стали одолевать. И такое снилось, что и вспоминать стыдно было. Утром встал, на людей неудобно смотреть: все кажется, что знают они про эти сны поганые. Особливо на Лукерью страшно смотреть: даже в краску ударяет Вавилу Егорыча, как они глазами встретятся. Однако Лукерья хоть бы ты что! Точно ничего между ними ночью не было и сговору никакого не сделано. Никакого виду не подает, ходит, словно грудь на подносе носит, и глаза в землю. Вот подлая! Ну и хитрющая же бабенка!

– Лукерья!

– Слушаю.

– Там... у тебя... с полбутылки водки осталось от вчерашнего... Принеси-ка, что-то захотелось вдруг... – сказал Вавила Егорыч, когда одни остались.

– От какого-такого «вчерашнего»? Не пойму что-то я.

– А ты будет уж!.. Никого ведь в зимовнике нет...

– Ничего не понимаю, Вавила Егорыч!

– А вчерась... ночью?.. Что было?

– Ничего не было, Вавила Егорыч. Не понимаю, что вы и говорите такое...

– Фу, ты... подлюга! А куда ты меня звала?

– Никуда не звала.

– Ах, ты...

И невдомек Вавиле Егорычу, что не Лукерья, а Лесачиха в ее образе с ним ночью поиграла. Огляделся, схватил бабенку под мышки, шепчет: – А когда в баню париться пойдешь?

Вывалась, хохочет, а выбежала – ругается:

– У-у, медведь ветлужский! Чтоб тебе... Разыгрался на старости лет...

А самой любо: «сам хозяин» поиграл – значит, хороша! Выпрямилась и пошла, словно поплыла баржа грудастая. По дороге парня полотенцем по харе угостила: не лезь, когда не время.

А в голову Вавилы Егорыча Ереминские овраги засели. Надо выследить, когда Лушка туда пойдет. Коли про баню знает, значит – ходит туда. Одна ли только ходит-то туда? Едва ли. Как случай подвернется, одни останутся на минутку, так Вавила Егорыч опять про то же:

– В эту субботу али в будущую?

– Чего еще?

Днем никакого виду не подает. А если вечером случится около зимника глаз на глаз встретиться, опять – шепота:

– Не увидали бы мужики-то?..

– Ну а когда в Ереминских оврагах баньку топить будешь?

– А что? Пособить хочешь?

– Пособлю!

Долго смешком отделялась, но под Рождественский сочельник, когда все мужики по своим деревням на праздники разошлись, да и сам Вавила Егорыч домой ехать собирался, встретились опять ночью около зимовника. Опять Лукерья из-под снежной сосны, как заяц, выбежала.

– Завтра, я, видно, тебя с собой прихвачу...

– Куда уж тут! С сыновьями поедете, тесно будет. Я уж одна... В баньке помоюсь, заночую, а чуть свет в деревню пойду...

Вот оно когда! Сочельник. До звезды пищу вкушать не дозволяется, а тут вон что выходит... Однако как же с ребятами быть? Они домой торопят. Пушай одни вперед едут, а за ним лошадь пришлют на первый день праздника. Мало ли дела у хозяина?

Настал сочельник. Сыновья лошадь впрягли, отца ждут. А он весь во грехе горит. Взял счета, фактуры да бумажки разные и давай косточками шелкать.

– Папаша! Оставьте уж это... Ехать пора!

– А ну вас... к лешему! Поезжайте, а я не могу: после не вспомнишь. Надо все записать, все в порядок привести. Не люблю я никакого беспорядку в деле.

Слово за слово – повздорил с сыновьями.

– В таком разе мы одни поедem...

– И езжайте! А за мной утром лошадь пришлете...

Уехали. Долго стоял Вавила Егорыч у зимника и слушал, как сани в лесу поскрипывали. Как все стихло – слободу почувствовал, потянулся и все расчеты бросил. Хватился Лукерьи – нет! Не иначе, как пошла в Ереминские овраги баню топить. Вот шельма: не дождалась, когда уедут ребята. А как теперь ее найти? Может, вернется еще. Просидел, прождал, от зимовника к зимовнику похаживал, в глубины белые лесные поглядывал. Нет! Этак она и совсем не покажется: из бани прямо в деревню пройдет. Сильно озлобился Вавила Егорыч на Лукерью. Знай, с кем шутить! Сама напросилась, а потом на попятный. Врешь, шуткой не откупишься. Что он, махонький, что ли? Не сумеет один эту самую баню отыскать? Да по следу дойдет!..

И вот начал Вавила Егорыч след искать. Конечно, кругом зимников много человечьего следу, ну а подальше, поглубже в лес – не много хожено. Подумал, подумал и придумал: у них лыжи есть, на лыжах оно сподручнее. Надел лыжи, взял падожки в руки и побежал Лукерьин след искать... Долго кружился, матюкался, однако набежал-таки: вот он, след! Видать бабий башмак с подковками на каблуках. Она самая! У ней – с подковками!.. Подкованная, шельма. Теперь не уйдешь! Вон ведь как! – прыгала, как коза! А вот здесь потопталась. Видно, ждала кого? Кого же ждать, когда знала, что в лесу он один остается? Гикнул Вавила Егорыч – не откликнется ли? Послушал – молчание лесное, тайное да белое. Один, как Леший, в лесу. Царь лесной. Бежит на лыжах – спотыкается – мало ездить случалось – взопрел, инда пар от него валит. Волосы около шапки и борода с усами – все точно из ваты, на одеже точно пух белый, вся заиндевели, а в нутрях горит. Душа как в огне вся. Пить охота. Поел чистого снега, отдышался и опять визжать лыжами по сугробам начал. Потерялся было след, да покрутился – опять напал. А дело к вечеру пошло. Синь да тени по сугробам заползали, и молчание все глубже. Далеко забежал, а след все цепочкой тянется вперед. Как бы до темноты доехать, а то беда: в лесу замерзнешь. Зимой скоро темнеет. Стала оторопь брать: а что, как до темноты не добежит? Остановился, отдышался. Подумал, не вернуться ли? Однако никакого расчета вертаться нет: надо думать, до темноты скорей теперь до бани добежишь, чем до зимовки. Под уклон лес пошел. Значит, Ереминские овраги начались. И ехать легко: как птица над снегами летишь. Дух замирает, и нос щиплет. В овраг скатился, а след на гору ползет. Вскрабакается на гору, опять птицей вниз летит. И так до самой темноты. На небе

уже звездочки загорелись, когда вдруг на дне оврага в сугробах красный огонек приметил! Вот оно где! Обрадовался, палки в сугроб воткнул, нос выбил, одежду оправил: теперь можно не торопиться. Видать, как синий дымок меж деревьев курится. Баню топят! Долго она... А впрочем, разве скоро три года нетопленную баню разогреешь? Промерзли стены, да и печь отвыкла... Тут Вавила Егорыч лыжи на плечо принял и по следу под овраг на огонек пошел. Мороз трескучий, а грех не только не смиряется, все ярче разгорается. Подкрался к огоньку. Все оконце снегом занесено, только в пятак светлинка оттаяла, и чрез нее огонек видать. Как глянул в светлинку, так и оторваться не может: Лукерья нагишом стоит, волосья расчесывает, песенку мурлычет. Ну и баба же! Король-баба! Расчесала волосы, свила и красным платочком подвязала, а потом взяла шайку да пару поддала. И все в белом пару пропало. Ничего не видать, только слышно, как веник хлыщет. Парится! Тут Вавила Егорыч светлинку бросил да дверку искать. Ходит, тычется, а дверки найти не может. Разжегся весь, опять к оконцу. Прижался к стеклышку:

– Луша! Отопрись! Я прибыл...

– Кто ты такой?

– Твой хозяин, Вавила Егорыч.

Захохотала и кричит:

– Иди, откуда пришел!

– То есть как же это?

– К своей Марфе Игнатьевне иди!

Баня внутри в пару, как в облаках, однако Вавила Егорыч видит в светлинку: губы красные шевелятся и белыми зубами дразнят: баба в светлинку говорит. Ну и губы же! Так бы впился в них, да и не оторвался!

– Лушенька! Дорогушенька! А ты будет ломаться-то. Пусти уж. Чай, я прозяб!

Оно и верно: стоит, смотрит на красные губы женские, а сам, как волк в стужу, зубами щелкает...

– Скажи, кто лучше: я или твоя Марфа Игнатьевна? – спрашивает. И тут пар в бане, как туман с реки, расплзся, и опять Вавила Егорыч Лукерью во всей наготе увидал:

– Да что тут спрашивать-то? Сама ведь знаешь... Безо всякого сравнения!

А она веничек в руке держит и себя по бедрам поколачивает, а в глазах огни сверкают:

– Нешто пустить?

– Пусти!

Так она его до самой заутрени проморила, а как время Христу родиться пришло и в родном селе к заутрене ударили – все пропало. Опомнился блудный старик. Сразу весь блуд точно сдуло. Стоит, озирается и понять ничего не может: перед ним сосна, а у сосны – елка, как белый шатер, снегом накрытая. Никакого окошечка нет, и огонька не видно. Перекрестился трижды, прочитал «От юности моя мнози борят мя страсти» и скорее – на лыжи да гону! От страхов сразу разогрелся. Откуда и прыть взялась. Ночь-то звездами высветлилась. Снега серебрятся, и по снежному настилу след от лыж видать. По следу этому и гнал. Иначе совсем пропал бы, замерз в лесу... Прибежал на зимник, печку затопил, все одежду на

себя сложил и не помнит, как заснул. А утром – лошадь с работником из села. Насилу разбудили. Самоварчик поставили, отогрелись, страхи отлегли, одно беспокойство да изумление осталось. Во сне или наяву все было? Вот он и стал пытаться работника – про Лукерью спрашивать: оказалось, что Лукерья вместе с сыновьями Вавилы Егорыча давно домой приехала! Выходит, что не Лукерья в бане парилась...

Неладное что-то стало твориться с Вавилой Егорычем: приехал домой и все на Лукерью глазами пялиться зачал. Уставится и замрет, ничего не слышит, ничего не понимает. И супруга, и все родные стали замечать, что неладно, некрасиво это выходит, смущение производит в семействе. Смотрит, смотрит и вдруг спросит:

– Ереминские овраги помнишь?

Конечно, Лукерья только плечиком пожмет да хихикнет.

И стало это самое «блудное» одолевать Вавилу Егорыча. Дошло до того, что и страх, и стыд стал терять: как Лукерья одна, проходу не дает: все в Ереминские овраги заманивает. Сигнала Марфа Игнатьевна Лушку с места, другую, старую девку кривую, на ее место взяла, думала семейную жизнь по хорошему пути наладить – не выходит: как придет суббота, потянутся люди к баням, так и Вавила Егорыч – на огороды, к прудам: дознался, в которой бане Лушка моется, – стал в окошечко подглядывать. Поймали однажды, не разобрали в темноте, что почтенный человек, – в кровь избили. Вот чего Лесачиха наделала! До какого срама добродетельного и степенного человека довела!..

И сам понимает, что – срамota, а с собой справиться не может. Как пришел Великий пост, говеть стал каждую неделю, на духу всю эту пакость попу, отцу Евфимию, рассказал – тот эпитимью наложил: тысячу поклонов да к Серафиму Саровскому пешком весной сходить и скоромного совсем не вкушать, покуда разрешения не даст. Отошел: отпустили его мысли блудные. Ходит – глаза в землю, на женщину совсем не глядит, кроме редьки с квасом – другой пищи не принимает, совсем как монах и снутри, и снаружи. Опять Марфа Игнатьевна беспокоиться стала: меры человек не понимает, совсем от мира отрешается. А как же дела? Один всем делом ворочал, а теперь ни барыш, ни убыток его души не трогают. И потом, ему хорошо: шестьдесят годов прожил, с походом от грехов житейских вкусил, а как ей быть? Она всего сорока пяти лет от роду, женщина в соках и в полном расцвете. Что же теперь ей делать при такой святости супруга? Сердится, злобится, говорит:

– Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет!..

Пошла к отцу Евфимию, все чистосердечно рассказала. Призادумался попик, вздохнул. А что скажешь? Тут и божеское, и человеческое перепуталось! Могий вместити да вместит. А не могий? Да притом и сам женат, детей девять душ наплодил, а попадья опять в тяжестях ходит.

– Дайте, матушка, срок! Вот к Серафиму Саровскому в пустынь побывает, тогда я эпитимью сниму и вино с елеем разрешу, и, как говорится, Божие – Богови, кесарево – кесарю. А покуда да смиритесь всякая плоть человеческая!

Успокоил, вразумил, снял с души гнет и плен страстей. Приняла благословение и пошла домой со смирением.

Весной, вскоре после Пасхи, Вавила Егорыч на богомолье в Саратовскую пустынь отправился. Никого с собой не взял. С близкими идти – за собой грехи нести. Все оставил позади, все заботы, все земные привязанности. Точно между небом и землей повис. Весна была погожая, теплая. Рано сирень и черемуха зацвели, яблоньки в садах в бело-розовых кружевах стояли. Дух шел от земли сладостный. Птицы радостно пели хвалу Господу. И на душе у Вавилы Егорыча точно хор архиерейский «Славу в вышних Богу» пел. Долго до Волги пробирался. Последним лесом уж шел. Тут и сбился. Два дня бродил, а выйти из лесу не может. Точно и конца ему нет. По ночам от зверя на сосну забирался и до свету, как птица, как глухарь, меж суков сидел да носом клевал. Говорили, что в этом лесу волков много. Вот на третий день своего блуждания подходит он к озерам да болотам. Вечером было. Солнышко на закате. Вода в озерах золотится да румянится. Комар звенит да мушкара над водами пляшет. Кукушка поет-тоскует. Уморился Вавила Егорыч, пить захотел и к озеру свернул с тропы. Идет, голову понурил, а поднял – навстречу старенький монах идет, с падожком, покашливает и седой бородкой потрясывает. А руки – как кости одни, и в руке – четки черные. Поклонились друг другу. Вавила Егорыч остановил проходящего и спрашивает:

- Далеко ли, брат, путь держишь?
- До Саратовской пустыни.
- Стало быть, попутчики мы с тобой!

Ну разговорились. То да се. Монах Вавилу Егорыча из туеса холодной водицей напоил, вместе пошли. До темноты шли, потом стали о ночевке думать. А тут как раз и караулка лесная. Заглянули – никого нет, пустая. Пожевали хлебца, водицы попили и на покой. Рядком на полу легли. Сильно притомился Вавила Егорыч и крепко заснул. Только ночью просыпается – точно кто в поясицу толкнул – что такое? В оконце месяц глядит, прямо на пол свет лунный ложится, и видит Вавила Егорыч, что рядом не монах, а Лукерья нагишом лежит! Сел, глаза протер, перекрестился – опять монах старенький. Что ж теперь делать? И страшно лечь, и уйти боится. Долго сидел и искося на монаха поглядывал. Нет, все правильно! И губами старыми жует, и покашливает, как старику подобает. Померещилось! А сон клонит, голова не держится. Прилег и задремал. Месяц тем временем сокрылся, видно – тучки набежали, ветер в лесу стал шнырять. Зашумели деревья. Темень упала – ничего не видать. Только слышит, как во сне, Вавила Егорыч, что словно кто-то на грудь ему навалился локтем и губами к уху, даже горячо! – и шепчет... Раскрыл Вавила Егорыч глаза, рукой повел и словно обжегся: грудь женская, волос долгий щеку гладит. И вдруг это рука его голая за шею в обнимку обвила! Как змея какая. Вавила Егорыч хочет перекреститься, а рука мешает.

Сперва ужас напал, а как услышал шепота бабьи – сразу блуд все страхи разогнал. Сам рукой левой ее прихватил – голая! Вся праведность сразу, как вода с гуся, скатилась! Вот ведь она какая, власть женщине над нами, дадена!

- Кто ты такая?
- А вот почувствуй!

Погладил, это, замутился всем духом и телом:

– Лукерья? – говорит.

Хотел что-то еще сказать, да баба не дала: впилась губами в его губы и рот запечатала. Никакого разговору больше не было... Уж какие тут разговоры?

А проснулся: светло; лес, как море, шумит; птицы поют, на соснах золотые зайчики прыгают. Сел, огляделся: озеро под ногами, камыши, мох зеленый, как постель пуховая; стрекоза на камышинке сидит, крылышками трепещет. Все как сон было. Однако все-таки было... Пакость эта самая. Словно кто избил до костей – слабость и немощность, и дух печали великой. Душа по загубленной святости скорбит! Хотел перекреститься, рука не поднимается. Встал – шатается. Пошел к озеру, омылся, припал к сосне и горько заплакал. Он плачет, а кукушка кукует.

– Эх, кукушечка! Не найдешь, что потеряешь...

Собрал котомку, взял подонок и пошел. И недалеко от Волги уж был: услышал, как пароход гудит. Часа через полтора на берег Волги вышел: под Козьмодемьянском. Не стало больше сил пешком идти: духом ослаб. Уж какой обет Господу, если в путях в такое смрадное искушение впал? Вся заслуга зря пропала. Даже в Пустынь идти страшно: какими глазами в Лики Божьих угодников будешь смотреть? И ночь эта блудная в лесной сторожке из ума не уходит. На шее словно след от горячей бабьей руки остался, палит. И на губах словно паутина: корочкой подернулись, запеклись от бесовского целования. И ноги дрожат, и руки трясутся. Сперва было утешение, что вся эта пакость – сон бесовский, а потом и этого утешения не стало: волос долгий, бабий, на своем плече обнаружил. Откуда же эта погань, если все только во сне было? Золотится волос на солнце, не отцепляется. Сбросил, а он полетал да опять на него же сел, прямо на бороду, и запутался в седых кудрях. Все пропало! Прямо, хотя домой ворочайся. Это уж не подвиг. Упал духом и не пошел, а сел на пароход до Нижнего Новгорода.

Все-таки в Пустыни побывал. Помолился, попостился, грехи с души покаянием снял, в Святом колодце умылся. Святой водицей утробу прополоскал, все, как прочие, сделал. В келье у отшельника побывал, советовался, как наваждение бесовское снять, победить. Велел на Валаам ехать: есть там такой скит, для блудников по женской части, туда никогда женская нога не ступает.

– Года три там постарайся – все снимется, всякая похоть, – говорит.

Так-то оно так, а как же супруга законная? Вздохнул: нет уж, видно, всякому кораблю свое плавание.

Целый месяц Вавила Егорыч пространствовал. Домой вернулся, не узнали: и с тела спал, и голос ослаб, и кротость в глазах. Хотя всего подвига душевного и не пришлось выполнить, потому в грязи блудной вымазался в путях добродетели, а все-таки благообразие личности себе вернул. Опять за дело взялся, да как! Точно все снова начал. Без него много недоглядки было, упущений в деле всяких, денежные расчеты запутали. Все выправил, все балансы подвел, с кого надо получил, кому надо заплатил. Пять тысяч на «Дом умалишенных» пожертвовал, потому понял, как человеку без разумения тяжело на земле бывает. Сам в безумие впадал... Одним словом, раскаялся, покаялся и спокойствие душевное воротил. И так шло ровно два года. В эти два года бойко дела шли: богатство свое преумножил,

в купцы второй гильдии записался и медаль на шею получил. Может, с этой медали и началось опять. Может быть, от нее и конец всему вышел.

В городе Нижнем Новограде выставка тогда была. На лесной бирже побывал, на выставку с купцами поехал смотреть. И свои, ветлужские, были, и с других мест люди торговые. И среди них Вавила Егорыч – один с медалью! Конечно, слаб человек: гордость одолела. И отстать от других не захотелось. Один угощает, другой – под него, третий – под обоих. Так винтом и пошло. Все хмельные по выставке гуляли и зашли, это, в павильон, где разные картины выставлены.

– Пустяки тут разные! – говорит Вавила Егорыч и тянет компанию вон из павильона.

Идут, глазами по стенам наскоро шарят, картины эти мельком озирают. И вдруг это Вавила Егорыч остановился, рот разинул и как словно в землю врос. Картину увидал: около озера – голая женщина стоит, купаться собралась.

– Пойдемте! Нехорошо! Седые уж... – говорит один. Потянулись, а Вавила Егорыч не уходит, в картину прямо обоими глазами впился и застыл.

– А ты будет, милый! Нехорошо оно... года наши не такие...

Как оглох! Стоит, ноздрями шевелит, с ноги на ногу переминается и в загровке чешет.

– Она самая... – шепчет.

Насилу оторвали – пристыдили. Много хохоту было. Только Вавила Егорыч не смеялся: в грусть впал. Ходил по разным павильонам безо всякого внимания и никаким чудесам не удивлялся. Одно в голове сидело: на картине – она, Лукерья, нарисована! От компании отбился, а сам опять туда, в галерею эту, где картины показываются. Огляделся: знакомых не видно, – к картине подошел и опять как в землю врос! Она! Она самая! И озеро это то самое, где с монахом повстречался. Стоит – глядит и надивиться не может. Так бы взял со стены эту картину и к себе в номера унес! Стыдно тут долго-то глядеть, а свой номер запер и гляди, сколько хочешь, никто не увидит. Король-баба! Красота! Так бы схватил в охапку, да... Захотел рукой коснуться, а позади сказал господин:

– Нельзя руками трогать!

Строго сказал.

– На дереве она сделана, господин?

– Холст, холст...

– А позвольте дознаться, сколько заплатить надо... купить если эту картину!

– Пять тысяч!

– Пять тысяч? Сумма круглая. А дешевле можно?

– Да она продана уж. Видите, билет внизу?

Посмотрел – написано: «Продано». Тоска вдруг в душу хлынула. Продана!

– А ежели я шесть тысяч дам?

– А уж это не наше дело. Поговорите с тем, кто купил.

– А кто ее хозяин теперь?

– Спросите в конторе.

– Та-а-к.

Вздохнул и так загрустил, словно дорогое что потерял. Постоял, поглядел, а в контору идти боится: совестно. Долго около павильона хо-

дил, все сам с собой рассуждал, как ему этой картиной овладеть. Пять тысяч!.. Аршин шесть холста, красок разных не больше фунта полтора и рама самая дешевая, без золота, а пять тысяч! За пять-то тысяч люди два года спины не разгибают, а тут помазал и готово... Да и за пять теперь не купишь!..

Всю ночь не спал. По номеру ходил – о картине думал. Тянет она к себе. Все на часы глядел: только в десять на выставку пускают. Люди до десяти часов нарабotaются, а они только с десяти свое заведение открывают!.. Пошел, по улицам поболтался, к десяти на выставку пришел. Оглянулся, как вор, чтобы знакомые купцы не увидали, да опять на картину смотреть... Нехорошо оно выходит – все около голой женщины стоять – а потому и на другие картины смотреть приходится. Кружил-кружил, а все в эту упирался. Тянет, как магнит железо. Силы нет мимо пройти. И что такое? Не одна тут голая-то есть, а вот одна эта удерживает. Она! Она самая! И озеро, и камыш. Король-баба! Так бы захватил в охапку и смял... Вся душа и все тело сладким блудным грехом напояются от этой картины. Вспоминается ночь весенняя в лесной сторожке, в ушах шепота бабы, глаза да зубы сверкающие, а потом – грусть. Кукушечка кукует. Не та грусть, что тогда была, другая: тогда о поруганной святости душа тосковала, а теперь по греху сладкому, невозвратному... Топтался на выставке до обеда и опять не решился в контору зайти. Три дня не решался. На четвертый себя превозмог. Надвинул картуз поглубже и в контору заглянул. Хорошо вышло: никого нет, одна барышня за столиком сидит, разные карточки да картиночки продает.

– А что, барышня, я спросить хочу: кто теперь картину купил, которая в галерее против окна висит... Женщина купается?

– Какой номер?

– Номера-то не заметил, а только... одна она там купается! Этак-то озеро нарисовано, камыши... А она стоит... Не знай – искупалась, не знай – только в воду хочет лезть...

Барышня показала открытки. Сразу нашел:

– Вот эта самая! Она! Она самая...

– Куплена... куплена... Сейчас посмотрю...

Перелистала тетрадочку и говорит:

– Шах персидский купил.

– Шах?! Вот оно что! Гм... Шах персидский, стало быть... Та-а-ак. Ничего не выйдет.

Опустил голову. Слово известие о смерти какой получил. Стоит, покачивает головой и шепчет:

– Шах?... Персидский?..

Губами причмокнул, помялся, вздохнул.

– Ну, покуда, счастливо оставаться...

У дверей задержался:

– Я этому шаху десять бы заплатил... тысяч, то есть.

Ничего не сказала барышня. Вавила Егорыч махнул рукой и вышел. Шел тихо, шаг за шагом, и в мыслях шаха персидского уговаривал и ругал нехорошими словами: «Ну купи другую, а эту мне уступи! Не хочешь, так твою разэтак?.. Персидский ты человек, больше ничего!»

Что ж теперь делать? Как Лукерью у шаха отбить? Не возьмет, поди, отступного? Как к нему сунешься? Какой ни на есть, а император. Совсем закручинился Вавила Егорыч. И тяжелее всего то, что никому своей беды

не расскажешь: стыдно. Верно, от этой грусти и запой в неурочное время начался. Заперся в номере и начал наливать. Думал грусть-тоску вином залить, а оно вышло еще хуже: прямо хоть укради! Пошел на выставку. Поглядит, поглядит, махнет рукой да в буфет! Выпьет и опять к картине потянет. Даже и стыд начал пропадать. Паренек, с бантиком, давно приметил этого посетителя: как увидит Вавилу Егорыча, так ухмыляется. Вечером, когда время пришло выставке закрыться и все посетители, кроме Вавилы Егорыча, из павильона ушли, подошел этот паренек к нему и говорит:

– Как видимо, вам эта картина очень понравилась?

– Озеро уж очень хорошо! – сказал, вздохнувши, Вавила Егорыч.

– Озеро озером, но и бабеночка ничего себе. А между прочим – вам уходить пора: выставка запирается. Завтра приходите!

Веселый, разговорчивый паренек. Павильон запер, вместе с выставки пошли.

– Не желаете ли со мной отобедать? – спросил Вавила Егорыч.

Затащил паренька в трактир с музыкой, стерляжьей ухой накормил, графинчик водочки раздавили под свежую икорку да балычок – и точно давно знакомы были. Прямо – приятели. Не выдержал Вавила Егорыч: рассказал пареньку про свою печаль. Тот его по плечу похлопал: «Этому горю можно пособить! – говорит. – Выставляй бутылку шампанского».

– Да ежели бы ты мне это дело оборудовал, я тебя прямо озолотил бы!

Пошли в отдельный кабинет для секретного разговору. Что там между ними было – неизвестно. Надо думать, сошлись: на ярмарку вместе поехали и всю ночь вместе колобродили. Всего три дня после этого прошло, а в газете напечатали, что на выставке дерзкая кража обнаружена: проданная шаху персидскому картина «Перед купаньем» оказалась вырезанной из рамы, о чем, дескать, производится следствие.

Ежели бы не шах персидский, может быть, и строгое следствие ничего не обнаружило бы, а тут всю тайную и явную полицию на ноги поставили.

А конец всему вот какой был...

Ехал Вавила Егорыч из Нижнего Новгорода на пароходе. Запой с ним кончился, и снова благочинность началась. Всегда после запоя и всякой пьяной пакости сильнее добродетельным хотелось быть. Благообразился, в баню ходил, подстригся и медаль на шею надел, и поехал. Ехал в рубке второго класса: кают не было – очень густо пассажир шел. Да оно и езды-то немного было: до Козьмодемьянска только. Чайку попил, селяночку рыбную съел и за деловыми разговорами с попутными купцами и времени не заметил. И вдруг это в рубку пристав с жандармом и помощник капитана ввалились:

– Кто здесь купец второй гильдии, Вавила Егорович Карягин?

– Я Карягин буду.

Стоит, за медаль рукой держится, а сам весь сжался, в землю глядит.

– А где ваши вещи?

Народу в рубку навалило, яблоку негде упасть. Очень уж любопытное происшествие: купец с медалью – и вдруг обыск! По всему пароходу слух побежал, что политического купца поймали с прокламациями и с бомбой. Все точно обрадовались, и на такого зверя поглядеть всем захотелось. Их начальство гонит, а они – как мухи: отхлынут да в дру-

гую дверь. Никакого сладу нет. Стали обыск делать. Чемодан – на стол и шарить. До дна раскопали, выволокли сверток трубкой. Что такое? Развернули – голая женщина!

– Она! – говорит пристав и глядит на Вавилу Егорыча. – Где вы эту картину взяли?

– Купил-с... Десять тысяч заплатил. Вот как перед Богом...

– Вы арестованы!

А кругом – хохот и насмешки. Даже и сам пристав смеется. Еще бы! – такой почтенный человек, с медалью на груди, на выставке голую бабу украл.

Чтобы публика беспорядку не делала, Вавилу Егорыча в каюту ко второму помощнику капитана посадили и жандарма приставили. Только, это, публика успокоилась, как опять крик, шум, смятение: человек за борт в воду прыгнул! Застопорили машину, стали лодку спускать – все кричат, руками машут, женщины плачут, матросы ругаются.

Постоял пароход минут пять и снова дым пустил, и стал колесами будоражить. Время дорого в ярманку: некогда возиться. Да и где тут спасешь? Прямо под колесо прыгнул. Прихлопнуло колесной плицей по голове, и готов. Погостила публика и тоже успокоилась: у всякого свое дело, своя забота. Только пристав ругал жандарма: как он дозволил Карягину в воду прыгнуть?

– До ветру попросился, а я чуть успел дверь отворить, он, сволочь, из каюты броском да за борт! Вот извольте медаль принять: на столике оставил.

Публицистика

Владимир КУТЫРЁВ

Родился в 1943 году в деревне Высокая Чкаловского района Горьковской области. После окончания Заволжского строительного техникума служил в Советской армии, учился на философском факультете МГУ, там же в аспирантуре. Преподавал в Костромском педагогическом институте, в Горьковской высшей партийной школе, в Нижегородском архитектурно-строительном университете. В настоящее время профессор Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, доктор философских наук.

Автор 16 книг и многочисленных статей. Основатель научной школы «Философия антропоконсерватизма». Дважды лауреат премии Нижегородского Новгорода (за книгу «Естественное и искусственное: борьба миров» в 1995 году и книгу «Бытие или Ничто» в 2010-м). Трижды лауреат Всероссийского конкурса научных публикаций по гуманитарным дисциплинам. Награжден серебряной медалью С.Н. Булгакова (2008). Живет в Нижнем Новгороде.

ТРАДИЦИОННЫЙ ЧЕЛОВЕК: МНОГАЯ ЛЕТА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Консерватизм – это борьба вечности с временем, нетленного с гниением.

Н. Бердяев

Всякое начало трудно. Но не начать бывает еще труднее. Это знают многие, может, слишком многие.

Primum vivere, deinde philosophare. Сначала жизнь, потом философия. Сначала любовь – потом любовь к мудрости. **Предмет философии не мир в целом, а целостно о мире. «Чело-стно».** Это мышление о том, как застегнута первая пуговица костюма. Об основаниях и целях. Наука – обо всем остальном. Философия свободна и... тоталитарна. Как всякая любовь.

Символы времени

До середины XX века говорили: все надо делать с любовью. Рекламировали: «Сделано с душой». Человек-личность. Время воспитания.

В конце XX века говорили: все надо делать профессионально. Рекламируют: «Сделано с умом». Человек-специалист. Время образования.

В XXI веке начинают говорить: все сделано автоматически. Рекламируют: «Интеллектуальный продукт». Человек-фактор. Время программирования.

К XXII веку замолчим: Все будет делаться искусственно. Начинаят рекламировать: «Сделано без человека». Постчеловек. Время комму(ника)ции.

Циклы искусства

Классическое – изображение реальности.

Модернистское – преображение реальности.

Постмодернистское – изобретение реальности.

Модернизм превзошел классику и как бы впереди ее. Но этот «перед» есть «зад» науки и техники. Постмодернизм – это «искусство» как возврат к первоначальному смыслу данного слова – «технэ».

Искусство превращается в искусственное. Круг замкнулся. Скоро начнется второй – опять изображение реальности. Но эта *реальность будет «посттеоретической», виртуальной и информационно-синтетической*. Уже есть термин: «синтетический реализм».

* * *

Все кричат: человек, человек! А может, его уже нет? Мы потеряемся незаметно. Выродимся. И даже воспоем свое исчезновение: в центре Москвы, через улицу протянут транспарант о праздничных концертах. Крупно написано: «Звуковая дорожка в Кремле», и мелко: в которой участвуют... Так кто выступает в Кремле? Где тут подлежащее и где сказуемое? В общем, уже воспевает. Только не я. За это все и упрекают: пессимист. Я отвечаю: от оптимистов слышу.

Од(н)ежда

Демонстрацией ее социальных функций в чистом виде является ношение набедренных повязок, ношение одежды там, где физически она не нужна – в жарких странах. Человечество, переходя к социальности и борясь с бесконтрольностью инстинктов, стремилось освободиться от зоологических оценок друг друга. Чистое выражение зоологизма природы – гениталии (у двуполох). Возбуждение не всегда поддается контролю разума, возжелать человек мог к тому, к кому запрещалось (перверсивность, инцест), скрыть это трудно, особенно у мужчин и *его* закрывают. Для начала – днем. Од(н)ежда. Утром, после голой ночи, надо одеваться. Оценка человека идет уже не по сексуальным показателям, а по достоинствам, полезным в труде: сила, ловкость, сообразительность. Что человек не может подчинить контролю разума, он скрывает – закрывает. Когда за(с)крывать больше нечего, одежда становится «дресс-кодом». Духовная одежда – лицемерие. Не иметь его так же неприлично, как ходить голым. Это цинизм и оскорбление общественной нравственности. Когда нравственности больше нет, исчезает и лицемерие. Остается пустота. Мар(с)кируемая знаками. Дресс-код пустоты.

* * *

Одна дилетантская реминисценция об изменении роли тела в культуре. Оно шло снизу вверх:

Первобытная культура озабочена обузданием зоологизма, борьбой с инцестом, регулированием брачных, кровнородственных отношений. Культ фаллоса. Мир вращается вокруг гениталий. **Человек-чресла.**

Потом проблема живота. Биться не на живот, а на смерть. Положить живот за други своя. Жизнь и живот, прокормление, еда почти тождественны. Вырастить ребенка – значит вос-питать его в буквальном смысле слова. Мир лежит на брюхе. **Человек-живот.**

В Новое время на первом плане грудь, человеческие чувства, страдания плоти, борьба страстей. Сенсуализм и сентиментализм – любовь. Волнения души. Мир прижат к груди. **Человек-сердце.**

Сейчас центром тела стала голова. Торжество расчета, рациональности. Интеллектуализм, церебрализация. Мир стоит на голове. **Человек-мозг.**

Дальше у нас нет органов. Кончились. Далее киборг, искусственный интеллект, самоотрицание **в пользу Другого.**

* * *

Споры о смысле обрезания как обряда у многих первобытных и древних народов. Исписаны горы книг, очевидным же представляется, что это символизация победы культуры над естеством, господства духа над плотью. Ограничение плоти. Не «отрезание», не уничтожение, но о-предел-ение, об-рез-ание, как **наложение узды на телесность**. Приобщение к ответственности, к морали, введение молодежи в социум. М. Лютер упрекает Э. Роттердамского в «О рабстве воли»: как, мол, они могут судить о Боге, они «с необрезанным сердцем и умом», то есть, видимо, с варварско-языческим сердцем и умом. Отсюда уже все остальные действия – положить завет, отделиться от других племен.

* * *

Где-то у Достоевского была мысль: человек – такое подлое существо, что приспособляется к любым обстоятельствам, когда другие животные уже отказались бы жить, умерли. Это потому, что он рождается «ником», неспециализированным, «голым», «дырка в бытии». Он приспособляется к любым обстоятельствам, потому что он их продукт. Они делают его по своей мерке. Бытие определяет сознание – великое и ужасное положение, открытое Марксом. Даже если это бытие – небытие, как сейчас. Вот причина самоотрицания традиционного естественно-исторического человека (нас) и возникновения цифровых технологий (их). Потом нас и их поменяются местами.

* * *

Три сорта способностей, три типа ума: человек умелый, может сделать вещь, предмет, преобразует материю. Человек ум-ный, оперирует понятиями, преобразует сферу духа. Человек ум-удренный (опытный, понимающий) преобразует отношения, успешно общается. Сейчас в цене вторая способность, хотя многие теоретически умные практиче-

ски беспомощны и социально глупы. Однако их стараются не считать дураками. А вот кто делает вещи, но не может умно говорить, того считают недалеким, недоразвитым, а того, кто умеет общаться и строить социальные отношения, – считают только хитрым. Хотя сейчас, в условиях капитализации, произошел всплеск уважения к социально ловким, «хитрым». Но в целом мир все-таки становится на голову. На ее левое полушарие. С этой позиции голова наносит окончательное поражение рукам. Потом себе. Для множества интеллигентов руки нужны сейчас для держания ложки и застегивания ширинки брюк. Пока есть (за)что/чем застегивать. Хвост тоже не сразу превратился в копчик.

* * *

Самое полезное для человека природное лекарство – другой человек. В Средние века ослабленных больных, пока не было биодобавок, лечили «лежанием рядом со здоровым отроком». Теперь, когда общение превращается в коммуникацию, в бездушное отношение, стали толковать о пользе телесных касаний. Хотя бы случайных, эпизодических. Придумали даже такое лечение: «контактотерапию». В больших городах на столбах объявления о кружках по «обучению чувствам». Чудовищно, до чего дожили! Только очевидный характер этой патологии заставляет проходить мимо без таких восклицаний. Ну, объявление и объявление. Впрочем, ничего удивительного, раз дети играют с компьютерами, а не (друг) с другом. Восьмиклассники собираются на день рождения одного из себя. Берут смартфоны, чего-то поели и сидят за столом, в них уткнувшись. Играют. Праздник эпохи трансмодерна. Бурное веселье. Песни и пляски. В компьютере. Изначальное отчуждение человека от физической сути вещей. От телесности и тепла других существ. Скоро общение, да и просто «жизнь» начнут прописывать по рецепту: «Поезжайте, *поживите* недельки две». А диагнозом болезни будет: пережитки гуманизма. Не все еще превратились в роботообразных.

* * *

Жизнь мысли – познание.

Жизнь тела – влечение.

Жизнь души – любовь.

Как «Мы» живем?

Иссыхание души, бесплодие тела и расцвет умственной деятельности. Как таковой, без осознания куда ведет и зачем. Без «философии». Это – техногенный человек. Компьютерный человек. Мультипликационный человек. К-липовый человек. Он почти не любит, судорожно эксплуатирует остатки сексуальности и все время «познает». В отношениях друг с другом следует принципу полезности, все продавая и покупая. Номо ratio. Номо есоnomicus. Больная машина. Бедная больная машина. Скоро ли уж станешь здоровой? И умрешь. *Родишься. Роботом.*

Музыка в потоке времени

Старинные народные песни: резкие, протяжные, почти без модуляций. Без инструментов. Чувственные. Мы их почти не воспринимаем. Экзотика. Этнография.

Инструментальная классическая музыка и священные песнопения. Романсы. Симфонизм. Гармония. «Духовные». Воспринимает избранная часть общества.

Песни: лирические, гражданские. С довольно сложными модуляциями. Пели почти все. «Душевные». Кончаются во второй половине XX века. Многие их еще любят, хотя петь почти перестали. Иногда вспомнят строчки: «Ой, рябина кудрявая, белые цветы...» Дальше обычно не знают.

Тяжелый рок: ритмы, надрыв, бьет по вегетативной нервной системе. Как секс вместо любви. Музыка «психофизиологическая». Исполнение человеко-машинное, требует некоторого специфического профессионализма. Сейчас, пожалуй, пока самая популярная.

Компьютерная музыка. Без чувств, без духа и без души. Интеллектуально-информационная, технически гармоничная, машинный ритм и петь нельзя в принципе. Иногда, правда, на каком-то переходе ее любители «подвизгивают». Голос исполнителя трансформируется до неузнаваемости и почти не важен. Под нее не удастся даже танцевать и все дергаются сами по себе. Ритм не для живого. «Техническая» музыка. Как музыка техники и для техники. Доставляет удовольствие своей чистой формой как силуэт авиалайнера. Неважен даже композитор. Ее можно задать компьютеру как «тему» некоторым мычанием. Поэтому все мелодии – одинаково разнообразны. Одномногообразны. Слова песен – разнообразно пустые: все про какую-то «любовь». Любовную любовь про любовь. Затаскали, этого никакая реальная любовь не выдержит. Чем больше поют, тем меньше чувствуют.

Нравится «постчеловеческому» человеку. Любит постчеловеческий техноид.

Прощальные песни

Петь – это было естественное, привычное состояние человека. Веками. У всех народов. Пели не только в праздники, а в повседневности, труде и быту. Изливали то, что переполняло душу. Которая и когда она была.

Даже в мрачные годы, какой считается эпоха крепостного права в России, во время правления Николая I. Забитые, неграмотные, радикально бедные в сравнении с нынешним состоянием люди. В общем, несчастные. Так мы их представляем. Но вот Гоголь в «Петербургских записках» в 1836 году откликается на постановку первой русской оперы Глинки «Жизнь за царя»: «Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, над всей вереницей влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное, дворянство и недворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый со смолистыми усами казак, заряжая пищаль свою, поет старинную песню; а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы?»

Ну вот, забитые, несчастные, а «звонят песнями».

В те же годы времяпровождение разночинного и мелкого дворянского сословия. Критик В.В. Стасов в биографическом очерке о композиторе Цезаре Кюи пишет: «...но Кюи поступил в военный корпус, где музыки намного меньше. Это ведь не то, что, например, в училище правоведения, где в наше время, в 30–40-х годах музыка так широко и роскошно процветала и где в антрактах между классами во время рекреаций весь дом училища так и звучал, от низу до верху по всем этажам. Фортепьянами, виолончелями, скрипками, валторнами, флейтами и контрабасами, словно настоящая консерватория. Нет, куда военному училищу, это совсем другая история». Или язвительный Салтыков-Щедрин о публике на Невском проспекте: «Выйдет пьяница из портерной и сейчас же начнет песни петь». Или ближе к нам, начало XX века, Горький жалуется знакомому на жизнь в Нижнем Новгороде, что шумно, мешают писать, так как рядом с домом работают маляры. «И что за привычка у маляров. Красят и поют». В ночлежку, с которой Горький писал пьесу «На дне», пускали, не спрашивая паспорта. Однако при входе крупными буквами было написано, что нельзя делать три вещи: «пить вино, курить табак, горланить песни». Унтер Пришибеев у Чехова ходит по деревне и запрещает: «песен не петь, огня не зажигать». Требование «не петь» осмеивалось как выражение тупости.

И вот теперь, в светлые годы прогресса, унтер был бы совершенно спокоен. По первому пункту его идеал осуществился полностью. Унтеры победили. Не поют даже пьяные. Ни в городе, ни в деревне. Приехав в Нижний Новгород в 80-е годы, я еще застал время, когда в нашем микрорайоне из окон иногда слышалась песня, видна была веселая компания, раздавалась музыка, хотя уже «не своя», пластинки, а где-то можно было услышать игру гармоника. Теперь – ничего. Тщетно хожу по району даже под Новый год: тишина, увертываюсь от машин, и стреляют петарды. А если случайно какая-то компания, группировка молодежи запоем на улице, то хочется позвать полицию самому. Как-то неловко. Да и поют ужасно. Голоса все замкнутые, зажатые. «Песня – душа народа. Перестанут петь – не будет души». Ну вот и перестали. Вместо грустных песен – депрессии. И человек – *undead*. (Не думаю, что кто-то решится считать песнями разнообразно однообразные компьютерные композиции шоу-бизнеса.)

В советскую эпоху трудовые песни народ пел больше в деревне, особенно в колхозах, до войны. В войну и сразу после как будто было не до песен, хотя и то – пели. Постепенно произошло их полное восстановление, правда, в новой форме, перерастая в бурный рост самодетельности. В школах, вузах, кружки, мелкие театральные постановки, непрерывные занятия художественной самодетельностью. Я иногда возмущался, когда же учиться, то «картошка», то пляшем и поем – очередной «смотри». В нашем колхозном клубе лет пять было два (семейная пара) художественных руководителя, одного не хватало. (Зачем советскому поколению слушать рассказы идеологов капитала, как ужасно жили в колхозах; всяко было, и пусть дурят молодых.) Параллельно до конца XX века создавалось много прекрасных авторских песен. Их, однако, пели в основном с эстрады и по радио, а «просто люди» только подпевали, не повседневно, не в труде, больше по праздникам. А ведь люди еще и плясали. Я немного застал это в деревне. Но мы уже не плясали, а «ходили на танцы», которые, говорят, еще есть в ночных клубах.

И, наконец: недавно я был на свадьбе, на которой, даже на свадьбе (!), не пели, не подпевали, не танцевали и не плясали. «Сидели». Кто-то

играл, но не «на гармонии», а на смартфоне. Теперь вообще, все больше «сидят». Если хотя бы слушают, то «ретро». Пока. Пока не потеряли не только способность, но и потребность уже не петь, а хотя бы слушать пение. Нужна (бы) *экология песни*.

Если человеку в XIX – начале XX века, когда жили Толстой, Чехов, сказали, что люди перестанут петь и плясать, они вряд ли поверили. Посчитали невероятным. Так мы сейчас не верим, что *к концу XXI века люди перестанут разговаривать живыми словами*. Хотя к этому все идет, к этому стремятся – к цифровизации и электронным коммуникациям, а потом к коммутации: «от мозга к мозгу». Над ней «работают ученые». Нейро-нет, ИКМ (интерфейс компьютер–мозг). Мечтают об этом, чтобы скорее. Лет на 20 раньше, по мере *растворения человека в океане информации*, перестали петь в передовых странах Запада. Для них это «фольклор» уже давно. Теперь цивилизуемся и мы. Разумеется, если не учитывать эстрадно-телевизионного шоу-бизнес-(не)пения. Да и там – вместо песен «компьютерные композиции» или какие-то вопли в вакханалии спецэффектов. Теперь все чаще на английском, чтобы совсем не было своего жизненного смысла, чтобы как можно меньше что-то понимать и чувствовать. Да и петь нечего. Композиторы перестали писать песни: не по злой воле, а «не получается». Духа в людях нет. Значит, у композиторов тоже. Все у всех теперь сводится к говорению и еде. Это единственное, что делаем сами, без аппаратов (хотя тоже неправда, говорим все больше по телефону). Если бы бедные, несчастные, ходившие в лаптях и евшие мясо по двенадцатым праздникам певцы прежних или советских лет это увидели, они бы тоже замолчали. По(с)раженные материальным богатством и чувственным оскудением людей. Тем, что собственное веселье заменилось присутствием на чужом или внешними фейерверками, а вместо грустных песен у них «депрессии», которые лечат таблетками.

Почему многие с ностальгией вспоминают революцию, советскую эпоху, идеалы социализма вообще? Ведь жили хуже, чем сейчас, чего там спорить, потому что, в конце концов, техника с тех пор развилась чудовищно. Но главное не в этом. А в том, что хорошо объясняет известная притча: Путешественник подходит к стройке и спрашивает рабочего: что делаете? Не видишь, таскаю кирпичи. Спрашивает второго – зарабатываю на хлеб, для семьи. Третьего: я строю Кельнский собор. Хотя все делали одно и то же. Так вот: тогда строили Лучшее общество – Собор. Верили в это. Была мечта, социальная религия. А теперь таскаем кирпичи. Эгоизм и рационализм. У некоторых – даже золотые. Но все равно – не Собор. Потерян Большой Смысл, нет духовной ауры. А не все могут и хотят быть мелкими, замкнутыми лишь на себя.

...И скучно и грустно. Вино, коньяк в компании или без не помогают. Некоторое расслабление есть, но радости никакой. Но вот недавно открыл великолепный антидепрессант. Стоит прослушать 3–5 песен советской эпохи, особенно послевоенные (военные свелись к 5–7 песням, которые затерли, затерзали) «Летят перелетные птицы», «Вернулся я на Родину», «Земля моя раздольная», песни Л. Зыкиной, В. Трошина, как начинаю вдохновляться. Бью такт и размахиваю руками. Про себя напеваю, даже выйдя на улицу. Случайно услышавшие тротуарные прохожие оглядываются: надо же, ненормальный. Продолжаю, придя домой. «Где-то выпил, что ли?» Правильно и понятно, почему их не допускают в масс-медиа. Одним махом они могут подорвать весь шоу-

бизнес, а заодно обесценить комфорт, потребление и другие высшие ценности нашего пост(анти)советского времени.

Советской эпохе на (страшном) Суде Истории достаточно предъявить свои песни. Ведь они – воздух, ветер времени, аура и дух эпохи, который не подделаешь никакой силой и пропагандой, выражение действительного самочувствия людей... И она будет оправдана. Но вряд ли возвратима.

По оценкам некоего агентства, в 2015 году из 50 стран наиболее депрессивными были: Исландия (на 1000 человек 118 постоянно принимали антидепрессивные препараты), потом Австралия (96 из 1000), далее Португалия, Канада, Швеция. Постоянно! А сколько периодически! (Россия пока в этот список не попала, все еще не цивилизовались.) Депрессия – это когда человек не чувствует себя живым, он ходячележа(ч)щий труп. Ему ничего не хочется. Ему тяжело, страшно быть на этом свете. Нет энергии, экзистенции. Он – Undead, немертвый (появился такой термин). Жалуются на потерю смысла жизни. Но за потерей смысла жизни прежде всего стоит потеря ее чувства. Как видим, в ранге бесчувственности лидируют богатые, передовые страны. Они – самые мертвые (не очень понятно, почему в нем Португалия). А что абсурдно – это и есть цель остального человечества, достичь которую оно стремится. «Депрессизации». Чтобы все свое, живое, естественное было отдано «вовне», комфорту, эгоизму, компьютеру, виртуализму. Смерть как идеал. Технофилия! «Умный дом: управляй мультимедиа со смартфона». Радуйтесь. Не могут. Забыли «как». Вот оно – вещное (и невещное) отчуждение от самих себя. Становимся мертвыми при жизни, вернее «немертвыми», но и неживые. Проникло в родовую сущность – уже дети рождаются бесчувственные, духовно полуживые – аутизм. Потому что душу отдали. Отдаем и Слово. Пока науке и технике. А может, уже и Богу, только механизм этого события – дьявольский.

Впрочем, это мировая тенденция, вернее закономерность. Антуан Сент-Экзюпери одному из последних своих французских адресатов писал: «Поймите, невозможно больше жить холодильниками и кроссбордами! Совершенно невозможно. Невозможно жить без поэзии, без красок, без любви. Достаточно услышать крестьянскую песню XV века, чтобы почувствовать, как низко мы пали».

Братья и сестры

Все люди – Братья! Братья и сестры. Свобода, равенство, братство! Человек человеку друг, товарищ и брат! Братья во Христе! Братская любовь... И т. д. Что такое быть друг другу братом, сестрой, очевидно и понятно. Было. Теперь для большинства людей это является пустой фразой. Символизм братства питался существованием реальных братских чувств и отношений. Но единственный ребенок в семье не знает, что это такое. Не будет знать их и человечество. Важнейший вид непосредственных связей между людьми, связей близости – распался. Этот распад предшествует распадению половых и родительских связей. Лозунг «Свобода, равенство, братство» пришлось модернизировать: вместо братства теперь говорят о солидарности. От равенства тоже отказались. Вместо него – справедливость (каждому – свое), это и есть «права человека». Права индивида на отрицание себя как родового существа. Права на жизнь «здесь и сейчас», так как хочется, без заповедей

религии и норм морали, в которых отражаются интересы общества в целом, его будущего. Свобода вытесняется заботой о безопасности. Через всеобщий контроль и наблюдение, которые превращают общество в виртуальный концлагерь, а общение в коммуникацию. *Все это и есть постмодернизация.* Живем под девизом: «Контроль, права человека, коммуникации». А в общем-то и без второго, без прав. Потому что первое и третье исключают второе. Стандартизация и всеобщий контроль становятся глобальной «национальной идеей» мира. «Мир-экономика» = «Технический социализм» = «Электронный лагерь-коммуникация». Особенно когда останутся только электронные деньги. Постденьги. Посткапитализм.

* * *

Мужчина и женщина. Он и она – это собаки=псы и кошечки=кошки. Первые сильнее, грубее и простодушнее. Вторые слабее, мягче и хитрее. Живут как кошка с собакой. Эта модель, образ, эта «аналогизирующая апперцепция» заменяет сотни научно-психологических типологий, в которых пытаются зафиксировать особенности мужчин и женщин, делает ненужными тысячи глупостей, написанных в рамках «гендерных исследований».

Мужчина и женщина. Он и Она – это болт и гайка. Для скрепления мира. *Но возникает Оно.* Трансгендер. Канцелярская кнопка. На кнопках мир теперь держится. Во всех смыслах.

Абсурдность складывающейся ситуации чувствуют прежде всего мужчины. Зачем бежать, если ни зачем не угнаться или когда твой бег ведет в болото, к гибели? Отсюда инфантилизм, самоотрицание, ослабление мотивации к успеху, в том числе социальному. Собственно мужских дел всё меньше. Основная работа теперь – обслуживать «Матрицу», переносить информацию о мире в компьютеры. То, что раньше делали машинистки. Где надо быть детальным и добросовестным. Скучно, неохота. Некоторым стыдно. И охотничьи, даже дворовые псы становятся комнатными, потом постельными собачками. Пуделизация вида. У женщин еще есть что догонять: впереди – зад мужчины. У мужчин впереди только свой конец. У женщин есть ближайшая цель – имитировать, на-конец-то, этот, так называемый сильный пол, занять освобождающиеся от него передовые траншеи прогресса, оставляемые в процессе движения. Хотя бы в движении вверх по лестнице ведущей вниз. И во многом догоняют, выращивая в себе «симулякр мужчины», видя в этом смысл своей внутренней жизни и внешней деятельности. Становятся собаками. А мужчина? Должен ли он «выращивать в себе женщину»? Быть кошечкой. Голубой. Некоторые становятся, хотя это расслабляет, а не возвышает. Выращивать «симулякр машины»? Сознательно не хочет, но фактически делает. Таким образом, в целом, поезд собственно человеческой истории, особенно его первые «мужские вагоны», уже от(у)шел. На перроне – гендерная интеллектуально-коммуникационная техника. Ее не остановишь, демонстрировать ей что-либо бесполезно. Кошка еще может бежать за собакой, а собака за машиной бежит недолго. Понимает – не догнать. И растерянно останавливаясь, высунув язык, хрипит и тяжело дышит. Уходит на обочину, становится человеческим фактором, преступником и маргиналом по отношению к Системе. Женщины еще «пост», а мужчины уже «транс». Таков будет конец XXI века. Пока же, 2-3 поколения, на остаточном материале и

последних иллюзиях не уничтоженных терр(а)иторий, полов, народов и культур – еще «повырождаемся». Эй, Вы-рождайтесь, пока есть время, хотя бы. (А Европу спасут «беженцы», переселяющиеся в нее народы.) Как территорию.

* * *

Перед лицом технологии значение половых различий между людьми резко падает. Материнство терпит поражение от стремления женщин во всем имитировать мужчин и пропаганды карьерного роста. В поступках мужчины специфически мужское начало не имеет поля развертывания. К нему предъявляются противоречивые требования: быть смелым и быть винтиком, быть самостоятельным и быть функциональным. ***Одномерный человек реализуется в главном – как однополюс. Бес / полюс.*** Остальное – мелочи.

Любовь и голод правят миром – говорили раньше. Как это меняется сейчас? Миром правят секс и прибавочная стоимость – таким стал этот девиз в XX веке. Идет социализация голода и выхолащивание любви. «Хлебом», потребностью сытых становится публичное самоутверждение, слава. Это называют «возвышением потребностей». Получают удовольствие не от самой жизни, а от информации о ней. Жажда общения с другими людьми сужается, расширяясь до общения с вещами и знаками. До коммуникации. Любовь, влечение «возвышаются» до абстрактного взаимодействия и воображаемого отношения. До порнографии. Проблема отмирания родительских чувств превратилась из моральной в социальную. «И в конце времен охладает любовь» – Евангелие (от Матвея, 24:12).

Конец XXI века: Мать-героиня. Родила ребенка. Шипение гуманоидов-недоброжелателей: плодятся словно кролики. Хотя бы уж клонировались, а то разводят тут грязь всякую. Как животные. Вчера в центре города задержали пару, касающихся друг друга человек. Говорят, что будто бы это какие-то «мужчина» и «женщина» и будто это «естественно», так как есть какая-то «семья». Это противоестественно! Впечатление такое, что они не слышали о клонировании и виртуальных коммуникациях. Когда же мы преодолеем эти пережитки, эти стереотипы, этого проклятого натуралистического прошлого? Когда в Системе/Сети будет наведен порядок?

* * *

«Это может только мужчина: иметь цель вне себя. Женщина – сама для себя цель и хочет быть ею для всего доступного мира. Она, конечно, старается, подражая мужчине, тоже завести себе интерес снаружи от себя – щипание корпии или научные исследования, – ей плохо удастся это притворство»... (Татьяна Набатникова. Каждый охотник. М., 1989. с. 306).

Все-таки это неверное рассуждение. В «обществе спектакля» демонстрация и притворство важнее сути дела. К шоу-демократии и бюрократии женщина легче адаптируется. В экономике услуг и потребления она органичнее. Да и берется уже эмансипированная, то есть неспособная к материнству или относящаяся к нему как к эпизоду. Напротив, женщина-мать всегда име(ет)ла цель вне себя. Цель эта – дети. Не просто природа и борьба с ней, на чем специализирован мужчина

и что необходимо для развития общества, а природа живая, необходимая для продолжения человечества как совокупности существ, на чем была специализирована женщина. Говоря по большому счету, если женщины исчезнут из науки, техники, искусства (естественно, кроме исполнительства), то практически мало что изменится. Но когда они совсем забросят семью и воспитание детей, то мир забуксует. Отсюда и отношение к «деловым женщинам» и «образованным дамам», гордящимся тем, что как матери они принесли себя в жертву культуре или, может быть, избрали ее своей жертвой – двусмысленное. Сопrotивляется природа, сколько ее у человека осталось.

Однако остается все меньше. По мере того как человечество продвигается по пути самоотрицания, все садятся не в свои сани. Дети почти рождаются стариками (так называемые индиго), старики изображают юношей, белые становятся черными, черные отбеливаются, интеллигенция любой нации предается мазохизму и чужебесию. «Глобализация». Но прежде всего, «в преддверии роботов», оно должно подавить, рассеять, дискредитировать мужчин, силовое, маскулинное начало. Через него/них в мир вошло искусственное, от них/него оно в первую очередь и избавляется. Борьба с сексизмом как «фаллоцентризмом». В процессе нарастания бытийной энтропии человечество культивирует противомужественное и противоестественное, чтобы заменить жизнь техникой, которую созда(ли)ют мужчины. Как требует прогресс. Это подлинно диалектично, по-настоящему, как все в истории, иронично и очень естественно – для победы искусственного.

* * *

В чем причина, что на всей земле и во всех своих формах цивилизация изобретена мужчиной? Принципиальные и даже бесчисленные мелкие достижения науки, техники, искусства сделаны им? Неравенство социального положения не объясняет причину, оно само должно быть объяснено. Кроме того, сейчас во многих сферах более чем равенство, а в биологии, экономике, медицине около 80% женщин, но принципиально новые разработки дают 10% из работающих в них мужчин. Библиотеки еще недавно были переполнены пишущими женщинами, которым не мешает ни семья, ни армия, но все равно чувствовалось, что женская наука, как спорт или шахматы, требует других мерок.

Логической основой провозглашения полного равенства полов должно быть положение, что человек существо только социальное. Если же признавать, что человек биосоциален, а даже странно, как идеология могла затушевать оче-видные вещи, то придется признавать неравенство полов. Разделение единого человека на два пола (высших животных вообще) не бессмысленно, если оно биологически целесообразно для выживания. Потребность в нем возникает, когда к одному и тому же существу предъявляются противоположные требования. Например, быть активным и быть спокойным, быть агрессивным и быть заботливым. В определенный период жизни, если бы все особи были заняты рождением, им было бы трудно сохраниться. Поэтому один пол специализирован на контактах с внешним миром больше, чем другой. Иметь одинаковое поведение абсурдно, тогда незачем было разделяться. Специализированные вовне особи сильнее, у них несколько выше температура тела, быстрее реакция и обмен веществ, больше мозг. Это обеспечивается особенностями гормональной системы и значимо при

переходе к внебиологическим формам борьбы с природой. Даже если мозг только сцена, то и величина сцены что-то значит для постановки спектакля – больше возможностей. Но содержание спектакля социально. Поэтому среди мужчин больше святых и преступников, гениев и идиотов, страстных любовников и бесчувственных чурбанов. Они не по содержанию «лучше» или «хуже», это социальная оценка, у них больше физиологическая амплитуда колебаний. (Как чаще асимметрия мозга и лица.) Как в плюс, так и в минус. Они – *проблемные*. А становятся – проблематичными.

В последнее время женщине стали «отдавать» эмоционально-образную, дионисийскую сторону бытия. Но это джентльменство не основывается на реалиях собственно человеческой истории. В религии, поэзии, музыке, живописи и прочих видах искусства мужчина господствовал не меньше, чем в науке. И только теперь, с потерей духовности (в трансмодернизме все превращается в технику и технологию), из искусства уходит и он. Туда, куда уходит мир, – в электронную музыку, компьютерную графику, виртуальную (гипер) литературу. Опять в первых рядах: но уже упадка. И первым там подохнет (это не ругательство: имеется в виду – «задохнется»). Если при формировании Сетей (первые 10–15 лет) женщин там практически не было, то теперь там бывают все. Значит, виртуальный мир перестал быть изобретением. Женщины там, *где норма, где обучают и демонстрация*. И человечество начинает делиться по другому параметру: «естественников» и «искусственников», на жителей Земли, у которых есть пол, возраст, чувства, и обитателей Техноса, «люденгов», техноидов, где эти характеристики не значимы и даже мешают. В виртуальном мире все одинаковы.

А пока Женщина существо более плавное и гармоничное. Сбалансированное и благополучное. Но в более ограниченном диапазоне.

* * *

В порнокультуре часто рассуждают на тему исторического права мужчин на полигамию. Тем самым обосновывается их право на супружескую измену в наше время. На то, что время от времени они должны «отпускать бобика погулять». И большинство отпускают. Феминистки возмущаются этим двойным стандартом, требуя подобного для женщин. «Выравнивают мораль». Но в чем коренится такая несправедливость, подумать никто не хочет. Объяснение, что мужчины поступают по «праву сильного» поверхностно. Корень же здесь есть, и он одинаков у всех высших животных. «Работая со стадом», самцы действительно второй раз к самке не подходят. Бегут к другой. Для этого есть природные основания. Во-первых, будучи оплодотворенной, самка успокаивается и больше их не хочет. Нет сигнала, что «путь открыт», а животные насилием не занимаются. Во-вторых, оплодотворять самку, которая уже «понесла», биологически непродуктивно и как бы бессмысленно. Эта природная причина лежит в том, что в истории гораздо чаще распространено многоженство, а не многомужество. Чем больше жен, тем больше потомства. А много мужей потомства не прибавляют. «Пустая» трата вр/с/емени.

Некий след этих инстинктов остался и у людей, когда различие законов природы проявляется в различии моральных норм (пока была культура). Но самцы за свое преимущество должны как-то платить – риском, готовностью погибнуть, защищая свое стадо, территорию

или общество. Если не платят – они паразиты. Вот почему мужское начало ярко проявляется в неблагополучное время и умалется в комфорте, который превращает людей в паразитов. Мужчине он противопоказан по самой его сути. Возникает Пост-Адам. Пост(транс)мужчина – начальная стадия постчеловека.

* * *

Первым домашним животным был сам человек. Сам он, видимо, будет и первым роботом. **Роботы вырастают внутри нас.** Функционально многие ими уже являются. Главный признак роботизма – жизнь без чувств, без самостоятельного отношения к миру, особенно критического. А просто в качестве элемента целого. Раньше люди тоже редко поднимались до социальной самостоятельности, но тогда человек больше жил частной жизнью – в общине, группе, семье. Неприятное новое теперь в том, что механичность поведения проникает в эти группы – в общение с ближайшим окружением, с семьей, с самим собой. Потому вместе с ростом общения растет одиночество, в чем и заключается один из парадоксов современного социума – «одинокая толпа».

Популярная тема молодежных диспутов, когда они еще были (до «сексуальной революции»): что лучше: любить или быть любимым. Действительно, что лучше? Кто любит, тот субъект отношений, кого любят – тот объект. Кто любит, получает удовольствие или мучается, живет чувствами; кого любят, удовлетворен или раздражен, живет сознанием. Первый горит, второй греется. В век рациональности предпочитают больше греться. Это безопаснее и выгоднее – это целесообразно, а любовь, как и вера, – противоразумна, нерациональна. Все поверхностные люди хотят быть любимыми. И мало кто хочет любить. А кто хочет, то «абстрактно». Или не может.

В древности, в мифах любовь представляла как вселенская космическая сила. Как влечение вещей друг к другу. Наука заменила это понятием притяжения, и любовь как влечение осталась только для живой природы. Техногенный человек к природе равнодушен, в том числе живой, за исключением себя. Любят тело друг друга. В результате чего любовь превращается в «сексуальные фантазии». И просто – секс (половое удовлетворение). Но все больше любят только свое тело. В результате чего секс превращается в бесполо(во)е самоудовлетворение. Постепенно, однако, целого тела для умалившейся любви становится много. Она сосредотачивается на его части. Малый секс. **Дошла до конца.**

Эгоист бы и рад полюбить – себя, но не получается. Духовно не получается. Несмотря на все призывы либерально-индивидуалистической цивилизации. Любить себя – то же самое как себя щекотать. Физиологическое раздражение есть, а не смешно. Не радостно. То и другое можно испытать лишь с кем-то. Суть любви, как и языка, – общение, только разговор идет всем телесно-духовным континуумом. «Без органов». Они только ставят точку. Любовь к себе и разговор в одиночку – щекотка сумасшедшего. Безумно не смешно.

* * *

В западной цивилизации, за которой «сзади» плетемся и мы, прои-с-ходит социокультурное оскотление человека. **Кастрация. Сначала духовная, психологическая, а потом и физическая.** Думали,

что будет больно. А ничего и не заметили. Вначале и параллельно это делают на животных. Еще недавно смущались, что вот, мол, пришлось кастрировать пса, стерилизовали кошку. Было какое-то чувство вины, инстинкт греха, остаток природного бессознательного. Теперь, наоборот, считают за добродетель, широко объявляя: «Отдам собаку/кошку в добрые руки. Кастрирован! Стерилизована!» Или так: «Возьмите котика. Умный, ласковый. Кастрат». Кастрат! – вот что и чем привлекают теперь общественность. Что лишают животных живой жизни, никто уже не думает. Хотя не совсем так: у-думали специальный «корм для кастрированных». Рынок. Вездесущий. Объявим дальше: Муж надоел, жена утомила. «Отдам мужа/жену в добрые руки. Кастрирован. Стерилизована». Пусть живут. Рынок. Всеобщий. «Без стерилизации нет цивилизации» – таков был девиз Нового удивительного мира О. Хаксли. Он и осуществляется. Человеческую кастрацию, подобно некоторым древним обществам, вновь начали узаконивать, материализовывать. (Во Франции, обсуждался в парламенте! Не знаю, принят ли такой закон.) Буквально, не психологически (такое выхолащивание жизни идет непрерывно), а физиологически. Правда, не ножами, а «политкорректно», то есть облачая в лицемерие, путем «лечения химическими препаратами при отклоняющемся поведении». Для борьбы с ним. Ради безопасности. Которым, гляди того, будут считать традиционный (небезопасный) секс. «Слишком мужчин» и «слишком женщин». *Now*: Выгорание человеческого в человеке, его души. На костре прогресса ее лижут языки пламени ползучего тотально-технотронного фашизма. К 2045 году его обещают материализовать в искусственном теле, создать бессмертных нелюдей.

Гендер – это социальный конструкт Onedimenshional men. Духовно стерилизованный. «Без стерилизации нет цивилизации» (Олдос Хаксли). Гендерный – значит бесполой, бес-полый, значит бес-человеческий.

Sos... sos... sos... (Save our soul... save our sex... save our self... Спасите наши души... спасите наш пол... спасите самих себя...)

Нужна *экология пола*.

* * *

Почему мужчина – инициатор, он подходит к женщине, а не наоборот? На танцах, ухаживание, брачное предложение – почти у всех народов. Это все окультуривание того факта, что конечным итогом данной знаково-символической деятельности должно быть физическое соединение. Акт жизни. Чтобы он состоялся, мужчина должен его захотеть. Он способен имитировать разное поведение: улыбку, гнев, печаль, особенно актеры. Но эрекцию нет. Он не может ее «иметь». Он должен в этом состоянии быть. И не может притвориться, как женщина, что «испытывает оргазм». Не может обмануть (отсюда и в остальной жизни он более прямолинеен и простодушен). Так устроена физиология. Хотение исчезает, когда его вынуждают. Ему нельзя сказать: Relax – расслабься. Тогда расслабится все. Эту скотину можно привести на водопой, но её нельзя заставить пить. Миллионы женщин, до 30%, живут с мужем не испытывая никаких, кроме неприязни, чувств, компенсируя ее бытовым террором. Мужчина скажет: я импотент, «нахватался радиации», буду алкоголиком, уйду в работу. И уйдет. К другой. Или в никуда. С одной стороны, он животное более грубое и безлюбное, чем женщина, а с другой – без чувств жить не может. В этом, а не в более высокой моральности

или обычаях причина, почему среди мужчин мало проституции. С кем угодно, на заказ, без «желания» и «понравилось», у него не выходит. Или в форме, когда он «не мужчина». В этом же причина, почему его нельзя «естественно» изнасиловать. **Отсюда вся цепочка культурных отношений** и негативная реакция (когда еще была культура) на проявление инициативы женщиной. Она должна «привлечь», раз(воз)будить его. Тогда все получится. Цепочка распадается по мере ослабления прокреативного значения половых функций и появления бросающихся на мужчин американок, по крайней мере в фильмах, а также «искусственного секса», разного рода механических и химических (виагра) фаллоимитаторов. Она заканчивается вместе с концом человека.

Наличие имитатора отменяет необходимость оригинала. Протез вытесняет орган. Поэтому параллельно и вместе с появлением виагры распространяется эректильная дисфункция, о которой раньше почти не знали. (Иногда ходили слухи в деревнях, что парня сглазили, заколдовали – «сделали невестаниху», и надо было расколдовывать.) Сама возможность протезирования обесценивает функционирование. Это взаимно поддерживающие друг друга стороны единого диалектического процесса. Однако «прогресс-дураки» так сложно не думают, их счастливый удел все время радоваться достижениям прогресса.

* * *

Дружба в точном смысле слова может быть только в юности, пока человек не знает сексуальной стороны общения. Это «предлюбовь». Дружба и любовь – стадии развития одного и того же стремления к близости, только в первом случае со своим полом, во втором с противоположным (если в норме). В дальнейшем близкое общение возможно или как приятельство, без тех чувств, что были в юности, или же, если они есть, то это любовь, хотя чаще всего платоническая. Пройдя высшую стадию близости – любовь, человек не может возвратиться к низшей. Для дружбы нужна невинность.

Экзистенциальная любовь – это когда можно сказать: он мне не нравится, но я его люблю. Так относятся к «блудному сыну», близкому человеку, к своему городу. К Родине. «Люблю отчизну я, но странною любовью...» Не способный к такой любви не имеет души. Только от-душку. Космополит. Эмигрант. И все больше – «глобальный челове(йни)к».

Но остаются пережитки. Такого могут обвинить в патриотизме или даже, страшно вымолвить, в «любви к Родине». Оправдываюсь так: надо же чего-то/кого-то любить. Кроме себя, и даже близких, если душа больше рукавицы. А что такое рукавица? Современные люди этого не знают.

Русский эрос

Эрос, эротика. В отличие от мата и порнографии, говорить о нем дозволяется цензурою. Воспользуемся, в духе Г. Гачева. В транскрипции с греческого языка на русский, «э» будет «е»: например, эллины – еллины («Еллинских борзостей не читах», – гордился православный автор Средних веков). Например, этажи – етажи («Запирайте етажи, ночью будут грабежи», – поэма А. Блока «Двенадцать»). Например, эрос – ерос. Отсюда Херос («Да пошли вы все на хер(ос)»). Заодно догадался о смысле выражения «радости полные штаны». А также почему, когда любят,

говорят: «так и съел бы». Или целуя маленького ребенка, прижимаются к нему ртом, приговаривая «ам-ам-ам». Предложить по культурологии или этнографии тему диссертации: «Каннибализм как высшая стадия любви к человеку».

Отдадим все свои силы на достижение слабости

По мере того как детские игры становятся все более интеллектуальными, компьютерными (задачи, головоломки, знаменитый когда-то кубик Рубика, гонять шайбу световым лучом по экрану, охотиться в видеозале), то есть становятся «игрой ума», взрослые теряют способность к игре вообще, даже в сознании. Всякая живая игра опирается на двусмысленность, вытекающую из чувственной природы человека. Подавляя эту природу, они становятся мертво-серьезными, «деловыми». И в сущности, бесталанными. Ведь для таланта нужна *anima allegro* – играющая душа. Или страдают: депрессии, потеря интереса к жизни. В последнее время психологи толкуют о необходимости обучения детей игре. Предметной, не виртуальной. Даже простейшим формам. Сами, спонтанно, они больше играть не могут. Потом – жить не могут.

Дети не должны испытывать ни малейших неудобств. Памперсы. При мытье они не должны огорчаться. Специальные шампуни. А чтобы не ушиблись – не ползать. Манеж. Скоро им и ходить не будут давать: сидячие коляски чуть не до трех лет.

Дети не должны плакать и напрягаться. Но ведь плач – это детская форма выражения чувства неудовольствия. Дети не должны чувствовать? Или – «только радость»? Но так не бывает. Неудивительно, что, став взрослыми, они все хуже переносят неприятности, «не держат удар». Духовная слабость как следствие физического комфорта. Слабость как следствие комфорта вообще. Комфорт, если по-русски, удобство. Удобно, когда не надо прилагать усилий. Сидеть комфортнее, чем стоять. Лежать, комфортнее, чем сидеть. Спать, комфортнее, чем бодрствовать. Сон-небытие-комфорт – вот главная цель нынешнего человека. Кто опровергнет эту логику? Бросьте в меня камень! А нет – молчите, не отделывайтесь пустыми словами: эмоции, консерватор, мракобес. Трусые мысли. Трусые для мысли.

* * *

Когда человек все время читает и пишет, у него поневоле развивается «библиотечно-компьютерный взгляд на мир». Умозрительно-интеллигентская идеология. Да еще учат жить, выступая в роли экспертов в политике или экономике. Несут ахинею. Всегда критическую. Потому что, в отличие от людей дела и настоящих руководителей, – безответственные. Кому-то так можно, но для творческой натуры убийственно. И вот рецепт спасения: больше пить (чай?) да гулять (в парке?). И никогда не выступать (по телевидению!).

* * *

«Любовь или свобода» – так называлась одна из книг французских сюрреалистов в начале века. Очень глубокое это «или». Полностью свободный человек не может любить. Это несовместимые состояния

души. В лучшем случае – секс. Торжество «открытого общества» это подтверждает.

Свобода – вот знамя, под которым человечество движется по пути самоотрицания и технототалитаризма.

Начинается, «не так». Станцию свободы проехали. Оно переходит под знамя безопасности. Посредством полного, абсолютного контроля. Везде – видеорегистраторы, вот-вот будут цифровые двойники. Дж. Оруэлл и другие предупреждавшие мир о последствиях бесконтрольного применения технологий могут отдыхать. Когда читали «про это» – пугались, а сейчас не хотят замечать. Субъект становится жестко встроенным в систему элементом, без самости. Бессубъектное общество. Постобщество. **Когда вас нет, вам ничто не угрожает.**

* * *

Ницше говорил: «Нам надоел человек» и хотел заменить это слабеющее больное существо сверхчеловеком. Бестией. Сильным и дерзким зверем. Увы! «Нам надоел человек» устами своих бесчисленных идеологов говорит современная цивилизация и хочет заменить его зомбиоидами. А пока – переходный период: **мы имеем дело с все более слабым раствором человека.** Таково большинство известных мне людей. В их числе и самый близкий мой знакомый – Я.

Сначала остерегались, а теперь во весь голос говорят о трансгуманизме, гуманологии и персонологии. Естественно, что возникли они на Западе, первым бегущим к пропасти ничто. Но вот и у нас появилась организация «Российское трансгуманистическое движение», в котором все больше участников и у которого все больше пропагандистов. Это теперь передовой отряд философской антропологии. Антропологии или антропофобии? Или же фагии? Трансгуманный человек, а правильное надо говорить – трансантропологический, трансгоманный, трансгенный человек. Человек или постчеловек? Трансгенные продукты коррелятивны трансгенному человеку. Смерть человека! И об этом они пишут открыто. Вместо людей будут нелюди. От проектов улучшения человека перешли к его отрицанию. **Людоделы стали людоедами.** (Само)убийцы среди нас! Кричат о том, что история человечества идет слишком медленно, нужна ее «акселерация». Чтобы скорее стать роботами. «Творческое исчезновение» – выдумывает М. Эпштейн, чтобы обмануть себя и других насчет сути процесса. «Российское движение убийц и самоубийц» – таков правильный перевод названия этой прогрессивной организации. Но это если думать. **А думать не будут.** У общества возникает потребность в активном и фундаментальном поглупении. Чтобы не понимать, что происходит. Особенно среди теоретиков – ученых баранов. Диагноз, который ставят таким на Западе: техногенная деменция (по-русски: приобретенное научное слабоумие). **Смерть в Раю. Через процветание.**

Нельзя (не) ругаться

Первым культурным человеком, говорил, кажется З. Фрейд, был тот, кто вместо того, чтобы бросить в соплеменника камень или ком грязи, – выругался. Очевидно, матам. Если два идущих по улице мужика матерятся, это просто наиболее древние культурные люди. Они перестали

драться, как варвары, и не бросают перчатки, приглашая к смертельному поединку, как феодалы. Кидаются низкими, жесткими и грязными словами. Но смысл ругательств, если всерьез, а не как выражение дружбы и взаимного опрощения, – всё равно вызов. Другому, Обществу. Это слова для обозначения вещей и действий, которые не должны быть публично обозначаемы. Их, эти действия, знают все, но только по отдельности, про себя, как тайну. В ругани индивид нарушает установленные законы, норму, табу, называя вслух священный тотем или акт. В ней выражается состояние души, когда человек провозглашает свое право на абсолютную свободу. Самые страшные ругательства – в самые священные и почитаемые вещи – в Бога, Душу, Мать. Это вызов индивида судьбе, обществу, всему свету, бросаемый им в минуту гнева и отчаяния, когда отбрасывается всякая условность в борьбе с неподдающимся окружением. Ах, так, гори все синим пламенем – и избивание божков, святотатство, богохульство, послать начальника. Это про(за) клятия. «Выход из себя». *Момент экзистенции.*

Такое состояние не может быть повседневным. Не должно и не является нормой поведения. Либералы-прогрессисты требуют права на ругань в культуре. В кино и театре. Пока добились «запикивания», то есть обозначения ругательства, а содержательно зритель может домыслить/произвести его сам. Как приправу, соль и перец, по вкусу. Гляди того добьются прямого произнесения мата, чтобы соль и перец подавать как самостоятельное блюдо. А слова: «мать» и «отец», наоборот, – запретят, объявят нецензурными, заменив на: «родитель № 1 и № 2», как того требуют европейские ценности. (Бедный римский папа и Мать-Богородица.) Не понимают, как всегда недалекие, что их требования это не «за», а «против» ругательств. Рубят сук, на котором сидят. Узаконенное, введенное в речевую норму ругательство перестает быть таковым. Теряет силу вызова обществу, становится не-ругательством. И тогда нечем будет ругаться. Как жить-то будем? Или останется одно страшное китайское ругательство: «Ты не умеешь жить». Оно будет самым актуальным.

Притом, что национальные ругательства и так вытесняются. Поражение терпит даже русский мат. На стенах и аудиторных столах в университете я с горечью вижу надписи: fuck, I fuck you. Их все больше и больше. Это вместо нашего, исконного. Вытеснение, увы, идет и на заборах. А факи, в сущности, не-ругательство. Их можно где угодно произносить. Поэтому своих студентов, аспирантов всегда убеждаю, что если ругаться – то все-таки по-русски, матом. Хотя не часто, не чаще, чем как-то признался, что «иногда приходится», наш нынешний Президент. Ведь это главное народное слово, настоящий духовный стержень национального самосознания, его высше-низшего состояния. Но только в гневе и неофициально, выкрикивать, чтобы оно оставалось нецензурным. Голосом чувства, разрядкой души, когда ударили молотком по пальцу или получили несправедливую оценку. Для живого, незамороженного человека это естественно. Необходимо. Иначе уменьшается проявление жизни, что потом ведет к потере ее смысла. Велика вероятность, что когда Господь Бог, разочаровавшись в своем творении, решил наслать на Землю потоп, невероятно, что он сделал это с хладнокровным равнодушием, без эмоций. Он сделал это в гневе. Значит, скорее всего, ругался. Не мог не ругаться. В (про) Себя?

«Для связки слов» ругаться тоже можно, у некоторых получается красиво, знал одного парня, который так невинно и элегантно матерился,

что хотелось слушать как песню, может, еще потому, что сам он был симпатичный, но у большинства это получается все-таки пошло, некультурно. Студентам не советую.

Власть(и)мущие мудрецы в Думе собираются, или собирались, принять или уже приняли чуть ли не уголовный закон о запрете ругательств (больше им нечего принимать). Юридический запрет живых ругательств – глупость. Социальный примитивизм. Осуждать и запрещать их морально – обязательно. А кто и как мораль нарушает, зависит от ситуации: есть ли на свете мужество, каждый решает сам. Народ, потерявший свои ругательства, обречен. Это критерий его этнической катастрофы (влас-тьмущие просветители этого не понимают). И если весь мир (не)поет, (не)молится и (не)ругается на одном языке, то конец истории как победа техногенно-рыночной цивилизации неизбежен. Конец русского матерного слова будет «концом истории по-русски». Вот что значит рубить под корень. Конец культуры и духовности. Настоящий патриот должен материться. Это наше национальное достояние. Потом, разумеется, искупая свой моральный о-грех хотя бы добрыми делами. Но никаких фик(т)ов! *Нужна экология мата*. Особенно в отчаянии от глобализации, суть которой – технологизация всего и вся, когда даже блины пекут, печатая на 3D-принтере, и как блины начинают печатать органы тела, не видя, что при этом (кажется, оглупев окончательно) радикально истощается жизнь, умаляются родные, да просто языки, песни и скукоживается душа народов. У(вы)мирает сам человек. Нужна (бы) экология Человечес(тва)кого!

За(ис)поведь консерватора

Конец света – такова будет последняя инновация человека. Принять «вызов сложности» или «вызов выживания» – так на птичьем языке постмодернизма выражается раскол человечества на два все более враждебных лагеря: сторонников технологизации или экологизации, роботизации или гуманизма, искусственного или естественного, бессмертия или жизни. И будут они бороться не на жизнь, а на смерть. Природа или культура – трещина, раскалывавшая XIX, первую половину XX века. Культура или технология – пропасть, образовавшаяся к концу XX века. **Человеческое или Иное** – вот глобальная, роковая проблема Третьего тысячелетия.

Благо(м)намеренные теоретики начнут поправлять: зачем «или», пишите «и». Мы не хотим «выживать», надо говорить «о жизни» – (по)учительно продолжают они. Да вы можете говорить о чем угодно, хоть о вознесении в рай, но это все пустые слова. На то они и пустые – эти люди-слова. Ситуация такая, что приходится выживать. Поколение сейчас-рожденных – будущие техноиды. Поколение мутантов. За ними будущее. У них нет будущего. Самое страшное в этой абсурдной цивилизации – ее успехи. Прозрачность зла. Кризис, неурядицы дают человеку хоть какую-то надежду. А успехи – никакой. **Современная цивилизация влюблена в смерть.** Беременна Иным. Её передовой отряд – безнадежно, для о(т)ставших-ся еще может быть разное.

Поэтому, идти под знаменем полионтизма и реакции (выживания) или под знаменем линейного прогресса (самоликвидации) – вот выбор, который стоит перед любым думающим человеком. Наиболее оптимальный выбор – не думать, отдаться утопии. Типа ноосферы,

бессмертия, космоса и т. п. Так или «никак» поступает большинство. «Отдаю(ё)тся». Чтобы не знать, когда нас не будет. Но это оптимально безответственный выбор. Философ на него не имеет права. Как обычный человек, делая утром зарядку и заботясь о своем здоровье, делает себя врагом прогресса, не говоря уже о таких отъявленных реакционерах, как посетители фитнес-клубов и косметических салонов, да даже и парикмахерских, он тоже должен действовать по логике сопротивления. *Эко-логике*. Нести крест понимания и надежды. В каждой деятельности каждый человек несет свой Крест. Пере-крестился – и неси.

Да не пессимист я! А только за жизнь, что в теоретическом плане предполагает союз религии с философией против свободы науки. Пусть наука будет искусством! И немного техникой. Это воззрение – диалектико-трагическое = подлинно философское. Всего лишь. (Не) оптимистическая трагедия. Когда признаётся, что оппозиции бытия и ничто, жизни и смерти, добра и зла имеют равно объективные основания. А борьба человека за победу бытия, жизни и добра над отрицанием как смертью и злом бесполезна. Но необходима. Смыслообязательна. Целесообразна. В бесконечном мире возможно все. Какая-то надежда есть на катастрофы. Они нужны для вразумления. Ибо одних слов, объяснений недостаточно. И они будут. Желательно небольшие, хотя бы средние. Чтобы приостановить вялотекущую, предотвратить или хотя бы отсрочить всеобщий самоапокалипсис. Знаменитый тезис К. Маркса «Философы лишь различным образом объясняли мир, дело заключается в том, чтобы изменить его» сам должен быть изменен. Нынешний девиз: «Люди лишь различным образом изменяли мир, дело заключается в том, чтобы сохранить его». Сохранить как нашу реализацию возможных миров. Как *мир человека*.

* * *

«Разработка сильного искусственного интеллекта будет означать конец человеческой расы, – считал знаменитый ученый физик Стивен Хокинг. – Как только человечество разработает искусственный интеллект, он разовьется сам и начнет перестраивать себя с все возрастающей скоростью. А люди, ограниченные медленной биологической эволюцией, не смогут с ним конкурировать и будут вытеснены». Это неопровержимое утверждение, как силлогизм: если p, то q. Но большинство, даже и меньшинство, кому положено думать дальше своего носа, радуются этой перспективе. *Прогрессивно(е,) глупеющее, слепое, несчастное человечество. Счастливы только непониманием того, что делается*.

Вот почему я традиционалист = антропоконсерватор = (не)верю в гибель человека и торжество (не)его разума.

Александр РЯБОВ

Родился в 1988 году в Нижнем Новгороде. Окончил радиофизический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В настоящее время там же работает младшим научным сотрудником.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Один из способов восприятия «Архипелага ГУЛАГа» сегодня

В декабре 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, одного из самых противоречивых советских и русских писателей. В свое время его работы не оставляли никого равнодушным и вызвали пламенные споры, переходящие в пожар конфликтов и нередко заканчивающиеся пепелищем взаимоотношений. Сейчас, по прошествии многих лет, жар этих дебатов немного спал, но негаснущим огнем продолжают светить нам размышления творца. Вглядываясь в это мерцание сегодня, попытаемся еще раз понять его этапное произведение.

Вспоминаю, как при первом прочтении «Архипелага ГУЛАГа» (далее – АГ), в начале книги меня не покидало ощущение, что это произведение – месть пострадавшего человека по отношению ко всему, изуродовавшему его жизнь. И пришлось немало потерпеть, чтобы, дочитав примерно до 150-й страницы, дожидаться того, что делало это произведение по-настоящему интересным: страх человека перед осознанием того, что сложись жизнь иначе, и ему выпал бы жребий стать не жертвой, а палачом; и вопрос, нашел бы он в себе, еще довольно молодом парне, силы отказаться от этого предложения судьбы или нет. Многие же не осиливают этот ров во вступлении, забрасывают чтение и остаются с ошибочно упрощенным восприятием этой книги. И в самом деле, АГ изобилует фрагментами с подозрительно удобными для автора примерами, из-за чего не обладающие положительной предубежденностью читатели, начинают относиться к книге очень критично и видят в ней прежде всего жажду мщения. Многие мои знакомые как раз так и считали. Может, это и неконструктивный *ad hominem* по отношению к автору, но не сам ли он виноват?

Впрочем, это скорее отличительная черта новых поколений: недоверчивость и критическое восприятие, причем вне зависимости от интеллектуального и образовательного уровня (естественно, разговор о средних значениях). Вспоминается, как в фильме «Председатель» па-

сынوك главного героя – очень умный подросток, создающий будущую планировку деревни, изучающий коринфские, дорические и ионические колонны, – с удивлением обращается к матери: «Мам, а разве в газетах пишут неправду?» Такая наивность вызывает улыбку. А сейчас даже самый обычный подросток знает, что могут врать и газеты, и книги, и телевидение и прочие источники информации. Да, современный подросток будет ошибаться в определении, где правда, а где ложь, но вероятность этой ошибки не вызовет у него такое изумление. Может, отсюда и иное восприятие у людей, читающих АГ сейчас, в отличие от тех, кто это делал лет тридцать назад. Сейчас – много сомнения, недоверия и ощущения, что в этом произведении хватает лжи.

Тем более, скептицизм усиливается, когда понимаешь, что служит мотивом для нескончаемых передергиваний. Многие люди, по отношению к которым История, персонифицированная в лицах высоко и низко стоящих исполнителей, была полностью несправедлива или несправедлива в степени наказания (привет нелепому Глебу Жеглову!), не могут простить ей этого до конца жизни. Да и после жизни. Мы продолжаем жить в наших родных, близких, коллегах, и они подхватят эту эстафетную палочку «не забудем, не простим». Мертвые беззащитны? – едва ли: чаще всего найдутся те, кто за них заступится. Поэтому сложно не видеть необъективность отдельных людей по отношению к сталинскому правлению. Очевидно, что Николаем Сванидзе движет не столько борьба за правду, сколько месть за безвинно (как ему видится) пострадавших предков. А деятельность «Огонька», начиная с середины 1980-х, подмывает рассматривать сквозь призму запоздалого мщения за его легендарного редактора Николая Кольцова. Конечно, столь нарочитый переход на личности априорно указывает на низкую культуру ведения спора. Но как не скатиться к нижним ступеням пирамиды Грэма, когда подтасовки, подгонки, а порой и откровенные фальсификации так явно бросаются в глаза?

Впрочем, именно вранья в АГ не так много, как это пытаются представить противники этой книги. Солженицын действует немного тоньше, и этого хватает, чтобы уложить на лопатки подавляющее большинство своих оппонентов. Александром Исаевичем движет в том числе и месть, но не только; он действительно и мыслитель, и писатель, и ангел, и общественная фигура (при написании АГ он уже мог предвидеть, что ей станет). И эта многогранность автора позволяет ему успешно решать многие задачи, в том числе удовлетворять автоангажированность. Конечно, при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что главным механизмом выступает тенденциозность, но у Солженицына она очень сбалансирована, а когда нужно просто отходит в сторону – благо перед нами все-таки художественное полотно. Эта расчетливость не могла не ранить некоторых соратников Солженицына по общему горю и делу, из-за чего он со многими перессорился, но к этому мы еще вернемся.

Так в чем выражена тенденциозность Солженицына? На самом деле было бы ошибочно приписать все привычной генерализации частных случаев, когда условно из десяти примеров выбирается лишь один случай, еще два упоминаются вскользь, а оставшиеся, не очень подходящие, просто игнорируются. Надо еще учитывать, что эта выборка изначально не обладает репрезентативностью, потому что предоставляется людьми, которым не до объективности – им бы душу излить (многие обвиняли Солженицына, что он доводил людей, передающих

ему информацию, до истерик и даже смертей; но он борец, и лагерная тема для него – поле борьбы). Очевидно: перед нами систематическая ошибка индуктивного мышления. Но вправе ли мы быть так строги к автору за это?

Еще одним пластом предвзятости подтверждения (англ. confirmation bias) являются передергивания и будто бы случайные ошибки. Их довольно много (особенно числа пострадавших автор ловко множит), но здесь приведем только две. Первая касается демографии. Приводя те или иные числа жертв репрессий, Солженицын нередко добавляет о том, что именно это привело к серьезному демографическому упадку. Логично, что это должно было бы быть выражено в падении объективных показателей, например, в ежегодном приросте населения в процентах. И что мы видим? По данным переписи населения, проведенной в январе 1959 года, численность населения СССР составила почти 209 миллионов. К концу же 1913 года в тех же границах проживало около 159 миллионов. Итого: в период с 1914 по 1958 год ежегодный прирост населения – 0,6 %. А что же другие крупные страны, на себе почувствовавшие ужасы мировых войн? У Англии – 0,46 %, а у Франции и Германии – по 0,41 %. О чем это говорит? Нет, не о том, что Солженицын врет, а о том, что он приводит лишь выигрышную для него статистику, да еще и интерпретирует ее так, как ему выгодно. Более конструктивная дискуссия должна происходить следующим образом.

– Да, ежегодный прирост у нас был выше, чем у западных держав, но ведь мог быть еще выше: не зря же Менделеев, увлекавшийся на досуге вопросами прироста населения, в начале XX века посчитал, что к 2050 году численность населения Российской империи должна составить 800 миллионов. Но такой она не будет, и в том числе из-за сталинских репрессий.

– Виноваты не только и не столько сталинские перегибы, но и другие причины (конец Российской империи, войны, перестройка, развал СССР). К тому же: ну и зачем нам такое огромное население? Были бы Северной Индией, только еще более бедной.

То есть вопрос демографии в итоге должен переходить в вечный спор между К-стратегией размножения и R-стратегией. В рамках К-стратегии задача общества (стаи, своры, группы) добиться высокой вероятности выживания немногочисленных потомков (берем качеством); в рамках R-стратегии задача, чтобы потомков было много, а вот выживание каждого в отдельности непринципиально (берем количеством). Для биологов это интересный тип задач. Для гуманистов такая постановка вопроса является кощунственной. Хочется искать объяснение рассуждениям Солженицына о демографии в его гуманистических чертах характера, но это будет лукавством. Нет, тут он просто использует ловкий маневр.

Но если в случае с демографией мы имеем место с выгодной интерпретацией, то в случае с анализом появления концентрационных лагерей (как и самого слова) – с подтасовкой, напрямую граничащей с ложью.

А 5 сентября 1918, дней через десять после этой телеграммы, был издан Декрет СНК о Красном Терроре, подписанный Петровским, Курским и В. Бонч-Бруевичем. Кроме указаний о массовых расстрелах в нём, в частности, говорилось: «обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях».

Так вот где – в письме Ленина, а затем в декрете Совнаркома – был найден и тотчас подхвачен и утверждён этот термин – концентрационные лагеря – один из главных терминов Двадцатого века, которому предстояло широкое международное будущее! И вот когда – в августе и сентябре 1918 года. Само-то слово уже употреблялось в 1-ю мировую войну, но по отношению к военнопленным, к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено к гражданам собственной страны. Перенос значения понятен: концентрационный лагерь для пленных не есть тюрьма, а необходимое предупредительное сосредоточение их. Так и для сомнительных соотечественников предлагались теперь внесудебные предупредительные сосредоточения. Энергичному ленинскому уму, увидев мысленно колючую проволоку вокруг неосуждённых, сплутно было найти и нужное слово – концентрационные!

Очевидно, что в сознании людей концлагерь – это про фашистов. Поэтому довольно-таки сильным ходом будет взять да и назвать основателями этой практики большевиков. Однако, значительно раньше нечто похожее на концлагери, появившиеся у нас в 1918 году, появилось во времена Гражданской войны в США. В штате Джорджия в 1864 году южанами был создан лагерь для военнопленных под названием Андерсонвилль, действовавший до мая 1865 года. За все время существования лагеря в нем побывало около 45 тысяч человек. Из-за постоянной переполненности некоторые заключенные спали на земле вне зависимости от погоды. Уровень антисанитарии был запредельный: территория кишела крысами и тараканами. Доля погибших в лагере шокирует: больше четверти (свыше 13 тысяч человек). Фотография одного из узников лагеря напоминает изображения мучеников нацистских лагерей. Может, это все злодеи-южане? Отнюдь: у северян были свои лагеря, где люди гибли как мухи.

Таким образом, «новый» метод борьбы, который применяли большевики по отношению к классовым врагам, применялся в Америке за полвека до этого. Аналогия, причем практически полная, если бы не термин, которым это явление обозначено.

То, что словосочетание «концентрационный лагерь» было до большевиков, Солженицын не отрицает, правда, вновь ошибается. Испанские *campos de concentración* появились еще во время войны за независимость Кубы (1895): туда испанцы интернировали мирное население. Немного позже термин *concentration camp* более широко применялся в ходе Второй Англо-бурской войны (1899–1902). Впоследствии этот термин стали применять все чаще, и то, что его решили использовать в своем декрете коммунисты, является просто данью интернациональному военному языку.

Солженицын же хватается за это стечение обстоятельств и выводит из него формулу, хотя очевидно, что ретронимично термин «концентрационный лагерь» можно использовать по отношению ко многим событиям истории. Что мешает лагеря, которые создавали американцы для чероки и навахо назвать концентрационными? Пожалуй, составителю словаря придется сильно постараться, чтобы большевистские и нацистские лагеря назвать концлагерями, а американские для индейцев – нет.

Но при желании можно сказать, что Солженицын не соврал, а просто запутался. Важно, что он добился своей пропагандистской цели.

Да, Александр Исаевич часто изобретательно хитрит, и многих его оппонентов или даже нейтральных читателей, подмывает разгадывать эти трюки. Но должны ли мы быть столь строги к человеку, так сильно

пострадавшему от режима? Не должны ли мы проявить сочувствие к нему и простить столь страстное желание представить репрессии в еще более страшном виде, чем они были в действительности? Может быть, правильнее воспринимать весь АГ несколько иначе?

Одним из способов прочтения АГ является следующий. Не надо упрекать автора в мести режиму и Истории, надо просто принять автора-летописца в качестве метагероя своего произведения. Иными словами, необходимо вмонтировать биографию Солженицына в действие АГ тем или иным способом. Один вариант: всю биографию разместить, как первую главу АГ. Второй: кусочек разместить в начале, а другие кусочки перед подходящими фрагментами. Третий: распылить биографию совершенно случайно, чтобы важен был сам дух судьбы писателя, а не триггеры-события. Подобная трансформация произведения не лишит его наиболее пробивных и значимых событий, но в то же время: а) избавит книгу от излишних политических и исторических провокаций; б) добавит произведению объемного несдающегося главного героя.

После этой переделки роман начинает восприниматься несколько иначе, но полнее. Необязательно переводить АГ в произведение от третьего лица (хотя можно), важно, что на ментальном уровне отдельные его части мы будем считать именно так.

Итак, жил-был писатель, который в свои ранние годы несправедливо пострадал от своего государства. Однако он смог это пережить и решил написать про все те лишения и страдания, которые ему довелось испытать. Причем своего личного опыта ему казалось недостаточно, и он начал собирать материал у других людей. Сложно понять, когда этот писатель честен, рассказывая о репрессивной системе своего государства, а когда старается представить все в более страшном виде. Он старается охватить все темы, связанные с тюремной жизнью: исторические, бытовые, философские, экономические и прочие. Он писал про то, как много времени есть в лагере, чтобы подумать обо всем. Он писал про то, почему так редко были в лагерях побеги и редко ли. Он писал о бандитах. О восстаниях. О том, во всем ли виноват вождь. О любви. О холоде. О голоде. О добре и зле. Многие были ему благодарны за то, что он открыл глаза обществу, другие, наоборот, проклинали, что вскрыл так тяжело заживающие раны. В какой-то момент писатель устал от этой темы, но и соратники, и обыватели не давали ему ее оставить. Живя в другой стране, писатель уже нескрывая стал утопать в ненависти по отношению к своему прежнему государству. Должно ли это указывать, что прежний разоблачительный труд нес на себе обильную порцию клеветы? Вопрос. Потом его государство рухнуло, и он вернулся на родную землю. Однако он не переставал бороться. Он находил новые поводы для схваток, теперь уже раздражая прежних союзников.

Данный угол зрения дает более объемный взгляд на это произведение, и несколько извиняет Александра Исаевича за постоянные передргивания. Важно помнить, что герой Солженицына не просто оказался невинно осужденным, но это еще и произошло в страшный момент истории нашего государства, когда колеса тюремно-лагерной машины набрали пугающий ход. Впрочем, это применимо для всех героев АГ. Абсолютно всех: и таких же, как сам писатель, политзаключенных, и прочих заключенных (включая воров), тюремщиков, следователей, оставшихся на воле обывателей, чиновников, высшее партийное руководство.

Репрессии 30–40-х годов стали логическим продолжением затянувшейся борьбы за власть в предшествующую эпоху, которая несла на себе энергию тотального взаимного недоверия. Причиной этих настроений в обществе была сильная перезрелость революции (или каскада революций: здесь не важно. – *А. Р.*). Путь к новому социально-политическому устройству был очень долг и тернист. Естественно, неправильно начинать отчет ни с декабристов, ни даже с петрашевцев. Конечно, они были носителями идей переустройства общества на иной лад, но так можно и до Пугачева, и до Разина, и до оппонентов царя Гороха дойти. Скорее всего, исток того, что в итоге привело к падению царизма, надо видеть в проникновении европейских настроений после «Весны народов» 1848–1849 года. Оформляться эти брожения во что-то серьезное стали после понимания провала и лицемерия крестьянской реформы и стали активной силой в конце 1860-х – начале 1870-х годов, как раз в тот момент, когда персонажи «Бесов», читавшие Фурье и Прудона и вечно повторяющие словосочетание «общее дело», вышли из матрицы и перестали быть нелепыми прозаседавшимися. Вот тогда и началось. Парадоксально, но убийство императора Александра II стало камнем преткновения на пути к свержению монархии, по причине не только реакционных настроений масс, но и недостатка сил у самих народников. В историографии принято разделять революционный генезис в России конца XIX века на этапы народнический и пролетарский (марксистский), но очень похоже, что эта условность досталась нам в наследство от советской пропаганды. Многие народнические организации постепенно перенимали некоторые идеи Маркса и Энгельса, и нельзя сказать, что в какой-то конкретный момент произошел резкий переворот в их идеологии. Неудачное покушение на Александра III в 1887 году должно было привести к прекращению реакции и стать глотком свежего воздуха для «свободолюбивой России», однако привело к обратному – казням Александра Ульянова с товарищами. Катастрофа с императорским поездом, произошедшая через год, многим современным историкам тоже представляется терактом, о котором спецслужбы предпочли умолчать, дабы не выросла вера в себя у народников. Революционное движение в России ненадолго затухло, чтобы разгореться вновь на стыке веков. Однако, как мы знаем, и после этого общество ждало много сезонов этой нескончаемой революционной «Санта-Барбары». Многие мятежные деятели уставали и переходили в разряд теоретиков и зрителей. Шутка ли: Ленин в начале своей эмиграции 1908–1917 годов был уверен, что совсем скоро бурная волна сметет царизм, а уже в «Докладе о революции 1905 года» за 1917 год писал: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думаю мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь <...> будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции». Замечательно комментирует это Лев Данилкин: «Ничего подобного, что характерно, Ленин раньше не говорил, так что, не слишком рискуя подставиться под обвинения в благерстве, можно предположить, что именно в Цюрихе 46-летний “Старик” максимально приблизился к отчаянию: похоже, он окончательно превратится в библиотечного городского сумасшедшего, помешанного на том, чтобы достать еще и еще и еще и еще одну книгу». Последовавшие Февральская и Октябрьская революции, а затем и Гражданская война были для людей большой жратвой перебродивших перезрелых плодов долгих десятилетий революционного созревания.

И требовать от общества, чтобы оно быстро после этого протрезвело, — наивно.

И все эти годы пути были усыпаны таким большим количеством неудач и предательств, что началась игра на удержание успеха. Общество и новая власть плохо отдавали себе отчет, в чем должно это удержание выражаться, пытались направить эту активность в какие-то высокие идеи, но получалось плохо. Возможно, оказались у власти другие люди, они смогли бы что-то придумать с этим сгустком хаотичной энергии, но откуда такие люди могли ли взяться в тот исторический момент? В итоге к полной власти пришел Сталин, который в отличие от безвылазно сидящих за границей Ленина, Троцкого и Зиновьева, все время был в Российской империи и пропустил через себя все «прелести» становления новой власти в стране. В то же время, если говорить по-житейски: это честно.

Однако эта историческая справедливость по отношению к одному человеку привела к тому, что именно он стал персонификацией всей той накопленной за многие годы социальной энергии. Иногда Сталину удавалось направить эту суперсилу на благо, но иногда его перехлестывало. Еще одной проблемой было то, что население страны в 1913 году и уже через двадцать лет отличались друг от друга так сильно, что все те идеи прежних идеологов революции оказались во многом непригодны, и писать новый план приходилось на коленке.

Мы хвалим руководителей раннего СССР за искоренение безграмотности, забывая о том, что это был общемировой тренд, и многие развитые и развивающиеся крупные страны, отставшие по уровню грамотности населения в предшествующие 50–100 лет, устранили этот пробел в первой половине XX века. Скорее всего, при любом новом политическом устройстве государства произошел бы заметный скачок грамотности. Другой важный момент, что мы не понимаем, с какой дикой скоростью происходил этот процесс, на который у других стран уходило намного больше времени. Параллельно с этим аврально и неадекватно быстро отстраивались социальные лифты, которые в нормальных эволюционных условиях тоже требуют многих наладок и корректировок. Новые возможности давали людям колоссальный социальный капитал, переварить который должным образом в столь сжатые сроки общество было объективно не готово. И как предосудительно вели себя некоторые «новые русские», на которых в 90-е годы свалились нежданно богатства, так и многие «советские грамотные граждане» 20–30-х пошли по головам ближних своих, не брезгуя использовать смертельную собаку грызню во власти себе на благо.

Таким образом, совокупность этих двух спрессованных временем факторов — запоздалая революция и новый социальный капитал для основных слоев населения — во многом предопределила те общественные и политические потрясения, которые и привели к возникновению Архипелага ГУЛАГа. В реальной жизни было так много сумбура, что попытка увидеть в этом конфликт гуманизма и государственности, что нередко мелькает в произведении Солженицына, несколько тенденциозна.

Давайте обратимся к истории. В первом послании Ивана Грозного Андрею Курбскому есть странный для современного человека посыл: «Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то почему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воздаяние?» И еще чуть ниже: «Если же ты убоялся смертного приговора по навету, поверив злодейской лжи твоих друзей, слуг сатаны, то это и есть явный ваш

изменнический умысел, как это бывало в прошлом, так и есть ныне». Царь более чем допускает, что Курбский либо не виноват, либо виноват не так сильно, но считает, что ради более высоких целей он должен был бы смириться с несправедливостью и отдать жизнь за царя. Иван Грозный объясняет, что, во-первых, вся власть от Бога, во-вторых, своим поведением Курбский предал души своих праведно служивших предков, в-третьих, так как царь – самодержец земли русской, то ему позволено совершать ошибки, похожие на произвол. Несмотря на то что в этой переписке много переходов на взаимные житейские претензии, в ней видна квинтэссенция противостояния гуманистического и государственного. Это благодаря тому, что, несмотря на проступающую деменцию у царя, очевидны «за», «против», «зачем» обеих сторон.

Во времена же, которые описывает Солженицын, никакого простого рассмотрения конфликта личного и общественного быть не может. В тот момент у этого вопроса так много подводных течений, что АГ – не про это. Да Александр Исаевич это прекрасно понимает! А вот его интерпретаторы – нет.

Вообще и автор, и его герой очень пытливы в поиске того, что привело к сталинским репрессиям. Одно из предположений, что за всем стоит идеология.

Идеология! – это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки, и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почет. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели возвеличением родины, колонизаторы – цивилизацией, нацисты – расой, яковинцы (ранние и поздние) – равенством, братством, счастьем будущих поколений.

Благодаря Идеологии досталось XX веку испытать злодейство миллионное.

Но обвинения в адрес идеологии, несмотря на колоссальный объем произведения, выглядят крайне поверхностными. Автор не поясняет, когда в обществе есть идеология, а когда нет. Например, была ли идеология в США на протяжении всей их истории? А у Российской империи? Солженицын не пытается проанализировать случаи, когда огромные человеческие жертвы никак не были связаны с идеологией. Разве идеологические мотивы были предопределяющими для Первой мировой войны? А при освоении Нового Света? Проблема не в том, что автор ошибается, а в том, что его мысли крайне сумбурны. Очень сложно взять его соображения и применить к конкретным примерам. Гражданская война в США – это идеология или что-то другое? Пытаясь мыслить, как автор АГ, начинаешь запинаться.

Впрочем, нет. О том, что важной причиной перегибов сталинской пенитенциарной системы является идеология, говорит не просто вездесущий автор, а как раз автор-герой. Необходимо надеть нашу шапочку-смекалочку и вновь вспомнить, через что прошел Солженицын. Он ищет, что привело к этому и кто виноват. И одним из виновных он называет себя. Хотя вроде бы: «А если что не так – не наше дело: как говорится, Родина велела! Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом».

На протяжении всего произведения автор пытается проанализировать: что бы он мог сделать иначе? И с глобальной точки зрения: чтобы препятствовать развитию всего того ужаса? И с личной морально-этической: чтобы не быть гадом в конкретной ситуации. И он не хочет

находить оправдания тому, что ведем себя такие, как он, на определенной этапе иначе (смелее ли, дружнее ли, умнее ли), многое можно было бы изменить или, во всяком случае, остановить. И на бытовом уровне, в отдельных эпизодах, в которых герой повел себя неблагоприятно, совесть его грызет.

И что ж? Пахан согласен. Ведь я этим и отдаю сало; и признаю его высшую власть; и обнаруживаю сходство воззрений с ним – он бы тоже согнал слабейших. Он велит двум серым нейтралам уйти с нижних нар у окна, дать место нам. Они покорно уходят. Мы ложимся на лучшие места. Мы еще некоторое время переживаем свои потери (на мою галифе блатные не зарятся, это не их форма, но один из воров уже шупает шерстяные брюки на Валентине, ему нравятся). И лишь к вечеру доходит до нас укоряющий шёпот соседей: как могли мы просить защиты у блатарей, а двух *своих* загнать вместо себя под нары? И только тут прокалывает меня сознание моей подлости, и заливает краска (и ещё много лет буду краснеть, вспоминая). Серые арестанты на нижних нарах – это же братья мои, 58-1-б, это пленники. Давно ли я клялся, что на себя принимаю их судьбу? И вот уже сталкиваю под нары? Правда, и они не заступились за нас против блатарей – но почему им надо биться за наше сало, если мы сами не бьёмся? Достаточно жестоких боёв ещё в плену разуверили их в благородстве. Всё же они мне зла не сделали, а я им сделал. Вот так ударяемся, ударяемся боками и хрюкалками, чтобы хоть с годами стать людьми... Чтобы стать людьми...

Развитие поиска причин трагедии пронизывает эту книгу не просто как лейтмотив, а как самый настоящий элемент фабулы. Отдельные ветви этого поиска расходятся, сходятся, исчезают. Этот лабиринт дает понять: перед нами художественное произведение. Важно, что активный, не собирающийся сдаваться, главный персонаж не является обязательной чертой художественности, но для произведений, описывающих лагерную жизнь, столь характерны уныние и безжизненность, что такой герой становится лучом света в темном царстве и порождает огонь веры, надежды и... чего-то неправдоподобного. Конечно, все эти сотни свидетельств очевидцев, на которых построен АГ, являются основой, но вся конструкция произведения заставляет нас отнести его к художественно-документальной прозе. Более того, сравнивая АГ по формальным признакам с книгой «У войны не женское лицо» Алексиевич нельзя не отметить, что различных композиционных средств, свойственных фикшн-литературе, у Александра Исаевича больше.

«Стыдно писать о том, чего не было» (приписывается Толстому). И вроде то, о чем пишет Солженицын, реально было, однако художественная степень обработки столь значительна, что многие его единомышленники сразу или со временем, стали обвинять писателя в какой-то недостаточной правдивости. Конечно, Алексиевич писала/пишет о другом, но тем не менее ее более сдержанный стиль добавляет эффекта действительности. А ее учитель Алесь Адамович, даже в произведениях, по многим формальным признакам являющихся художественными, оставляет своих читателей седыми после прочтения его книг.

Варлам Шаламов считал, что Солженицын сидел не в тех лагерях, каких-то ненастоящих, отсюда недостаточный градус уныния и безнадёги в АГ. Фазиль Искандер говорил: «Кто не ломался, тех плохо ломали». Но оптимизм и вера в человека не позволяет Александру Исаевичу верить в это. Он пытается переубедить Шаламова, обращаясь к его опыту.

Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка – так личность.

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растреления? Раз правда и ложь – родные сёстры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой-то камень вы упились – и дальше не поползли? Может, злоба всё-таки – не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию?

Сложно было многим коллегам Солженицына не завидовать его борцовским качествам. Людям часто сложно понять, как при одних и тех же затратах кому-то удастся сделать что-то лучше, чем им. Вот и Солженицына многие не понимали. Может, здесь что-то природное. Может, особенным способом прошла закалка. Может, настройки души таким причудливым образом выстроились. «Человек все в состоянии понять – и как трепещет эфир, и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии», — говорил Базаров. А здесь речь – не о сморкании. Читая Шаламова и Адамовича, теряешь веру в человечество. А у Солженицына, наоборот, очень много мест, где люди предстают как создания, достойные своего Творца.

И это причудливое человеколюбие подкупало и подкупает читателей АГ. Удивительно: Солженицын не обеляет «своих» заключенных, часто он предъясвляет случаи безволия, трусости, отчаяния и прочих неблагоприятных черт. Но и после этого они остаются людьми. Эта манера Солженицына не могла не привести к тому, что он во многом монополизировал эту тему, что казалось многим другим авторам нечестным. Эстер Вергер – выдающаяся теннисистка-колясочница – тотально доминировала в своем виде спорта на протяжении десяти лет, выиграв 470 матчей подряд. Мне это всегда казалось страшно неправильным, потому что в мире инвалидов, где счастья значительно меньше, чем у здоровых людей, победы и, следовательно, радость от них, должны распределяться равнее. А тут – такая несправедливость. Вот и в случае с Солженицыным другие свидетели-хроникеры сталинских репрессий считали нечестным, что все внимание достается ему одному.

В результате Александру Исаевичу стали припоминать и откровенно незаслуженную Нобелевскую премию (он и не спорил), и жестокую манеру работы со своими «информаторами», и порой ядовитую манеру поведения. И дошло все до того, что Солженицына стали называть едва ли не «трупожором», наживающимся на горе по-настоящему пострадавших людей.

Но это несправедливо. Просто Солженицын – борец, который порой нарушает неписанные правила игры и не стесняется использовать предельно жесткие приёмы. Когда на определенном этапе развития общество нашло удобную конструкцию, сделав козлами отпущения считанное число вышестоящих, Александр Исаевич не мог с этим мириться. По всей видимости, с иронией он говорит: «Но признаем уже и тут: если у Сталина это всё не само получилось, а он это для нас разработал по пунктам, – он-таки был гений!» Солженицын считал, что необходимо наказывать, если не всех, то значительно большее число провинившихся в появлении и обслуживании людоедской репрессивной политики.

И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено **восемьдесят шесть тысяч** преступных нацистов — и мы захлёбываемся, мы страниц газетных и радиочасов на это не жалеем, мы и после работы останемся на митинг и проголосуем: мало! И 86 тысяч — мало! и 20 лет судов — мало! продолжить!

А у нас осудили (по опубликованным данным) — около тридцати человек.

То, что за Одером, за Рейном — это нас печёт. А то, что в Подмоскovie и под Сочами за зелёными заборами, а то, что убийцы наших мужей и отцов ездят по нашим улицам и мы им дорогу уступаем — это нас не печёт, не трогает, это — «старое ворошить».

А между тем, если 86 тысяч западно-германских перевести на нас по пропорции, это было бы для нашей страны **четверть миллиона!**

Но и за четверть столетия мы никого их не нашли, мы никого их не вызвали в суд, мы боимся разбередить *их* раны. И как символ их всех живёт на улице Грановского 3 самодовольный, тупой, до сих пор ни в чём не убевдвшийся Молотов, весь пропитанный нашей кровью, и благородно переходит тротуар сесть в длинный широкий автомобиль.

Загадка, которую не нам, современникам, разгадать: *для чего* Германии дано наказать своих злодеев, а России — не дано? Что ж за гибельный будет путь у нас, если не дано нам очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле? Чему же сможет Россия научить мир?

В немецких судебных процессах то там, то сям, бывает дивное явление: подсудимый берётся за голову, отказывается от защиты и ни о чём не просит больше суд. Он говорит, что череда его преступлений, вызванная и проведенная перед ним вновь, наполняет его отвращением и он не хочет больше жить.

Вот высшее достижение суда: когда порок настолько осуждён, что от него отшатывается и преступник.

Страна, которая восемьдесят шесть тысяч раз с помоста судьи осудила порок (и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодёжи) — год за годом, ступенька за ступенькой очищается от него.

А что делать нам?.. Когда-нибудь наши потомки назовут несколько наших поколений — поколениями слюняев: сперва мы покорно позволяли избивать нас миллионами, потом мы заботливо холили убийц в их благополучной старости.

Впрочем, Солженицын понимает сложность задачи о том, где провести черту: кого осудить, а кого — нет. Здесь у него нет противоречия, и понимая, что заявленным огромным цифрам пострадавших должно соответствовать сопоставимое число тем или иным образом находившихся на противоположной стороне, писатель осознает, что социальная амнистия необходима, дабы это не вылилось в очередной виток ненависти в обществе. В конце концов, для многих «Или нары, или Канары» и «Живым я не им, а вам буду полезнее». Порой, покачивая головой, надо перевернуть страницу.

Порой, но не всегда. И не рискует ли общество, стараясь не беречь раны, превратить самих себя в общество манкуртов и тем самым утратить собственную идентичность. Солженицын считает, что есть шанс на то, чтобы из этого ужасного опыта, наоборот, выйти просветленными и сильными. Одной из сквозных идей творчества Федора Михайловича Достоевского, Солженицына XIX века, является то, что стать лучше можно, лишь опустившись на самое дно. Александр Исаевич не призывал нас опуститься на дно, но он считает, что коли мы достигли дна, надо посильнее от него оттолкнуться, и к звездам.

Но общество решило по-своему, не послушало писателя. У «всех» были родственники, кто сидел, но и у «всех» были родственники, кто

сторожил. Лагерная тема за долгие годы обросла обоюдно острыми и обоюдно нелепыми мифами, а образ живого и противоречивого Солженицына трактуется по-разному в соответствии с духом момента. Персонаж фильма «Мама, не горюй!», браток из 90-х рассказывает о текучке своей деятельности: «Папа у них был такой норильский, так его строго в 24 часа депортировали, как писателя Солженицына, чтобы не обустроивал здесь все по-своему». Знаки былых времен остаются с нами, сильно искажаясь.

Забавно, но разбирая тему про «сучью войну», о которой немало написано и в АГ, автор статьи набрел на статью о Тольяттинской криминальной войне – крупнейшей в новейшей истории России криминальной войне. Девяностые годы – тоже неприглядная страница нашей истории, и большинство из нас вынуждено было приспособливаться к такой жизни. Со временем и общество – в целом, и отдельные люди – в частности, стали искать благовидные оправдания произошедшему, добавляя, что почти все главные действующие лица куда-то «улетели»: не то на Марс, не то на тот свет. Ты курил? – Нет. – А чего от тебя куревом несет? – Я рядом стоял, надышали.

Время лечит тем, что мы забываем и искажаем былое. Кроме того, дети нам в этом помогают. Современная, 1998 года рождения, певица Монеточка в своей песни «90» рассказывает о том, как ее лирической героине видится эпоха 90-х, воспринятая «из песен Кровосток» и из «рассказов деда и бати». Доведенные до абсурда, но отчасти правильные:

В девяностые убивали людей,
И все бегали абсолютно голые.
Электричества не было нигде,
Только драки за джинсы с кока-колою

перемежаются с явными искажениями символов времени:

Пиджаки земляничные нагладили

(в реальности – «малиновые» или просто «красные»). Да, может быть, и это пройдет. Но это «то, без чего нас невозможно представить, еще труднее – понять». В фильме «День радио» (время действия – вторая половина нулевых) заместитель начальника Генштаба попросил поставить в эфир блатную песню, которая являлась для станции абсолютным неформатом. Программный директор не смог отказать, хоть и опасался, что от хозяина радио впоследствии прилетит. Но все обернулось тем, что владельцу очень понравилось: «Вот теперь я понимаю, что вы имели в виду под словами “качественная отечественная музыка”. Думаю, что мы с вами на правильном пути».

Конечно, девяностые близки годам сталинских репрессий преимущественно серьезными социальными потрясениями и большими человеческими жертвами. Но еще они близки и тем, что испытывали общество и многих его представителей на духовную и душевную стойкость. И социум, осознавая, что прошел эту проверку не вполне достойно, ищет способы себя обелить: перед самим собой, перед будущими поколениями, перед Богом. У общества значительно меньше возможностей на искупление, чем у отдельного человека, а посему более надежными инструментами становятся ложь, забвение и молчание.

Солженицын не хотел молчать, но подспудно понимал, что общество не сможет посмотреть на себя в зеркало, пока время не зарубцует раны на лице. Но одновременно писатель считал, что социум может и должен быть сильнее. Как и человек.

Несмотря на страшный климат, описанный в книге, она полна иррационального оптимизма в том, что человек способен не гнуться даже в самых ужасающих условиях. Произведение, от которого ждешь беспросветного удушливого уныния, полно несломленных героев, готовых не сдаваться даже будучи на краю пропасти. Удивительна сцена про борьбу воздушных змеев.

После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном ветре неплохо летели, показывая поселку крупные надписи:

- Спасите женщин и стариков от избиения!
- Мы требуем приезда члена Президиума ЦК!

Охрана стала расстреливать эти шары.

Тут пришли в Техотдел эки-чеченцы и предложили делать змеев (они на змеев мастера). Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над поселком. На корпусе змея было ударное приспособление. Когда змей занимал удобную позицию, оно рассыпало привязанную тут же пачку листовок. Запускающие сидели на крыше барака и смотрели, что будет дальше. Если листовки падали близко от лагеря, то собирать их бежали пешие надзиратели, если далеко, то мчались мотоциклисты и конники. Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду. (Листовки кончались просьбою к каждому нашедшему кенгурцу – доставить её в ЦК.)

По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашел скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запустить контрзмеев, ловить и перепутывать.

Война воздушных змеев во второй половине XX века! – и всё против слова правды...

Иногда Александр Исаевич раздражает своим нежеланием понять сломившихся. Что ж, он строг к остальным так же, как строг к себе. Однако именно благодаря этой жесткости Солженицын превращает атмосферу ужасного и депрессивного мира Архипелага ГУЛАГа в удивительно мотивирующее и вдохновляющее полотно. Человек остается человеком.

Андрей РУДАЛЁВ

Родился в 1975 году в городе Северодвинске Архангельской области.

Окончил филологический факультет Поморского государственного университета, два года работал там же на кафедре литературы. После был охранником в ночном клубе, замредактора в рекламной газете, корреспондентом «Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска.

Участник форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006). С критическими заметками выступает во множестве периодических изданий.

Живет в Северодвинске.

ПРОПОВЕДЬ О НАСТОЯЩЕМ МУЖИКЕ

У Василия Шукшина есть необычайно актуальный рассказ «Чужие». Добрая половина его занимает выписка из книги о великом князе Алексее Александровиче Романове, который являлся дядей Николая Второго.

Эта выписка о представителе царской фамилии создает такой эффект дежавю, что хочется также ее полностью привести, но ограничусь кратким пересказом. С детства этот деятель был разгильдяем и повесой, но его продвигал царствующий отец Александр II по флотской линии вплоть до звания генерал-адмирала, курирующего весь русский флот. На этой должности Алексей, ничего не смысливший в морском деле, развернулся не на шутку и стал грабить казну вместе с многочисленными друзьями и любовницами.

Контролировал все подряды по морскому ведомству, от которых со своими нахлебниками отщипывал не меньше половины. Из-за диких запросов мздоимцев перед Русско-японской войной не состоялась покупка чилийских броненосцев, которые выкупила Япония. Принимал он посетителей только после того, как тот или иной предприниматель заплатит крупную взятку его любовнице Балетте. В итоге довел флот до такого состояния, что «офицеры не умели командовать. Суда не имели морских карт. Пушки не стреляли. То и дело топили своих, либо нарывались на собственные мины». Позорная для русских Цусима поставила крест на карьере дяди Николая Второго: «Несколько часов японской пальбы достаточно было, чтобы от двадцатилетней воровской работы Алексея с компанией остались только щепки на волнах».

Его любовница Балетта с многомиллионным приданым уехала за границу, вскоре, после отставки, к ней в Париж отправился и Алексей Александрович, где неумоимо сорил деньгами, правда, непродолжительное время. В 1908 году он скончался «от случайной простуды».

Сейчас к представителям царской фамилии принято относиться с особым благоговением, над всеми ними нимбы старательно возводят, поэтому вдобавок приведем высказывание об Алексее Александровиче его двоюродного брата Александра Михайловича: «Светский человек с головы до ног, “le Beau Brummell”, которого баловали женщины, Алексей Александрович много путешествовал. Одна мысль о возможности провести год вдали от Парижа заставила бы его подать в отставку. Но он состоял на государственной службе и занимал должность не менее не менее как адмирала Российского императорского флота. Трудно было себе представить более скромные познания, которые были по морским делам у этого адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице. <...> Это беззаботное существование было омрачено, однако, трагедией: несмотря на все признаки приближающейся войны с Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества и, проснувшись в одно прекрасное утро, узнал, что наш флот потерпел позорное поражение в битве с современными дредноутами Микадо. После этого великий князь подал в отставку и вскоре скончался».

Подобная поведенческая модель очень распространена в России, особенно, когда формируются закрытые касты, когда власть становится вещью в себе. Это определенный вестник лихолетья: кто-то кутит, обкрадывает и прожигает, а корабли уже в щепки или страна по швам. Шукшин называет этих людей «чужими». Подобных «чужаков» чрезвычайно много и сейчас, когда сформировалась и окончательно цементируется новая «элита», когда производится гигантское разделение общества на тех, кто спину гнет или жизни свои отдает, и тех, кто в парижках кутит или обирает Россию до нитки, чтобы в этих самых парижках оказаться. Условные парижки сейчас необычайно притягательны.

Но есть и родня, свои. Шукшин приводит в пример деревенского пастуха, дядю Емельяна, который в молодости прошел Русско-японскую, сопоставляет этих «детей одного народа»: «бездарного генерал-адмирала» и бывшего матроса. Вывод прост: и на том свете им не о чем поговорить, они чужды друг другу на «веки вечные».

Эта линия разделенности на «чужих» и «своих» проходит через все шукшинское творчество. «Чужими» могут быть и люди чинов многим пониже и пожиже великого князя.

Таковы уркаганы из шукшинской «Калины красной» – типичные прогрессивнейшие представители нашего общества. По крайней мере, они сами себя за таковых считают. Они также их разряда «чужих», из-за них гибнет свои, родня.

В этих персонажах много всего намешано, и нельзя сводить их лишь к обыкновенным представителям криминалитета. В их «малине» нон-стопом программа «Голубого огонька» в живом исполнении. «Барыня» и прочее. Своеобразный «квартирник», сильно смахивающий на то, чем ныне потчует лоботомирующее мозг телевидение.

Губошлеп, Люсьен, Бульдя – своеобразный андеграунд, представители творческой интеллигенции, которых «преступный режим» загнал

на криминальную ниву. У Шукшина эти «творческие деятели» и криминалитет часто идут бок о бок.

Можно вспомнить «энергичных людей» из одноименной повести. В них также смесь самодеяльности-креативности с криминалом. Их символ жизни и веры состоит в том, что «определенная прослойка людей и должна жить... с выдумкой, более развязно, я бы сказал, не испытывать ни в чем затруднений». Через годы эта логика стала структурообразующей в обществе: «нация... должна иметь своих представителей... людей с повышенной энергией, надо же возбуждать фантазию всех органов государства, иначе будет застой». Кто только не произносил подобные слова в последние десятилетия. Каждый представитель креативного класса считал своим долгом о чем-то подобном поведать, вывести свою апологию «энергичных людей».

Губошлеп из «Калины красной» – пустобрех. Отличное определение либерального дискурса – губошлепство. Так вполне можно называть фанатика-либерала. «Если ему некого будет кусать, он, как змея, будет кусать свой хвост», – пишет Шукшин про Губошлепа. Это он делает смертельный выстрел в главного героя – Егора Прокудина. Такое прозвище появлялось и в романе «Я пришел дать вам волю». Сам атаман там говорил: «Губошлепа никто не любит, даже самая худая баба. Но смерть губошлепа любит»...

Принцип всей этой публики «чужих»: мужиков в России много.

К мужикам они относятся высокомерно, пренебрежительно-брезгливо, за людей их не считают (разве воспринимал за человека великий князь матроса Емельяна?). Так продолжается, пока не взбрыкнет и не уйдет от них Егор. А потом Петр не скинет их всех в реку бежевой «Волгой» – философским пароходом...

Шукшинские «чужие» проповедуют сословное разделение общества. Прокудин для них мужик – представитель низшего сословия. Дикарь, абориген, которого и человеком в полной мере назвать нельзя. Мужик... чего вы хотите?..

В девяностые эта публика стала приватизаторами, после претендует на статус властителей дум и законодателей жизненной моды. Личин всяческих много. В девяностые они уничтожали таких мужиков как класс, зачищали от них новую страну. Говорили, что те ни что не годны и не приспособлены для нового. Твердили, что именно это самое мужичье – разносчик красной заразы, а пока есть она, не будет нам счастья.

Егор-«Горе» – он совершенно другой, иной породы. Его семь судимостей – лишь новый извод вечной притчи о блудном сыне. Своеобразное сошествие во ад, через которое закаляется человеческая сталь. Он, как и шукшинский Степан Разин, – «человек, разносимый страстями». Он и «безумствует, съдаемый тоской и болью души», но в тоже время «в глубине этой души есть жалость к людям».

Егор – мужик. Крестьянин. Освобождаясь из мест заключения, говорит, что собирается заниматься сельским хозяйством. Ощущает сопричастность с землей (так же и бывший матрос Емельян, побродив по свету, осел в деревне). Даже когда шел на смерть, то увязал в ней сапогами. Отношение его к смерти тоже во многом разинское. Так, в романе Степан Разин говорит Фролу: «чем же уж тебе жизнь так мила, что ты ее, как невесту дорогую, бережешь и жалеешь? Поганая ведь такая жизнь! чего ее беречь, суку, если она то и дело раньше смерти

от страха обмирает? ...Не было тебя... И не будет. А родился – и давай трястись: как бы не сгинуть! Тьфу!.. Ну – сгинешь, чего тут изменится-то?» Нет в этом ни фатализма, ни отчаяния – скорее торжество жизни, настоящее понимание ее.

Прокудинское крестьянство – это не указание на род деятельности, а на связь с почвой. То, что прогрессивной интеллигенции не понять и никакими терминами ей это не объяснить, потому как тут речь о врожденном инстинкте. Он либо есть, либо его нет. Либо со временем откровение об этой почве снисходит, но это еще надо заслужить, уметь чувствовать.

Прокудин – классический странник-правдоискатель, сделавший круг по миру и вернувшийся именно туда, откуда начал свой путь. Этот мужик дорожащий коньяк «Реми Мартин» из ковшика в холодной бане пить будет (и так точнее, чем в тексте, где Петр достает из кармана два стакана), потому как у него совершенно другая система ценностей, где главное живое, настоящее, те же березки. Немногим ранее из этого же ковша он Петра кипятком полил, а теперь практически причастие совершают.

«Шаркнем по душе!» – сказал Егор перед встречей с городскими представителями креативного класса. Но они ничего кроме раблезианского карнавала не смогли дать. Тоже «чужие». Они душу иссушают. Старые и некрасивые. Красоты в этой публике нет, жизни.

Мечите реже!.. Желудок и червонцы – их смысл. Егор же деньги презирает. Они строятся для разврата, он им о любви. Под халатом, в котором герой, как Калигула, болящее сердце. Это его горе, его путь.

Нет у мужика и раболепства перед властью. Отказался заниматься извозом начальства. Пересел на трактор. Ближе к настоящему, к земле, березкам, отчему дому. Рядом с ним – его верная Мария Магдалина и ставший другом-апостолом Петр.

Жоржик – это его формула самоуничтожения. Георгий – победитель змея. Победоносец и в то же время землепашец.

Егор – не понял ни прогрессивными членами общества, ни властью. Все как обычно...

Он не мог не уйти. Но душу, что важно, спас. За ним пошел Петр. Что впереди у него? Жизнь по этапу или проповедь о настоящем мужике?..

«И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома... Лежал, прикинувшись щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Так он в детстве прижимался к столбам» – это уже финал.

Смысл всех прокудинских поступков, описанных Шукшиным в возвращении, в том, чтобы вновь стать родней. Движитель Егора – его страстное желание вернуться. Как в Евангелии от Матфея: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вся «Калина красная» – это возвращение героя к своему детству, когда он прижимался к столбам. К детской чистоте, к детским ощущениям и восприятию мира. Так он обретал настоящую волю. И, конечно, в чем-то это последование Христу. Свидетельство о христоподобности простого мужика, жизни которого через горнило всевозможных перипетий прошла.

Но не понимают у нас мужика и не пытаются. Проще развратить, убить его. А в нем вся Россия. Без него она ничто, пустое место.

В девяностые страну практически и превратили в пустыню, потому как зачищали ее от мужика. Изводили его, всеми силами старались

не пустить в новую страну. Очень в этом деле поднаторел триумвират власти, криминалитета и либеральной интеллигенции. Впрочем, все как у Шукшина. Все как с Егором Прокудиным.

Он, как звезда рок-н-ролла, должен умереть. Умирает он вновь и вновь, но всякий раз возвращается. Из почвы выходит, потому как свой, потому как нужен.

«Иваны еще сгодятся», – говорит у Шукшина герой киноповести «Брат мой».

Можно вспомнить историю, рассказанную в «Любавиных». В этом романе вообще много переключек с «Калиной красной». Оставшийся сиротой еще в младенчестве Иван Любавин помытарствовал по жизни, даже сидел за драку, но вернулся на малую родину, устроился работать шофером, отстроил дом, где жил с братом. У Ивана много общих черт с Егором Прокудиным, но они, конечно же, не близнецы и не дублируют друг друга.

Есть в «Любавиных» и стычка с представителями мира, представляющего коктейль из полукриминальных элементов, подпольного бизнеса и прогрессивной интеллигенции. Один из героев второй части романа Петр Иевлев переехал за своей возлюбленной Марией в город, где она была тесно связана с подобной публикой. Они постоянно гостевали в квартире, которую сняла пара. Вот как описывает их Шукшин: «Какие-то непонятные молодые люди с обсосанными лицами, с жиденьким, нахальным блеском в глазах, какие-то девицы в тесных юбках...» Все эти люди занимались перепродажей и приворовыванием. Денег у них было много, употребляли они дорогой коньяк (возможно, именно тот, что пил Прокудин из ковша в бане), хорошо и в соответствии со всеми модными писками одевались, «пели заграничные песни, обсуждали заграничные фильмы».

Этакое полчище мелких бесов, к которым Иевлев сразу почувствовал отторжение: «Глубоко русская душа Иевлева горько возмутилась. Между ним и этими парнями завязалась нешуточная война».

Скажем пару слов о самом Иевлеве: он был кадровым военным, состоял в партии, впереди рисовались прекрасные карьерные перспективы. В старших классах школы он узнал, что у него совершенно другая фамилия, что родители его репрессированы и были честными людьми (у Василия Макаровича самого отец сгинул в горниле репрессий). А уже многим позже получил от тетки отцовское письмо. С этого открывшегося знания началась у него другая жизнь: ушел со службы, лишился членства в партии, устроился на завод учеником слесаря. Все это в 25 лет. Вполне логично было бы возненавидеть страну, советскую власть, убившую родителей и сломавшую ему карьеру и жизнь. Но всего этого не произошло, хотя и, казалось бы, что все основания для личной ненависти наличествуют. Прямая дорожка в стан к мелким бесам... Для многих и совсем незначительного повода достаточно: наступили на ногу и проклял всю страну, сейчас это воспринимается вполне себе оправданным. Например, в романе Алексея Варламова «Душа моя Павел» героями обсуждаются подобные поводы и аргументы для личного антисоветизма. Не зря ведь Варламов написал ЖЗЛ Шукшина.

Окончательный разрыв с «энергичной» публикой произошел у Петра на собственной свадьбе, где была устроена настоящая вакханалия с последующим разрывом с Марией.

«Заразы вы! <...> Поганки вы на земле, вот кто!» – пытался было обличать Иевлев, но быстро понял, что все впустую, как метание бисера. Вместо этого, он попросту объявил войну: «Я вас каленым железом выжгу из города». Выжег, разворошил гнездо даже несмотря на угрозы. Хотя все это противостояние у него вполне могло закончиться, как и у Егора Прокудина.

Выговаривает он и Марии, спорит с ней, формулируя свой символ веры: «Я люблю свою родину! Я не продам ее по мелочи, как вы... Не размениваю! И народ мой – это могучий народ, а я сын его!..» Опять же, для современного сознания подобные тирады будут непонятны и списаны на идеологизированность. Между тем чувство родства, связанности с народом – это даже больше, чем личное, чем родственные узы.

Любопытен в романе образ Марии Родионовой. Красивая молодая женщина, трижды была замужем. Всю жизнь в каком-то напряженном поиске чего-то гениального, чего-то нескучного. Ее отец – истовый коммунист, апостол новой жизни, с его приходом в деревне началась советская власть. Мария с ним имеет мало общего, взгляд на жизнь диаметрально противоположный. Но и про мелких бесов, хоть и сблизилась с ними, все знает. Сама называет их «слякотью». В финале отец умирает от сердечного приступа, когда узнал, что дочь увела из семьи мужчину. Притча о финале страны? Когда мелкие бесы обретут небывалую силу, а основная масса людей, как Мария, пойдут за ними, хоть за слякотью, лишь бы не скучно было жить... Сама же Мария все больше связывается со слякотью. С мужиком ей скучно. С Иевлевым она то расходится, а сойдясь вновь изменяет. Ивана Любавина отвергла, но в финале он спасает ее от безрассудного бегства и забирает к себе в дом. Добавим, что в творчестве Шукшина постоянно прослеживается, мягко говоря, скептическое отношение к женщине.

В повести «Там, вдали» аналогичный сюжет. Только не Мария, а Ольга, и она Иевлеву проговаривает: «Ты – рабочий, гордись этим. А они – хлюпики, стилиаги». Эти хлюпики также были модно одеты, обсуждали фильмы, слушали музыку, «и тогда в квартире визжало, мяукало, стонало, выло». Между ними и Иевлевым развязалась война, красная линия была пройдена, когда они попросили его спеть Есенина...

Так и проходит у Шукшина основное разделение на «слякотью», которая является синонимичным чужим, и мужика или «простецкого мужика». Кстати, определение «слякотью» использует уже наш современник Роман Сенчин в своей песне (да, он еще и поет в группе «Плохая примета») «Если ты не слякотью» с припевом: «Если ты не слякотью – защищайся, / Если ты не слякотью – нападай!»

Кстати, только на первый взгляд может показаться, что «хлюпики, стилиаги» – представители тогдашнего креативного класса, сплошь и рядом творческая интеллигенция, к которой в силу своей темноты негативно относятся простой мужик. Шукшин несколько иначе воспринимает принадлежность к культуре, нежели самопрезентацию и гонку за модными тенденциями и прочим. Так, в восприятии Иевлева, быть культурным человеком означает разбираться в том, что хорошо, а что плохо. Культурный человек – придерживающийся системы ценностей. Вот что он отвечал Марии на вопрос, считает ли он себя культурным: «Во всяком случае, разберусь, где черное, а где белое,

где настоящее, а где суррогат, наигрыш, кривляние...» То есть затрагивается еще и сфера условно искусствоведческая, так как говорится о способности отделять настоящее от «кривляния», от атмосферы «малины» из «Калины красной».

В чем сила? В том самом мужике и детях, которые наследуют его: «До чего же простецкий мужик! Пустили же такого в свет белый – умного русского хорошего человека. А теперь он пустит – пятерых сразу, если не больше, тоже таких же неглупых, добрых... Сильная матушка Русь. Неистребима» – так думал Иван Любавин о своем дядьке Николае Попове. Вот она противоположность мелким бесам – человеческой «слякоти».

И что там нам вдалбливают об убывании генетического кода нации?.. В равной мере, на примере тех же Любавиных, можно говорить и о его исправлении. Так вот, Ивану Любавину, который в младенчестве потерял родителей, по возвращению на малую родину, говорят: «ведь вы совсем другие стали... Совсем непохожие!» Непохожие – в лучшем смысле, произошло исправление породы.

А мужицкая порода такова, что рядом с ней невозможна суета и мельтешение, только посидеть рядом да помолчать: «Лобастый долго, терпеливо, осторожно мнет в толстых пальцах каменную “памирину”, смотрит на нее... И я вдруг ужасаюсь его нечеловеческому терпению, выносливости. И понимаю, что это – не им одним нажито, такими были его отец, дед... Это – вековое.

Лобастый по привычке едва заметным движением тронул куртку, убедился, что спички в кармане, встал, пошел в курилку. Я – за ним. Посидеть с ним, помолчать» («Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту»).

Этот отрывок очень важен у Шукшина и замечание «не им одним нажито» – необычайно верное. Правда, как-то это перевернулось в последнее время, превалирует философия сорняка: я пришел и никому и ничего... А тут речь о породе, исполинском древе, уходящим в глубь веков.

Пошляки все твердят об убывании генетического кода, о зачистке от лучших, на место которых пришел «красный человек». Глупости все это. Вопрос в том, что нажито и есть ли вековое, которое смотрит на тебя глазами современника. А если смотрит, то только помолчать и остается...

Когда я написал об этом в соцсети, писатель из Владивостока Василий Авченко подбросил другую цитату Василия Макаровича: «Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание – не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком». Ее подхватил Захар Прилепин и сделал в своем «Фейсбуке» отдельный пост, добавив свой комментарий: «Можно, к примеру, эту цитату повесить над входом в десяток глянцевого журналов, просвещённых радиостанций, продвинутых интернет-ресурсов и так далее, и тому подобное.

Чтоб человек шёл на работу и наполнялся священной злобой. А на выходе пусть ему понюх табаку выдают. За проделанную работу».

У того же Захара Прилепина, при всем различии, на самом деле очень много общего с Василием Макаровичем, он также проводит разделение человеческой породы. Да не по собственному хотению, а так обстоятельства, реалии вынуждают, и это противопоставление остается только фиксировать.

«Мы обладаем общим культурным кодом. Во всём остальном мы противоположны», – писал Захар Прилепин в совершенно шукшинском духе в статье «Две расы». Она была опубликована в 2014 году, уже после Крыма и начала противостояния на Донбассе. Именно тогда это противопоставление «свои – чужие» очень четко обозначилось. Вот поэтому можно с полным основанием говорить, что если бы Егор Прокудин жил в наши дни, то он бы точно был на Донбассе со своей родней.

«У нас, да, общие песни – но разная страна.

Одни и те же любимые писатели – но иначе настроенные рецепторы.

Наш символ веры состоит из слов, отрицающих их символ веры», – это все тот же Прилепин, который про «две расы – иной крови. Разного состава». Про это вечное противопоставление, где с одной стороны великий князь с сонмом алчущей свиты, а с другой – деревенский пастух, дядя Емельян. И поговорить им между собой не о чем.

Захар ПРИЛЕПИН:

ЛЕРМОНТОВ – ЭТО ЯВСТВЕННЫЙ КАМЕРТОН...

Захар Прилепин родился в 1975 году в деревне Ильинке Рязанской области. Окончил Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, филологический факультет. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне, работал журналистом. Занимал пост советника главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, служил заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.

Автор романов «Патологии», «Санька», «Грех», «Чёрная обезьяна», «Обитель», сборников прозы и публицистики. Лауреат многочисленных премий, в том числе премии «Ясная Поляна», «Супернабест», «Книга года» и «Большая книга», премии правительства России в области культуры.

Секретарь Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

Поэт и есениновед из Пензы Валерий СУХОВ взял у Захара Прилепина интервью, в котором известный писатель и филолог размышляет о Есенине и Лермонтове.

– Захар, по своему опыту знаю, что поэта начинаешь любить с какой-то одной его запомнившейся строчки или впервые прочитанного стихотворения. С чего и когда началось ваше приобщение к есенинской поэзии?

– Мне было девять лет – моя семья переехала из деревни Ильинки Рязанской области, где я родился и подрастал, в Дзержинск – крупнейший заводской город Союза. Смена климата (во всех смыслах) была настолько, видимо, тревожной для детского рассудка, что, дабы восстановить баланс, я начал читать ненормально много стихов. Началось всё, естественно, с Есенина, потому что земляк, потому что мы уже были с отцом в Константинове, потому что его портрет висел в деревенском доме на стене и отец пел множество песен на его стихи под семиструнную гитару. Даже не пел – а играл, прочитывая речитативом первую строку, потом пятую, седьмую, одну из строк могла произнести мать или зашедший в гости товарищ – всё это воспринималось как стихотворение Есенина, в этом было некое волшебство.

Помню, естественно, с самого детства прекрасное, и сладостное, и горестное удивление от стихов «Песнь о собаке», «Лисица», «Корова». Старики мои рязанские и липецкие тоже держали скотину, дед по матери был охотник, собаки были у него всегда, щенков он топил в пруду – это все были мои личные реалии. Стихи Есенина были про мою корову и про мою собаку. Лисьих шкур у деда всегда висело на стенах множество – он бил и этого зверя. Да и вообще всё, что происходило у Есенина, было моим: долины его, лошадки, сенокосы, табуны – я среди этого рос...

Хотя сейчас понял, что заскочил вперёд, и вдруг вспомнил: Есенин начался ещё раньше. Мы с матерью сидим на крыльце нашего дома

в деревне; мне, видимо, нужно стихотворение о Родине в школе, я первоклассник, на дворе 1981 год.

Она читает: «...хаты, в ризах образа». Я пытаюсь запомнить... Все предыдущие строфы помню, а эти «...в ризах образа...» не могу понять: икон в нашем доме не было (были у бабушки; всегда, в самые махровые советские годы горела лампадка, я был крещён в 1975 году). И чтобы запомнить, произношу всё это в одно слово «хатывризахобраза». Как заговор. Так с тем заговором и жил дальше.

Сочинять я начал в году, кажется, 1985-м – стихи. Отец послушал, сказал: нужны образы, сравнения, сынок.

– Что это, папа?

Он открыл наугад Есенина и прочитал:

О, Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку...

С этого урока для меня началась литература.

Только в прошлом году вдруг обратил внимание, что две другие строки гласят:

Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску.

Синь, видите ли, упала в реку, а тоску любит уже – озёрную. Непорядок, грубо говоря.

Но Есенин – гений. Он мог себе позволить такое. И позволял иногда...

В 14 лет я знал наизусть едва ли не все его стихи – по крайней мере на спор мог продолжить любое и сказать, в каком году оно сочинено.

– А сейчас что у Есенина вы чаще всего перечитываете? Что кажется особенно актуальным? Почему?

– Перечитываю что-то постоянно, но более всего люблю Есенина имажинистского периода: «Пугачёва» – гениальную, как и «Тарас Бульба», гулевую, бунтарскую поэму. Ещё – «Исповедь хулигана». И самую интимную лирику – что-то из раннего, что-то из «Москвы кабацкой», что-то из совсем позднего.

Крайне актуальна «Страна негодяев», конечно. «Сельский часослов» удивителен. Ряд революционных поэм 1917–1919 годов (хотя далеко не все) ещё не раз заново прозвучат в нашей жизни, всё это есенинское, той поры скифство, его дерзкое презрение к столичным либералам и оголтелым западникам (на тот момент они обитали в основном в Питере, сейчас, напротив, базируются в Москве) – я всё это очень понимаю и невольно примериваю на себя.

Читая и перечитывая Есенина всю жизнь, понял однажды, что поэзия – не просто мастерство: я сам сейчас могу написать на спор лирическое или патетическое стихотворение за 15 минут, с отличными рифмами, лёгкое и стремительное, – но никакого удовольствия от результата не получу.

Писать стихи можно научиться, если всю жизнь читаешь поэзию и помнишь сотню-другую чужих стихов наизусть.

Но есть одна вещь, неподвластная любому мастеру: волшебство. Склеить можно – но не у всякого склеенное полетит.

У Есенина – летит почти всегда.

Он обладал волшебством, у него имелось что-то незримое, что невозможно разобрать на составляющие, – абсолютная, почти недостижимая интонация чистоты и прозрачности каждого чувства.

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу –
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Или:

Не криви улыбку, руки беребя, –
Я люблю другую, только не тебя.

Можно же с разгону ещё сто сорок вроде бы почти таких же строк нагнать.

А волшебство не повторится. Будет ускользать из самых рук.

Я бросил стихи писать уже в двадцать лет, когда понял, что я могу сочинять много лучше, чем многие мои именитые современники, но волшебства нет.

Иногда мелькнёт, и – раз, сразу пропало.

А у Есенина – горлом шло. Лило из него.

Его гениальность для меня очевидна. Люди, отрицающие его гениальность, смешны.

Это, знаете, бывают персонажи, вовсе не понимающие музыки, – им ставишь Мусоргского или Свиридова – и понимаешь: они не слышат вообще.

Но – «мнение имеют».

О Есенине в каком-то смысле уже не надо иметь мнение, как не обязательно иметь мнение о радуге, о русском лесе, о русском поле.

– Ваш день рождения мистически совпадает с днем рождения Есенина (по творимому им поэтическому мифу о себе) и Мариенгофа, нет ли у вас такого чувства, что именно два этих поэта ведут вас по жизни?

– Наверное, что-то в этой дате есть, вы верно подметили.

Я заметил это не так давно, в том числе потому, что свой день рождения до 30 лет не отмечал ни разу.

И потом вдруг меня осенило:

Матушка в Купальницу по лесу ходила...
...Охнула кормилица, тут и породила,

– я эти стихи знал наизусть с детства, и только много лет спустя понял, что Есенин описал свой день рождения – в мой, сдвинув его с октября на 7 июля – на разгар лета, середину года, цветенье и разгул природы. Это такое подсознательное желание было у него – не на осени «пожениться», которая утащит в опадание и смерть, а на кипящем лете купальском.

А ещё некоторое время спустя я обнаружил, что первейший и самый главный друг и собрат Есенина – Анатолий Мариенгоф – родился именно 7 июля и тоже об этом писал. Всё это не могло меня не позабавить.

В этой дате есть своя мистика. Я совсем к мистике не склонен, но здесь не могу удержаться от некоторой почти детской гордости: Есенину желалось родиться в день, который мне достался за так.

Родство же моё с Мариенгофом – странное: в сущности, он чуждый мне человек, но на каких-то поворотах, в каких-то находках, я вдруг понимаю, что сталкиваюсь с ним плечами: его стихи 1921–1924 годов, его «Циники», его «Шут Балакирев» – это абсолютно моя эстетика, это ровно тот выход из символизма, акмеизма и футуризма (все три школы были мной добросовестно пройдены), который странным образом оказался лично мне ближе всех.

Не путь надмирный, где всякую даму, а то и зверя надо писать с прописной, не акмеистская предметность, не футуристская тарабань-табань-барабань – а томительная, приправленная цинизмом, человеческая искренность. Короче, всё то, чему Есенин так умело и душевно научился именно у Мариенгофа.

Просто у Мариенгофа часто много случалось от ума (но не всегда), а Есенин вдруг «поженил» новаторскую рифму и эстетику Мариенгофа с рязанским природным чувством – и та самая «Исповедь хулигана» родилась.

Впрочем, и у Мариенгофа есть свои шедевры: «Разочарование», «Утихни, друг, прозрачен чай в стакане...», «Какая тяжесть...», «Друзья».

Это ещё не очень прочитанный и не очень понятый поэт. И влияние его на Есенина не изучено в полной мере – оно гораздо шире, чем мы это представляем. Причём не только на Есенина, но и на огромную часть современной поэзии той поры.

Скоро я об этом напишу.

– В романе «Обитель» Артем Горяинов, искупавшись в озере, погибает именно в день вашего рождения, когда отмечают праздник Ивана Купалы. Кто-то из уголовников «саданул под сердце финский нож». Что это? Акт очищения души? Или осознание того, что герой должен расплатиться сполна за свое преступление – отцеубийство?

– Мне никогда в голову не приходило думать над поступками своих персонажей, я совершенно не знаю, отчего всё случилось так, а не так.

Я открываю страницу, пишу первое слово (оно самое сложное), а потом вдруг пальцы начинают танцевать сами на клавиатуре. Самое главное тут не думать ни о чём, а бежать вслед за персонажами: они сами идут.

К финалу романа стало ясно, что его зарежут, и его зарезали. Про финский нож я не подумал – но это вы очень точно подметили.

Есенин и Мариенгоф всё время бродили как тени на втором плане романа и, видимо, какие-то свои рифмы незримо предлагали.

...конечно, он должен был расплатиться, этот Артём. А как же? Конечно. Но это я только сейчас понял из вашего вопроса.

– Когда я читал «Обитель», то у меня рядом лежали тома из собраний сочинений Есенина, Мариенгофа (спасибо вам с Олегом Демидовым за него), сборник «Поэты-имажинисты», а также книги Ницше и Фрейда. Мне показалось, что без них трудно понять смысл глубинного подтекста этого романа.

Прав я или нет? Мне показалось, что Артем живет как ницшеанец – «по ту сторону добра и зла». Может быть, именно это его сближает с «Черным человеком» Есенина?

– В первой части вопроса – правы, во второй – нет. Чёрный человек – это убийца, это твоя собственная душа, которая выгорела, которая богооставлена, и она не даёт тебе жить, съедает тебя, утаскивает тебя за собой.

Хотя иные и с такой душой живут.

Артём же – он живёт по эту сторону добра, по крайней мере – стремится жить. Его мотивации – это неукротимое стремление к выживанию.

Но, видимо, где-то раз и два он заступает за дозволенную грань в своём животном, лёгком, как есенинская поступь, движении по краю. Заступает – и это ему не прощается.

Он вроде бы побежал уже дальше, но след оставил, и по этому следу его находят, хватают за ногу, тащат назад. Ибо виноват, провинился, накосячил, сподлил.

Но где именно это случилось, я сам не знаю.

Ницше и Фрейд не самые дурные в этом смысле помощники. Но и не самые надёжные. Книга «Поэты-имажинисты» – куда надёжней.

Артём – имажинист, конечно.

Это вот соединение человеческой звериной нежности и лёгкого, легкокрылого цинизма – абсолютно имажинистское качество.

– Можно ли согласиться с тем, что Артем Горяинов на практике доказал правоту Зигмунда Фрейда, написавшего статью «Достоевский и отцеубийство»? Ведь в 20-е годы Фрейд был очень популярен в России. Им увлекались и Есенин, и имажинисты. Не этим ли объясняется воспаленный эротизм их имажей и особая эrogenная пульсация текста «Обители»?

– Не прямые ассоциации – но, безусловно, есть. Над этим стоит подумать.

– Читая «Обитель», я постоянно вспоминал строки из есенинского стихотворения «О родина!» (1917):

Люблю твои пороки,
И пьянство, и разбой,
И утром на востоке
Терять себя звездой.
И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и взять,
И горько проклиная
За то, что ты мне мать.

Мне кажется, если бы Есенин выжил той роковой ночью, то он в конце двадцатых или в тридцатые оказался бы на Соловках.

Может быть, именно поэтому есенинский дух так зримо присутствует в тексте книги?

– Не очень уверен, что Есенин оказался бы на Соловках, – это всё, в сущности, досужие домыслы, да? Есенин в 1924 году совершил совершенно осознанный поворот к большевизму (после некоторого разочарования 1919–1923 гг.), но этот поворот убил его ровно точно так же, как Гоголя убил второй том «Мёртвых душ». Он понимал, что правда где-то здесь, но справиться с этим не смог.

Тут какая-то страшная судьба сберегла его – как Пушкина, или Лермонтова, или Блока, или Маяковского, в какой-то степени Твардовского, а отчасти, как ни странно, даже Бродского, хотя и в меньшей степени, и Юрия Кузнецова ещё – заключить с властью тот союз, который соединил бы его не только с тем святым духом, что ведёт всякую русскую власть, но и с тем демоном, что движет её деяньями столь же неукоснительно...

Каждый из них по-своему был к этому готов – и каждого лишили этой роли: во славу чистоты поэтического престола.

Но в целом у Есенина после его «персидской поездки», после встреч с Троцким, Фрунзе, Кировым был огромный шанс и на встречу со Сталиным, и на внимание Сталина – в 30-е он смог бы претендовать на роль главного поэта эпохи, оспорив её у Маяковского, а затем Пастернака.

Если б не алкоголь – крестьянской смекалки у него хватило бы, чтоб Прокофьев, или Сурков, или Исаковский, или всё тот же Твардовский просто потерялись бы в его тени.

Но то был бы уже не Есенин. Таких же стихов у него не было бы: совесть бы выгорела куда быстрее.

Гибель его была предопределена не кровавым кошмаром Советов, а тем, что он был Есенин. Он бы не выжил ни в одну эпоху. Разве мы можем представить его долгую, спокойную жизнь во времена некра-совские? В наши времена? Ему нигде нет места и приюта.

Есенин – русский поэт в чистейшем виде. Свои Соловки он всегда носил с собой. И всегда будет носить.

– Захар, мне как читателю очень хотелось бы узнать, как родилась идея начать роман с пролога, который я бы назвал «Притча о тулупе». Начало романа – очень мощно в художественном плане. Здесь – ключ к смыслу повествования. И как тут вновь не вспомнить строки Есенина?

Под Маврикийским дубом
Сидит мой рыжий дед,
И светит его шуба
Горохом частых звезд.

Архетипичность этого образа проявляется, когда автор видит, как его руки напоминают руки деда. Напомню это место: «Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с седыми латунными ногтями пальцы прадеда».

У Юрия Кузнецова есть потрясающее стихотворение о том, как на его ладонях проступают лица отца и матери:

...Я от брата и от друга бегу
И дышу на ладони.
Проступают на них два лица:
И чело и морщины.
Узнаю свою мать и отца.
Мы навек триедины!

Так рождается образ-миф: «лица – ладони». Можно ли воспринимать ваш образ из «Обители» как архетипический?

– Да. Тут, скорей, меня радует ваша прозорливость, чем своя.

И остаётся только гадать, что тут на всё случившееся на меня повлияло больше: моё прочтение и осознание Есенина и Кузнецова, которого я считаю гениальным поэтом, или какие-то действительно архетипические коды?

Пролог написан случайно, поверьте. Я написал первые двести страниц романа, потом мне как щелкнули по лбу: нужен пролог. Я взял и за полчаса написал этот пролог.

Было смутное чувство, что роман не должен звучать как исторический, а должен читаться как современный. Ну или, как бы нелепо это ни звучало, – вневременной.

Поэтому, когда добрёл до финала романа, получил ещё один щелчок: нужен эпилог.

А эта «шуба» с её звёздами, с её махоркой, с её тайными путями в дедовских рукавах, где так легко заблудиться, а то и потеряться, – она была в моём доме, я её не взял поносить у Есенина взаймы.

– В романе «Обитель» много смелых, эпатирующих читателей эпизодов. В каждый из них автор вкладывает глубокий смысл.

Многих может шокировать изображение мастурбирующего Артема, преодолевающего таким образом свой половой голод. Так рождается самая смелая имажинистская метафора: Млечный Путь в ночном небе – след Божьей спермы. Так половой голод обретет космический, вселенский характер и символизирует бесплодность и бессмысленность существования главного героя, на котором обрывается род Горяиновых. Семя, как в Библии, упало на землю...

Возможно, именно в этом смысл фамилии героя. Вспоминается в связи с этим и шукшинский герой из «Калины красной» Егор Прокудин, по прозвищу Горе.

Есть ли между ними какая-то связь?

– Надо же, о Прокудине даже не думал.

Но, думаю, внутренние побуждения Шукшина и меня, грешного, были идентичны.

Шукшин писал архетип русского человека – грешного, вороватого, злого порой, – но Шукшиным мучительно любимого за страсть, за широту, за вживчивость, за силу хватки и за лёгкость, с которой он свою грешную и горестную жизнь от себя отпускает. Герой этот не в ладах с заповедями, он совсем не религиозен – и вместе с тем он никак, по сути своей, не атеист. Его горе, которое он несёт на своих плечах, как крест свой, может вдруг, в какой-то момент, позволить этому герою быть осенённым светом человеческой святости... Но может и не позволить.

Естественно, что во многом и я о том же и то же самое писал.

Есть, как минимум, ещё один общий момент в «Обители» и в «Калине красной» – отказ Прокудина встречаться с матерью: он не может к ней таким грязным прийти, с такой надорвавшейся душой.

У Артёма чуть иные мотивации – он вообще не рефлексировал в данную минуту, он откуда-то знает, что нельзя, бежит этого как слишком человеческого, слишком душевного, – однако по факту схожи у Прокудина и Горяинова даже их ключевые поступки.

Горяинов тоже погладил ногу героине – помните, как в фильме Шукшина он это делает случайной прохожей? (В киноповести не помню такого момента.)

Наконец, у Шукшина тоже появляется Есенин – как камертон: в фильме с песней «Ты жива ещё, моя старушка», а в киноповести – с «Песней о хлебе» (пророческой, потому что там колос, как лебедя, срезают под горло, – этот колос Прокудин и есть). И Горяинов, естественно, тоже.

При этом я, повторюсь, не помнил об этом, не продумывал «рифму» с Прокудиным: само срифмовалось, и спасибо, что вы подсказали это.

А разница, например, в том, что Прокудин уже прожжённый, что он уже – Горе и пытается это горе избыть, избавиться от него; а Артём ещё только опаляющийся, ещё в горе своё ступающий, ещё только начинающий черпать его то одним бортом, то другим.

– Тулуп деда вспоминаешь, когда герой проходит через адские пытки холодом на Секирке. Захар, а верите ли вы в то, что когда-то молодое

поколение начинающих писателей будет говорить о себе: «Все мы вышли из прилепинского тулупа».

– Не уверен, что кто-то будет так говорить, в том числе и потому, что тулуп этот – личный мой, его присвоить нельзя и примерить тоже сложно, если своего не было.

В своё время Есенин написал: «Я последний поэт деревни». Предчувствие его было точным, хотя, если совсем строго и по факту, он последним, конечно, не был: деревня ещё успела дать великого поэта Бориса Корнилова, несколько поэтов рангом пониже, и удивительное поколение почвенников: Василия Белова, Фёдора Абрамова, всё того же Шукшина – они, конечно же, тоже были поэтами деревни, и тоже последними. Потому что в минувшую четверть века та деревня, о которой писал Есенин, та деревня, что была дана нам Валентином Распутиным, та деревенская речь и тот деревенский, по Белову, лад – распался почти уже до конца. И, родившийся в 1975 году, я ещё посидел там, на краешке завалинки, ещё послушал речь деда, родившегося в 1914 году, бабушки, знавшей на память самые разные причеты, и прадедов тулуп обыскал, обнюхал – который был, был, и я помню, как примеривал его рукава, забираясь туда не руками, а детской головой...

То есть той деревни, где Есенин вырос, – я тоже последний поэт.

И, если вдруг чуда не случится, я не очень верю, что появятся какие-то новые деревенские ребята: сочинители и певцы своей родины. Я знаю несколько совсем молодых поэтов, физически родившихся в деревне, причём хороших поэтов, но они выросли в те времена, когда всего того, о чём я выше говорил, уже не было: лад распался, тулуп выкинули, речь расплылась... Они черпали свои силы уже из другого...

Однако отрицать своё влияние на часть поколения я не буду. Сам, признаться, я не всегда это влияние вижу, но меня порой внимательные люди пихают под локоть: мол, ты не видишь, откуда этот, а ещё вон тот взял эту витальность, эту словесную походку, эту интонацию, эту улыбочивую манеру?

Тогда я присматриваюсь и вдруг вижу: да, что-то есть, вроде что-то есть. Какие-то повадки мои, какие-то жесты оказались заразительными.

– **Захар, а читали ли вы цикл стихов нижегородца Фёдора Сухова «Соловки»? Мне кажется, в них многое созвучно роману «Обитель».**

Вот отрывок из его стихотворения «Секирная гора»:

Здесь осины светлы, как березы,
А березы не так уж светлы.
Сгибших узников жгучие слезы
Обожгли всем березам стволы...

Без Есенина и Клюева не было бы такого самобытного, истинно русского поэта.

– Я читал Фёдора Сухова, знаю этого поэта, но почему-то именно «Соловки» прошли мимо меня. Обязательно найду теперь и прочту.

– **Захар, а когда вы напишете свою книгу о Есенине?**

– Рискну, попробую сделать своего Есенина – книгу о нём для серии «Жизнь замечательных людей». Я высоко ценю некоторые работы, которые написаны о нём: и книгу Куняевых, Сергея и Станислава Юрьевича, и книгу Лекманова и Свердлова, в гораздо меньшей степени жизнеописание Марченко, впрочем, тоже фрагментами достойное... Но у меня есть свои, нажитые уже десятилетиями расшифровки его жизненных перепутей, дружб и творений.

Буду, даст бог, писать об этом.

Пока же, как первый подступ к теме, я написал книгу «Портреты советских поэтов: Луговской, Мариенгоф, Корнилов». И если связь Луговского с Есениным едва просматривается, то Корнилов уже числится как один из его наследников, что до Мариенгофа – тут всё ясно.

Я собрал воедино и переработал всё, что до сих пор писал о Мариенгофе сам, и дописал ещё вдвое больше, в том числе там будет несколько главок об их отношениях с Есениным....То есть путь начат, пойду потихоньку дальше.

– Захар, а в каком возрасте вы начали читать Лермонтова?

– Он естественным образом присутствует в моей жизни с того момента, когда явилось мне печатное слово. Думаю, лет с пяти. И это, конечно же, «Бородино» – была у меня такая детская книжка с картинками, совершенно меня зачаровавшая.

В конечном итоге, возможно, что всё происходящее со мной – это оживающие картинки этой книжки детской. Самое сильное впечатление с юности и по сей день – «Герой нашего времени», одна из самых любимейших моих книг из всех существующих. Изящная, остроумная, лёгкая, аномального мастерства. Чистое волшебство.

– Оказал ли Лермонтов какое-то влияние на вас как на писателя? Ведь в романах «Патологии», «Санька», «Черная обезьяна» вы создали образы героев нашего времени.

– Не думаю, что стоит вести речь о прямом влиянии или о каких-то лермонтовских реминисценциях. Но Лермонтов – это явственный камертон, когда речь идёт, во-первых, о писательском голосе, а во-вторых, о писательской судьбе. На него оглядываешься так или иначе. Если Пушкин воспринимается как мудрый, добрый и, пожалуй, улыбчивый собеседник, то Лермонтов – как собеседник немногословный и... строгий. Под его взглядом не хочется быть суетливым и слабым.

– В предисловии к книге «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», вы пишете: «Блестящие поручики отправлялись на Кавказ – но что всё-таки они там делали? Да, вели себя рискованно, словно кому-то назло. Но кто в них стрелял, в кого стреляли они? Что это за горцы такие? С какой они горы?

С кавказской горы горцы – опасные люди. Михаил Юрьевич, вы бы пригнулись...» Лермонтов назван, но не стал одним из героев этой книги. Почему?

– Объяснение достаточно банальное: у меня даны жизнеописания литераторов (и военных), родившихся до 1799 года. О воевавших литераторах, родившихся в XIX веке, я хотел бы написать ещё один том: Лермонтов, Бенедиктов, Хомяков, Лев Толстой, Гаршин и так далее. Судьба Лермонтова меня не просто увлекает – она меня зачаровывает.

– Не вступает ли в противоречие поведение Лермонтова на Кавказе, когда он командовал отрядом отчаянных рубак, с такими его строками в стихотворении «Валерик»:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?

– Да нет, конечно, не вступает. Если поэт воюет, это вовсе не означает, что у него должна быть психология мясника. В том и состоит гений Лермонтова и суть любого из персонажей того же «Взвода», что рефлексии, гуманизм и огромная сердечная отзывчивость более чем органично сочетались в их случае с безупречной офицерской выправкой и чёткими представлениями о мужестве.

Русской литературе надо наследовать этому во всей полноте – сложная задача, зато и крайне увлекательная.

– **Что нового в Лермонтове открылось для вас во время съемок в фильме «Записки о горных нравах» на Северном Кавказе?**

– Мы скорее шли по следам в географическом смысле, чем занимались исследовательской работой. Мне хотелось увидеть то, что видел Лермонтов, проехать его маршрутами. Это было отличное путешествие.

– **Что сближает Лермонтова с поэтами Кавказа? Почему К. Хетагуров, К. Кулиев и Р. Гамзатов так любили его творчество?**

– Герман Садулаев, замечательный писатель чеченского происхождения, сказал мне как-то, что Лермонтов – это первый чеченский писатель. Можно взять шире и сказать, что Лермонтов – первый кавказский писатель. Кавказ увидел себя его глазами и понял, как можно говорить и петь о себе, поймал интонацию.

– Есенин неоднократно подчеркивал, что Лермонтов был одним из его самых любимых поэтов. В «маленькой поэме» «На Кавказе» (1924) Есенин вспоминал своих великих предшественников, в творчестве которых Кавказ сыграл особую роль. После Грибоедова и Пушкина он обращается к образу Лермонтова, подчеркивая необычный характер поэта:

И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру вместо злата.
За грусть и желчь в своем лице
Кипенья желтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.

А как соотносятся в вашем сознании Лермонтов и Есенин? Что их сближает, а что отличает? О чем «...звезда с звездой говорит»?

– У раннего Есенина в смысле стилистическом есть самым очевидным образом написанные «под Лермонтова» стихи. Кроме всего прочего Есенина на тот момент привлекала переосмысленная Лермонтовым «байроническая поза», которая, впрочем, Есенину совершенно не шла.

Истинное влияние – это уже случай позднего Есенина. Помните, когда он берёт эту щемящую лермонтовскую ноту: «Пусть она услышит, пусть она поплачет. / Ей чужая юность ничего не значит». Я бы говорил здесь о спокойном предчувствии скорого ухода в иной мир и христианском смирении в связи с этим. Есенин в смысле «музыкальном» научился подобному горькому, но тишайшему стоицизму у Лермонтова. Хотя, если говорить о человеческой сути, о человеческом характере, Есенин, конечно же, куда более, скажем так, расхристаный, «раздёрванный». И сам он, думаю, знал об этом.

Лермонтов шёл к своему финалу, не меняясь в лице, снисходительный к смерти, с аномальной выдержкой. Есенин мучился и метался, но за шаг до неизбежного принял всё и простил всех.

– Предопределена ли была трагическая гибель Лермонтова строчками стихотворения «Сон», написанного в 1841 году («В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я»)? Как жизнь поэта подчиняется поэтическому слову, превращаясь в житнетворчество?

– Не знаю, что и чему подчиняется: судьба ли слову или слово судьбе, просто иного Лермонтова я и вообразить не могу: иной его жизни, возможности старости для него. И короткая жизнь его даёт всему написанному им иной ответ: мы никогда не сможем усомниться в честности Лермонтова, в том, что он отвечает за каждую строчку свою. Чего о многих поэтах последующих времён, в том числе иных наших современниках, не скажешь. Они вроде бы и тоскуют так же, и интонацию выдерживают, а прислушаешься и думаешь: врешь ты всё, братец, не пытайся меня разжалобить, тоска твоя липовая, и сам ты поддельный.

– Захар, Лермонтовскую премию вы получили 7 июля, в день своего рождения. Видите в этом какой-то символический смысл?

– Я воспринимаю это как благословение на то, чтобы писать о Лермонтове. И очень хочу это сделать.

– Захар, я искренне желаю воплощения ваших творческих замыслов. Будем ждать биографию С. Есенина в серии ЖЗЛ и второй том книги «Взвод», где ключевым станет образ Лермонтова.

Пенза – Тарханы, 2015–2018

Михаил ЧИЖОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт, работал в химическом объединении «Капролактамы» в Дзержинске, затем в органах охраны природы.

Автор нескольких сборников прозы и публицистики, лауреат премии Нижнего Новгорода. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

«ЗЕМЛЯ ЗА РОЖДЕНИЕ ТАЛАНТА ТРЕБУЕТ ОТВЕТНУЮ ПЛАТУ»

К десятилетию со дня смерти писателя Валентина Николаева

Он был скромным человеком. Такую скромность, как у Валентина Николаева, можно найти лишь у истинно православных крестьян. И никаких красивых объясняющих слов, определений, аллегорий более не требуется. Нужны только примеры, потому что для городского человека эта краткость определения – «православный крестьянин» – абсолютно непонятна и даже раздражительна. Эта скромность соткана, как ткань, основными нитями которой является терпение, а в качества нитей утка служит доброта. Переплетение доброты и терпения и дает такое качество характера, как православная скромность. Качество, потерянное, как мне кажется, навечно за годы атеистического, советского безверия.

«За мастером всегда стоит тайна. И разгадать эту тайну почему-то неудержимо тянет. Даже когда мастера нет в живых. Мы вглядываемся в черновики, в семейные фотографии, в перепады биографии, письма... Но полной ясности так и не наступает: ушел тот мир, точнее тот миг в мире, когда душа художника постигла нечто, затрепетала и запомнила... Потом прошли годы, много бед и несчастий претерпел художник лишь ради того, чтобы однажды воссоздать то дивное мгновение, изумительное ему еще раз и оставить навсегда в рукописи, на холсте, в нотных знаках... Как будто кто свыше велит это сделать», – так рассуждает об истоках подлинного творчества Валентин Николаев в своей книге размышлений «Свет слова и тоска по мастеру».

Нет, не в год смерти написаны эти строки, хотя книга издана в 2008-м. У меня перед глазами старый компьютерный вариант «Тоски по мастеру», датированный 1992–2002 годом. Шестнадцать лет обдумывал

Валентин Арсеньевич Николаев свое литературное завещание, а только что приведенные строки – самые первые, самые изначальные, задающие тон всему произведению.

Вчитываясь в его произведения, вглядываясь в него самого, я в беседах о литературе и искусстве пытался найти связь личности автора и качества произведений. Я, горячась, спрашивал Валентина Николаева: «Может ли подлец написать талантливый роман?» Он уходил от прямого ответа, а как-то раз, слегка раздосадованный моей непонятливостью, сказал мне: «Читай мою “Тоску по мастеру” и учись». Это был единственный случай, когда он так настойчиво привел в пример свое произведение как эталон, как вещь для изучения. И первое, на что я обратил внимание, изучив его, живого, за немалые годы общения, была скромность. Она у него есть то непротивление злу насилием, при котором пострадавший не подставляет после пощечины другую щеку, а то, когда рука противника становится бессильна и не может подняться для удара. То, когда изо рта хулителя никак не могут вылететь резкие, осуждающие, и уж тем более ругательные слова.

Теперь пусть спросит себя горожанин: есть ли (или были) перед ним такие люди?

Дадим некоторые пояснения к слову «горожанин». Оно для крестьянского сына Николаева вовсе не ругательное, оно для него символ антагониста, оппонента, ярого противника физического труда, специалиста по сколачиванию крупных и не всегда честных капиталов. Это некий обобщенный образ не только спорщика, но бездумного, всеядного потребителя, точнее, мещанина. Видимо, того, о ком на стенах городских домов аккуратно, через трафарет, сообщается нелицеприятное: «Я ненавижу тебя, обыватель!» Эти отчаянные надписи время от времени появляются на домах знакомых улиц.

Много было таких обывателей в жизни Валентина Николаева, что мешали ему. О них он писал: «Люди, примкнувшие к искусству, но без признаков таланта, – люди для истинных художников страшные. Они занимают роль полуадминистраторов-полухудожников, попеременно и ловко спекулируя то тут, то там. И везде успевают. Иногда бьют и дуплетом».

Православная скромность спасала его, не давала мысли сбиться с пути, сохраняла его внутреннюю свободу. «Что за игра слов такая – внутренняя свобода? – непременно спросит “горожанин”. – Свобода бывает одна, различий в ней нет!»

Есть!

Тем-то и отличается православный человек от протестанта-западника, что заботится прежде всего об очищении души от зависти, злобы, жадности, что осминомом страстей стягивают внутреннюю свободу человека. Западному обывателю неведомы эти опасения, он смело барахтается среди щупальцев спрута внешней свободы. Ему родны и близки общечеловеческие «ценности», права человека, заменяющие мораль, беспринципная сила капитала и вседозволенность при его наличии. Православный человек может быть свободен при любых внешних обстоятельствах. Независтливый, верующий и добрый Валентин Николаев был всегда свободен.

«Когда писателя не замечают, обходят критикой, газетным и телевизионным вниманием, он не должен ни на кого обижаться. Он всегда должен думать только о качестве своих строчек: умный, понимающий читатель все равно найдет, поймет и оценит». Будь спокойна, душа Валентина Николаева: такие читатели у тебя есть и будут всегда.

Прямо и откровенно скажу, что редко кто обладает в полной мере этим поистине чудесным свойством человеческой души – православной скромностью. Она не наследие «темного» прошлого – тех далеких и забытых лет торжества православной веры, она от Бога. Многим известно определение – ангельское терпение, но не многие, я в этом уверен, с ним встречались в серых быстротекущих буднях. Носителей его осталось катастрофически мало, и определить их можно прежде всего по виду. Их спокойные, вдумчивые глаза (ни в коем случае не быстрые, уж не говоря о бегающих) льют свет доброты на каждого, кто с ними общается. Несуетное уважение во взгляде, жесте, слове. Рассказы, пейзажи, портреты, созданные ими, оказываются самыми полезными, краткими, единственно нужными народу. Собеседнику, портретисту ли, читателю предлагается понять прекрасную, скромную душу визави, натурщика и писателя. И тогда наступает редкостное прозрение.

Счастливы ли такие люди в обычном суетном (материальном) смысле этого слова? В том, о котором пророчат цыганки, как нагадала Валентину Николаеву одна из них в рассказе «Первая весна»: «...но счастья у тебя не будет. Ты сам его погубишь...»

Счастье у них свое. И «горожанину» оно не внятно.

Чистоту и покой излучало лицо неожиданно и скоро ушедшего от нас Валентина Николаева, чье сердце устало от череды дел и дней, но мысли и молитвы были о близких людях, а не о себе. Такие люди счастливы от своей внутренней свободы, от выполнения бесконечных крестьянских «надо». Они каждодневно ставят себе задачи и выполняют их, каких бы усилий они не стоили. Вплоть до кровавых волдырей, обмороков и смерти. Почему я называю их крестьянскими, эти «надо»? Потому, что дела эти неисчерпаемы, как время, пространство и космос.

И опять встрянет «горожанин»: «Эка куда загнул! Земельно-навозные дела сравнил с космосом». И будет не прав.

«И вот я хожу по дому и огороду, пытаюсь замазать глиной печь, закрепить топор на топорище, застеклить раму, хоть временно заделать протек в крыше. Устаю от неумения и одиночества, но пробую снова и снова – будто сдаю запоздалый экзамен на крестьянскую суть. И толкнуть жизнь в доме почему-то трудно, будто переступить роковую черту...»

Так пишет пятидесятилетний Валентин Николаев, преодолевающий в жизни раз за разом несчетные крестьянские «надо». Надо поправить подгнивший столб у забора, надо вскопать огород, посадить кусты малины и смородины, поднять покосившийся угол дома, надо купить или взять в аренду домкрат для этой цели. Надо записать пару сокровенных мыслей. Надо, надо, надо...

Но зато, когда выполнишь одно из бесчисленных «надо», отойдешь с потаенной улыбкой в сторону, чтобы полюбоваться на результат трудов своих, где-то там, в секретной глубине души вспыхнет свечой маленький огонек удовлетворения. Будет он разгораться и шириться, пока не заполонит всего тебя теплом счастья от добротного выполненной работы.

А вот и космос. «В полночь я распахиваю дверь своего дома и ступаю будто сразу в космос: такая плотная тишина пропитывает всю многоверстную тьму ночи, что душа сжимается в точку и замирает в ожидании чуда».

И зря выговаривает Николаев на свое неумение: руки у него были золотые. Друзья-литераторы вспоминают, что как-то потребовалось от-

крыть без ключа висячий замок в садовом домике. Это смог сделать только он, бывший механик-моторист и знаток всей плавучей (и не только) техники.

...Надо воспитать детей.

«Какой ужас, – воскликнет “горожанин”, – и в этом вся жизнь, вся долгая жизнь? Где же театры, супермаркеты, кафе и рестораны, шмотки из cottona, пикники с шашлыками, вином и девочками?»

Не такая ли жизнь поманила вначале и Валентина, умного, много читающего и приметливого паренька? Индустриальный техникум в тесном, провинциальном Иванове не понравился ему. Поехал в Горький на простор двух великих русских рек, в малопонятное скопище людей в одном месте. Стал работать на стройке.

«Видимо, я строил не только дом, а еще и себя, и это оказалось для меня важнее», – вспоминал об этом времени молодой еще Валентин Николаев. Уже в ту пору он стал вести дневник – первое удовлетворение изнурительной писательской страсти. Поступил в речное училище в восемнадцать лет, а вокруг него четырнадцатилетние пацаны, большинство из которых зазнайки-горожане. Зачем? Видимо, чтобы удовлетворить еще одну страсть – любовь к воде, вечно движущейся, изменяющейся натуре.

Скорее всего, ему было нелегко. Недаром вырвалось у него в воспоминаниях, когда после училища он стал работать по специальности на своей родной реке Унже: «Я занимался любимой работой (старший механик на дизель-электрическом кране. – *М. Ч.*)... жил в разных местах среди близких мне людей, а главное – я снова попал в родную **языковую** (выделено мной. – *М. Ч.*) стихию, знакомую и любимую с детства».

Первый рассказ в газете. Он тоже отражение нелегких будней в большом и чужом городе, который заставил понять деревенского парня первое противоречие между собой и миром. Он изучал в училище механизмы машин, а в рассказе – признания в любви к природе. «Видимо, я об этом немало думал... испытывал тоску по лесам, озерам, по вольному детству, которое уходило навсегда, но облегчения не находил, – признавался позже Николаев, – потому и написал».

Противоречия, несоответствия между миром и человеком требуют душевного разрешения. «Когда “беда” эта (имеется в виду противоречие. – *М. Ч.*) слишком велика, человек пытается что-то писать», – делает вывод Николаев. Нечто похожее происходило и с Максимом Горьким, но у Николаева – по-своему, может быть, попроще, но более раздумчиво и не так прямолинейно.

Валентин Николаев настойчиво пытается понять, осознать те мучительные несоответствия, о которых он говорит, набраться уму-разуму в нелегкой работе на русских реках и в литературных трудах. По признанию самого Валентина Николаева, годы работы в сплавной конторе на реке Унжа были самыми лучшими в его жизни. Но литературное призвание победило страсть к реке, хотя она осталась «главным героем» в его последующих произведениях: с 1967 по 1972 годы он студент Литературного института имени А.М. Горького.

Московское сомнение оказалось, и это естественно для любого провинциала, еще ужаснее, чем горьковское, но это ни в малой степени не обескуражило Николаева. В эти годы он упорно оттачивает свое мастерство, чтобы потом со знанием дела и опыта сказать: «Писательский путь – одиночество. Ни друзей, ни попутчиков; равнодушных, а то и врагов,

завистников – много. ...И было грустно, что таланты так редки даже в большом городе».

И после института, с отличием оконченного, после суетной, прекрасно понятой, бездушной Москвы, не верящей не только слезам, но и скромным талантам, Николаев ищет смысл жизни, свою вечную тему, свое четвертое измерение. Он буквально всё хочет попробовать и подержать в руках, чтобы об этом написать. И, главное, непременно понять, сделать свой вывод, попутно определив и свое место в этом трудно принимающем его мире.

Николаев бросается за впечатлениями, сюжетами, новыми людьми, надеясь, что они все: и люди, и природа, и острые ощущения ответят на его сложные, мировоззренческие вопросы. Нет, они не помогли, не ответили, но зато он понял, что отвечать на них надо ему самому, не перекладывая ответы на чужие плечи.

«Когда человек пишет, он как бы “достраивает” себя, раздвигает границы собственного “я” в мире. Этим “я” или частицей “я” может быть любой герой произведения», – размышляет Николаев. И пишет о своих скитаниях по необъятной стране от Унжи, на которой родился, до Берингова моря, дальше которого и России уж нет. «Я был лесорубом и сплавщиком, речником и моряком, грузчиком и крановщиком, слесарем и инженером...» – отмечает он на склоне своих лет в философском трактате «Тоска по мастеру».

С 1972 года Валентин Николаев стал активно «достраивать» себя очерками, рассказами, повестями: «Зеленые звезды», «Долгая дорога», «Последняя навигация».

Смерть матери, которая двадцать лет после смерти мужа одна жила в родовом доме, вернула его с Камчатки в родные края. Вообще этот 1974 год стал для Николаева некой гранью, бортом неведомой лодки-желонки, перепрыгнув через который он очутился в другой жизни. Год стал не только годом семейного горя, но и годом кардинальных перемен в жизни. Он влюбился в молоденькую белокурую девушку, женился на ней, и в тот же год молодая жена (восемнадцать лет разницы) родила ему наследника. В этом же году в Волго-Вятском книжном издательстве в коллективном сборнике «Вступление» выходит его повесть «Последняя навигация», а с ноября 1978 года, получив квартиру, он навечно остается в городе Горьком. И... так же навечно отошли в прошлое камчатские скитания среди морей, среди сопok, прочно забылись запахи перегретого машинного масла в речных двигателях и самоходных дизель-кранах, брошена любимая работа по их обслуживанию, отошли близкие по работе люди. Перед глазами жена, сын, семейные заботы и невзгоды, жесткая необходимость заработка... и манящие снежной чистотой литературные вершины.

И «изначальная волна жизни» активно родит «волну литературную». В последующие годы одна за другой выходят блистательные вещи: «Весновка», «Солнышко – всем», «Дыхание берегов», «Не убежит река», «Шумит Шилекша». Валентин Николаев в 1978 году единогласно принят в Союз писателей СССР. Впереди многообещающее будущее?

Нет, нельзя записному морскому и речному бродяге резко менять ветер в парусах своей судьбы. Нельзя! Он выкинул на полном ходу катера свою морскую штормовку и надел цивильный, дорогой костюм, сделал модную, стильную прическу, выхолил шкиперскую бородку. Но... в душе, видимо, бушевал камчатский шторм.

Как-то в одном из многочисленных разговоров с ним случайно всплыла тема судьбы. Он с грустью в глазах (в ту пору она прочно поселилась там) признался, что, будучи в Иркутске (пришлось ему в конце шестидесятых поплавать и по Ангаре), зашел в местное отделение Союза писателей СССР и попросил о встрече с кем-нибудь из местных прозаиков. Председатель правления был в отъезде, ему назвали фамилии Распутина и Вампилова, которые в ту пору никому ничего не говорили, и он отказался от разговора.

— Как же резко могла измениться моя жизнь, — с горечью посетовал он на свою промолчавшую в тот момент интуицию.

И неотвратимо наступало время тех, о ком Валентин Николаев говорил еще в 1979 году. «Все они даже не представляют, не думают, не хотят думать, “на чью мельницу льют воду”. Они попугайски повторяют свое: “В наше время уже нельзя плохо жить, как раньше”. Это их “плохо” значит: “Слишком много работаю, а мало имею. Наоборот бы”. Но ведь это философия лошади: поменьше пахоты, побольше овса».

Те, кто «много имел», крепко запомнили эти слова Валентина Николаева. Нельзя, наверное, прямо сказать, что его зажимали и не печатали, но прямолинейному и рассудительному Николаеву жилось трудно, особенно с теми, кто заправлял литературными делами. Пытаясь исправить положение, он, то ли очарованный софистикой, точнее пустой болтовней, Михаила Горбачева, то ли по совету близких, вступил в сентябре 1985 года в КПСС. Хотя нельзя исключить, что ему, возглавлявшему в то время литературное объединение «Воложка», намекнули, что не члену КПСС не положено заниматься воспитанием комсомольской молодежи. И он вступил, скрепя сердце, так как мог лишиться единственного заработка.

Но это мало помогло ему. К тем временам относятся слова Валентина Арсеньевича: «Пятнадцать лет прошло с тех пор (1973 г., Камчатка, примечание мое. — М. Ч.), а то ощущение свое литературное помню и по сей день — и крылья есть, и силу в них чувствую, а взлететь не могу: нет воздуха под крыльями».

Он осторожен в высказываниях до конца дней своих. Однако из наших разговоров я знал его мнение о «верных» членах компартии.

В восьмидесятые и девяностые годы Николаев стал меньше печататься, но не писать, а уж тем более думать. Перебивался случайными заработками то сторожа, то истопника. У него появилась новая любовь, точнее забота — отчий дом. «И остались в этом мире мы с домом вдвоем: я в городе, он — в деревне». Что такое для крестьянина родительский дом? Это тотем, сохраняющий кровную близость на всю жизнь, это настоящий объект религиозного поклонения, но это не икона, а друг, которого надо спасать. Не от дома ли тянется живая философская нить его размышлений о сути бытия?

Максим Горький — словами своего персонажа Барона (пьеса «На дне»): «Ты — рассуждаешь... Это — хорошо... это, должно быть, греет сердце... У меня — нет этого... я — не умею! Я, брат, боюсь... иногда. Понимаешь? Трушу...»

Валентин Николаев не трусит, он греет душу рассуждениями о доме, о брате, о делах, далеких, казалось бы, от литературы, редакций, издательства. Он перестал бояться одиночества и уставать от него. Оно стало нужно ему как спутник творчества. Он называл себя унженским затворником.

Вот что он пишет о брате: «Что его сюда звало в течение шести лет после смерти матери? Воспитанный и выучившийся на стороне, давно порвавший с колхозом, он, видимо, до конца так и не мог порвать в себе крестьянскую нить: подправлял изгороди, красил крышу...» Нет, не о брате писал Николаев, а о себе. В небольшой прихожей его городской трехкомнатной квартиры аккуратной стопкой лежали у стены широкие доски, припасенные для ремонта отчего дома. Так что не совсем прав был Николаев, когда говорил: «...Я в городе, он – в деревне». Его дом был и в городе, в квартире, а точнее, в его душе.

Он и говорит-то о жизни дома словно о любимом, но уходящем человеке: «Жизнь из дома выветривается постепенно. Первой – еще раньше хозяина – уходит кошка. И тогда наступают, выживают хозяина из дома мыши... И дом немеет. Он теряет жилой дух, как живую душу...» Чтобы дом не потерял душу, Валентин Николаев с весны, пока еще стоял лед на Горьковском водохранилище и на Унже, уезжал на родное пепелище (редкое, метафорическое определение родительского дома по В. Далю). И возвращался в город только с приходом холодов.

Огромная масса жизненных наблюдений переполняла сознание Николаева, требовала творческого обобщения и выхода. Непременно всем нам, в той или иной мере пробуящим изложить свои сокровенные мысли на бумаге, надо учиться литературному мастерству, как учатся своим профессиональным навыкам пивовары, сапожники, портные и еще десятки специалистов. Понятно, что, чем искуснее портной, тем с большей охотой носят люди его вещи, отдавая за доставленное удовольствие немалые деньги. Красота, особенно внешняя, требует много жертв.

Красота души, даже изреченная, не так заметна людям, но жертв для нее нужно еще больше. Для человека, владеющего ею, она порой даже обременительна, так как мешает достижению материального благополучия. Так устроен мир. Точнее, так придумали его устроить, чтобы не зависеть от людей, проповедующих верховенство красоты душевной.

Разрешение этого нового противоречия и трепетное отношение к слову-воробью, которое, если вылетит – не поймашь, приводит Николаева к философскому осмыслению жизни и литературы, а точнее, жизни в литературе. Может быть, к этому его подтолкнуло сократовское: «Женитесь обязательно; если вам попадется хорошая жена, вы будете счастливы. Если плохая – станете философом». Скорее, первым побудительным мотивом стали споры о литературе, о писательском мастерстве с молодыми авторами на занятиях в творческом объединении «Воложка».

Его пыливый ум непрестанно искал истоки рождения талантов, его цепкая память отсеивала, фильтровала, выбирала из ничтожных, на первый взгляд, незначительных мыслей молодых его учеников крупницы драгоценной истины. Предсмертное книжное издание Валентина Николаева «Свет слова и тоска по мастеру» (такое название получила его первоначальная «Тоска по мастеру») подытожило его нелегкие искания Бога в себе и в творчестве.

«Мне кажется, русская литература ближе других стоит к Богу. Не знаю, как это объяснить, но думается: она наивнее умом и мудрее душой. Она менее других связана с материалистичностью мира. Мы более, чем кто-либо, озабочены устройством души. Из-за этого во многом проигрываем и много страдаем».

Николаев стал мыслителем, хотя ими не становятся, ими рождаются. Только проявляется мудрость в зрелом возрасте. Он, как Сократ, впервые в истории занявшийся сутью человека, проблемами прав его и обязанностей, отношений между личностью и обществом, свободы и ответственности, добра и зла, жизни и смерти, приложил все это к литературному процессу и творчеству. Он своей жизнью подтвердил вывод Сократа, что счастье достигается самосовершенствованием, а не успехом и количеством дензнаков.

«Мне захотелось порассуждать о высоких законах мастерства, о высшем искусстве не только ради молодых, мне самому интересно потоптаться на подступах к вершинам, которых я никогда не достигну. Это поучительно. Возможно, и не мне одному», – как всегда скромно говорит Валентин Николаев.

Его «Тоска по мастеру» только на первый взгляд кажется монологом, размышлениями уединенного человека, которые не предполагают ответа и взаимодействия с другим человеком и его точкой зрения. Николаев, исходя из своей православности, являющейся частью его этики, учитывает и уважает иные точки зрения, и потому его мысли отшельника имеют принципиальный характер диалога, который выстрадан всей его жизнью. Лишь через отношение к другому человеку, тем и характерен диалог Николаева, он становится собой, осознает свое независимое «я», что в дальнейшем определяет его отношение к Богу.

«Мы часто говорим о наличии жизни в ином измерении и тайком мечтаем распахнуть туда дверь и попробовать пожить там. Но, может быть, литература, талантливая ее часть, и есть некое преддверие этой иной жизни, ответ ее, манящая даль нашего будущего. Нет, литература не шалость, не развлечение, это общее усилие человечества раздвинуть границы своей жизни».

Конечно же, это диалог, это заветное обращение к читателю и ученику: «Нет, литература не шалость...» – это не монолог влюбленного в свои знания человека. Все мысли из «Тоски по мастеру» показывают, что у Николаева есть навыки оценки других взглядов (чего только стоит общение с честлюбивыми учениками, считающими свои литературные опыты шедеврами), есть умение слышать других, верно оценивать их и находить ответ компромисса.

В своих диалогах «Тоска по мастеру» Николаев определяет прежде всего существование не только литературы, а своего «я» в литературе и жизни на переломных этапах, в критических ситуациях борьбы, страданий, вплоть до смерти. «И разгадать эту тайну почему-то неудержимо тянет...»

Николаеву потребовался весь опыт жизни, чтобы определить свою экзистенцию в обществе «золотого тельца», не говоря о ней прямо.

«Когда все разочаруются и уйдут... когда от художника отвернется общество, жена, дети, родственники – он остается наедине с Богом и своей душой. То есть, его самого вообще как бы нет, есть только прямая связь душа – Бог. И больше он не слушает земных судей. Он входит в особую сферу жизни, где нет примеров для подражания, нет правил. Он становится беспредельно свободен и независим.

Только истинный художник может вынести такую свободу, такое одиночество. После этого у него нет уже страха: его никто не достанет, кроме смерти».

После этих откровений можно сказать, что Николаеву удалось вобрать в себя всю мудрость мира, словно схватить сказочную Жар-птицу

за хвост. Думается, что он вправе был написать: «...его никто не достанет, **даже смерть**».

В благодарность за то, что Бог позволил ему прикоснуться к мировой мудрости, последний период своего творчества Валентин Николаев писал книги для детской православной библиотеки в серии «Жития святых детям». Вот тогда и пригодился простой и сочный язык Николаева для перевода (по-другому не скажешь) сложного канонического текста для художественного восприятия его детьми.

«Пристыженный Симон, оказав себя призраком с собачьей головой, бросился бежать. Но народ задержал его. Все были до того возбуждены, что требовали, чтобы Симон был побит камнями, другие настаивали сжечь его живым.

– Господь наш и Учитель, – возвысил голос Петр, – повелел не платить злом на зло...» («Горячий Апостол»).

Так возникли книги для детей: «Авва Даниил», «Алексий человек Божий», уже упомянутый «Горячий Апостол» и как венец этой серии – «Земная жизнь Пресвятой Богородицы».

И неслучаен тот факт, что после изнурительной борьбы за кусок хлеба в годы буржуазных реформ, после случайных заработков и тяжких раздумий, появился верный заработок. Но плачет душа:

«Все меньше рвения я вижу сегодня у своих литературных учеников. Не движение сердца, а расчет ума всё чаще наблюдается в отношении к литературе. Хотя в литературе, как в религии, должно быть исповедание, глубокая мистика. Взять от учителя, от издателя, от самой литературы... Причем взять, ничем не поступившись, ничего не потеряв, “никому ничего не задолжав”».

Скромным, добрым и терпеливым человеком был талантливый писатель земли русской Валентин Николаев.

«У всякого писателя есть родина. Он обязан сделать ее литературной родиной. Иначе он не оправдает свое назначение. Земля за рождение таланта требует ответную плату».

Ценою в жизнь определила его талант родная земля. Ни на сантиметр не свернул с литературного пути Валентин Николаев, а занимался «основным делом»: сочинял. Так ответил он своему соседу в родной деревне. Так и жил: не лукавя, не обманывая никого, терпя лишения, но не сгибаясь.

«Мы все, кто работает в литературе, – пожизненно запряженные. Мы и спим в хомуте. Но лучше крепко спать в хомуте, чем мучиться от бессонницы по причине ненайденной в жизни дороги».

И еще нечто, непонятное «горожанину»:

«Когда уходит из жизни талантливый художник, писатель, написавший **совсем** мало, возникает щемящее чувство любви, сожаления и как будто вины».

Валентин Арсеньевич, прости нас, полных щемящим чувством вины.

Стихи по кругу

Михаил ПОТАЧЕВ

Нижний Новгород

Борису Корнилову

*Усталость тихая, вечерняя
Зовёт из гула голосов
В Нижегородскую губернию,
И в синь семеновских лесов...*

Ты молод, плечист и застенчив,
Таких только Волга родит.
И встречный пока что не встречен,
И целая жизнь впереди.

На нивах хлопочут комбайны,
Давно уж не ходят в лаптях,
Но Керженец древнюю тайну
В глубоких хранит омутах.

А Керженец – речка из детства,
Он строг, как раскольничий скит.
Но нету надежнее средства
От горьких ребячьих обид.

И, может, забросив рыбалку,
Весло и предутренний клев,
Часами ты слушал русалку
Под музыку синих лесов.

Прорехи житейской изнанки
Отсюда еще не видны,
И первого сборника гранки
Пропахли дурманом сосны.

Но волость становится тесной,
Прощай, деревенский уют.
Текут бесконечные рельсы,
И новые зори встают.

В досаду надменной столице
Докажет провинция ей,
Что мало поэтом родиться,
Не выстудить душу важней.

Своей сумасбродной отчизне
Служил ты, как только умел.
Ты так торопился по жизни,
Что пропасти не углядел.

Тебе не досталось Гражданки –
Тогдашних мальчишек удел,
А лечь под немецкие танки
По воле Вождя не успел.

Как верил ты в «Русское чудо»,
Как звонко гордился страной!
А дальше писать не буду.
А дальше – тридцать восьмой...

Евгений ШАТАЛИН

Нижний Новгород

* * *

Добро нигде не побеждает,
Карают зло – другое зло.
Добро всего лишь выживает –
Упрямо, тупо, злу назло.

* * *

Узнаем скоро о Вселенной всё!
Где родилась, как движется и чем,
Но вновь триумф испортит дурачье –
Вопросами: а родилась зачем?

На убийство священника Даниила Сысоева

Значение проповеди понять непросто,
Где болтовня, а где пророчество.
Есть – прожигающие коросту,
А есть художества, словесное творчество.

Но вот появились, наконец, критерии –
Проповедник некто или полный нуль,
И воздействие слова приходится мерить
По количеству выпущенных в него пуль.

Карина ВАРТАНОВА

Москва

* * *

В Северодвинске – белые ночи.
Белого моря строгие очи.
Свет и вода.
Мне бы остаться, со всеми расстаться,
Мне б тишиной про запас пропитаться.
Господи, да?

Не погоняй. Что мне должно – исполню
Завтра. Сегодня – не знаю, не помню.
Все – миражи.
Белое море. Чистая ниша.
В светлом безмолвии слушать и слышать
Голос души.

* * *

Еще не край, еще душа азартна
И просит знанья, воли и чудес,
И хочет жить не завтра-послезавтра –
Сейчас и здесь.

Еще тревожат запахи и краски,
Случайный взгляд, улыбка на бегу.
И в трудный путь пуститься без опаски
Еще могу.

Цветами ли, шипами ли усеян,
Еще – осилю. Мой хранитель зряч.
...Но по ночам о спутнике и цели
Все горше плач.

* * *

В 9 взлетит самолет к тебе.
В 9.15 – мой
Вдаль от тебя, от твоих небес
И от меня самой.

Что же я медлю – билет купить
И через час всего
Тихо в пространство твое вступить...

Я – для того, чтоб тебя любить.
Больше – ни для чего.

* * *

От Твери до Райка на машине час.
От Москвы до Райка – века.
Тихой скрипкой печали мои звучат
В ожерелье колонн Райка.

Не труба, не фagот, не знобящий пульс
Барбанов, – смычок, струна.
Мир прозрачен
(Вчера говорила – пуст).
И дорога опять видна.

Анна ЗВЁЗДКИНА,
Дзержинск

Санскара

Мы вернёмся из жизни так же, как возвращались из отпуска –
С кучей видео, фото, магнитов на холодильники,
Анорексичными кошельками и солнечным мягким отблеском
В утомленных глазах. На рабочей sim-карте в мобильнике

Будет сто не отвеченных и таких жутко важных вызовов.
И опять в соцсетях, начинённые виски, бездельники,
Всколыхнем чью-то зависть. А после возьмёмся сызнова –
Понедельники – пятницы, пятницы – понедельник...

Мы вернёмся из жизни так же, как возвращались из Мексики,
Из Анталии, Рима, Прованса, Тайланда с Мальдивами
И прольём на себя целый чан нецензурной лексики,
Потому что, лентяи, не сфоткались с Буддами-Шивами,

На закате не сфоткались в новом коктейльном платъице.
Мы отправимся вновь на курорт через дюжину месяцев.
Мы так твёрдо уверены – там, наверху, нас не хватятся,
Что упорно не видим протянутой с неба лестницы.

* * *

Ты никто, ты ничья, ты нигде, никогда,
Ты уйдешь в никуда, утечешь, как вода, –
Не о том ли хрустит под ногой тонкий лед
И простуженный сад монотонно поет?

Кто-то сильный вгрызается в жизнь – посмотри,
На порог не входи, отойди от двери.
Ты прозрачна, воздушна, пуста и легка,
И тебя, будто губка, вбирает строка.

Борис АНДРИАНОВ
Нижний Новгород

* * *

Промелькнут отраженья витрин,
Съезды с гор убегут в перекрёстки,
Возвращусь появлением своим
На трамвае я к той Маяковской.

Прошумев, как булыжник с горы,
Как трава, закачавшись у дома,

Как калитка ворот: «Отвори!» –
Приглашая во дворик Нагорный.

Поиграть за столом в домино
И опять в город шумный вернуться,
Где «сейчас» и что «было давно»,
Как бы два незнакомца, сойдутся.

Два припомнивших нечто родства...
На Скобе, возле двери пивбара,
Я в себе вдруг увижу отца,
Скажет мне: «Ты чего это старый?»

«Разве можно, – скажу, – не стареть:
Всё кончается, чтобы родиться...»
Так трамваю бежать и звенеть,
От кольца на Скобу возвратиться.

Нам булыжник в асфальт закатать,
Развенчать замусоленный примус.
Как ему на прощанье сказать,
Молодому отцу, что я вырос?

* * *

Взгляни – зелёные откосы
По сути – те же корабли.
И мы, влюблённые матросы,
Плывём за будущим земли.

Как было раньше – будет после
Не расшатает веры зыбь:
И нам идти на крепких вёслах
Гребцами волжской дали быть.

Хранить до смерти старый Нижний,
Раздолье плёсов и откос:
Ведь это всё – все наши жизни,
А их нельзя пустить вразнос.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции

или по электронной почте:

jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и краткой биографической справкой. Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области
Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 03.12.2018.
Выпущено в свет 25.12.2018.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл.-печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии
АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д.13